

8P(075
P601
10275

891.4

W.W.

8

П. О. АФАНАСЬЕВ, Н. Л. БРОДСКИЙ, Н. П. СИДОРОВ

891.7-8
A-951



891.7

РОДНОЙ ЯЗЫК

ВО II-ОЙ СТУПЕНИ

А-94

10 275

V ГРУППА

РАБОЧАЯ ХРЕСТОМАТИЯ

(художественные произведения, вопросы, задания, темы).

Допущено ГУС'ом

ИЗДАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

10275

Кооперативное Издательство „МИР“
МОСКВА — 1927.

■ ■ ■ ТИПОГРАФИЯ ■ ■ ■
„КРАСНОЙ ГАЗЕТЫ“
имени Володарского,
Ленинград, Фонтанка, 57

От составителей.

Предлагаемая хрестоматия имеет задачей удовлетворить острой потребности в пособии, отвечающем опубликованным программам ГУС-а для первого концентра школы второй ступени.

Составители хрестоматии пользовались названными программами, равно как и программами МОНО, как необходимым ориентировочным материалом. Следуя этим программам в основном их направлении, составители хрестоматии выработали список тем и произведений к ним, руководствуясь такими принципами:

1. Темы должны отвечать основному содержанию курса каждого года, указанному обществоведческими темами, а потому не должны являться очень дробными.

2. Произведения, подбираемые к каждой теме, отвечающей своим содержанием, по форме своей должны быть художественными и вместе с тем доступными для детей определенной возрастной группы.

3. Принцип законченности художественных произведений осуществляется в тех случаях, когда это требуется или существом данной темы или характером данного произведения.

4. Помимо указанных соображений на выбор художественных произведений влияли и требования, предъявляемые программами в их теоретико-литературной и лингвистической части: выбирались, при прочих равных условиях, такие произведения, которые давали больше материала для наблюдений и выводов в области поэтики и языка.

Самая разработка произведений идет во всех направлениях, указываемых программой:

а) Прежде всего учащемуся ставятся вопросы или даются задания, направляющие его внимание к вскрытию очередной темы: здесь указываются те социально-экономические явления, которые отразились в поэтическом содержании данного произведения.

б) Далее ставятся вопросы, направленные к уяснению художественной формы произведения: его построения и языка.

в) Затем даются задания к самостоятельной проработке указанного содержанием темы жизненного материала.

г) Наконец, в области наблюдений над языком и навыков даются работы, подсказываемые лингвистическим характером и особенностями разрабатываемого произведения.

д) Помимо заданий к произведениям, представленным в настоящей хрестоматии, даются задания к произведениям, в хрестоматии не представленным, но таким, которые учащиеся легко могли бы достать для прочтения дома. Задания этого порядка имеют ввиду углубление той или иной темы и могут явиться добавочными для отдельных групп учащихся.

Для V года устанавливаются следующие темы:

1. Под властью земли.
2. Крепостная деревня.
3. Деревня под властью капитала.
4. Деревня и Октябрь.
5. Из деревни в город.

П. Афанасьев
Н. Бродский
Н. Сидоров.

I.

ПОД ВЛАСТЬЮ
ЗЕМЛИ

Крестьянские дети.

Опять я в деревне. Хожу на охоту,
Пишу мои вирши¹⁾ — живется легко.
Вчера, утомленный ходьбой по болоту,
Забрел я в сарай и заснул глубоко.
Проснулся: в широкие щели сарай
Глядятся веселого солнца лучи.
Воркует голубка; над крышей летая
Кричат молодые грачи;
Летит и другая какая-то птица —
По тени узнал я ворону как раз.
Чу! шопот какой-то... а вот вереница
Вдоль щели внимательных глаз!
Все серые, карие, синие глазки —
Смешались, как в поле цветы.
В них столько покоя, свободы и ласки,
В них столько святой доброты!
Я детского глаза люблю выраженье,
Его я узнаю всегда.
Я замер: коснулось души умиленье...
Чу! шопот опять!

Первый голос.

Борода.

Второй.

А барин, сказали!..

Третий.

Потише вы, черти!

Второй.

У бар бороды не бывает — усы.

Первый.

А ноги-то длинные, словно как жерди!

Четвертый.

А вона на шапке, гляди-тко — часы!

Пятый.

¹⁾ Вирши-стихи.

А, важная штука?

Шестой.

И цепь золотая...

Седьмой.

Чай, дорогое стоит?

Восьмой.

Как солнце горит!

Девятый.

А вона, собака — большая, большая!

Вода с языка-то бежит.

Пятый.

Ружье! погляди-то; стволина двойная,

Замочки резные...

Третий, с испугом.

Глядит!

Четвертый.

Молчи, ничего! Постоим еще, Гриша!

Третий.

Прибывает...

Испугались шпионы мои

И кинулись прочь: человека заслыша,

Так стаей с мякины летят воробы.

Затих я, прищурился — снова явились:

Глазенки мелькают в щели.

Что было со мною — всему подивились

И мой приговор изрекли:

— Такому-то гусю уж что за охота!

Лежал бы себе на печи!

И видно — не барин: как ехал с болота,

Так рядом с Гаврилой...¹⁾ „Услышит, молчи!“

Счастливый народ! Ни науки, ни неги

Не ведают в детстве они.

Я делывал с ними грибные набеги:

Раскалывал листья, обшаривал пни,

Старался приметить грибное местечко,

А утром не мог ни за что отыскать.

„Взгляни-ка, Савося, какое колечко!“

Мы оба нагнулись, да разом и хвать

Змею! Я подпрыгнул: ужалила больно!

Савося хохочет: „Попался спроста!“

Зато мы потом их губили довольно

1) Крестьянин Гаврила Яковлевич Яковлев сопровождал Некрасова в его охотничьих экскурсиях и был трогательно привязан поэту. Ему посвящено стихотворение „Коробейники“.

И клали рядом на перила моста:
Должно быть, за подвиги славы мы ждали.
У нас же дорога большая была:
Рабочего звания люди сновали

По ней без числа.

Копатель канав вологжанин,
Лудильщик, портной, шерстобит,
А то в монастырь горожанин
Под праздник молиться катит.

Под наши густые, старинные вязы
На отдых тянуло усталых людей.
Ребята обступят: начнутся рассказы
Про Киев, про турку, про чудных зверей.
Иной подгуляет, так только держися —
Начнет с Волочки, до Казани дойдет!
Чухну передразнит, морду, черемиса,
И сказкой потешит, и притчу ввернет;
Рабочий расставит, разложит снаряды —
Рубанки, подпилки, долота, ножи:

„Гляди, чертенята!“ А дети и рады:
Как пилишь, как лудишь — им все покажи!

Прохожий заснет под свои прибаутки, —
Ребята за дело — пилить и строгать!

Иступят пилу — не наточишь и в сутки!
Сломают бурав — и с испугу бежать!

Служалось, тут целые дни пролетали:
Что новый прохожий, то новый рассказ..

Ух, жарко!.. До полдня грибы собирали.
Вот из лесу вышли — на встречу как раз

Синеющей лентой, извилистой, длинной,
Река луговая: спрыгнули гурьбой,

И русых головок над речкой пустынной
Что белых грибов на полянке лесной!

Река огласилась и смехом и воем:
Тут драка — не драка, игра — не игра..

А солнце палил их полуденным зноем.
Домой, ребятишки! обедать пора.

Вернулись. У каждого полно лукошко.
А сколько рассказов! Попался косой,

Поймали ежа, заблудились немножко
И видели волка.. у, страшный какой!

Ежу предлагали и мух и козявок,
Корней молочко ему отдал свое —

Не пьет! Отступились...

Кто ловит пиявок

На лаве, где матка колотит белье,

Кто няньчит сестренку двухлетнюю Глашку,

Кто тащит на пожню ведерко кваску,

А тот, подвязавши под горло рубашку,
Таинственно что-то чертит по песку;
Та в лужу забилась, а эта с обновой:
Сплела себе славный венок,—
Все беленъкий, желтенький, бледно-лиловый
Да изредка красный цветок.
Ге спят на припеке, те пляшут в присядку.
Вот девочка ловит лукошком лошадку;
Поймала, вскочила и едет на ней.
И ей ли, под солнечным зноем рожденной
И в фартуке с поля домой принесенной,
Бояться смиренной лошадки своей?..
Грибная пора отойти не успела,
Гляди, уж чернехоньки губы у всех,
Набили оскуму: черника поспела!
А там и малина, брусника, орех!
Ребяческий крик, повторяемый эхом,
С утра и до ночи гремит по лесам.
Испугана пеньем, ауканьем, смехом,
Взлетит ли тетеря, закокав птенцам,
Зайченок ли вскочит — содом, суматоха!
Вот старый глухарь с облинялым крылом
В кусту завозился... ну, бедному плохо!
Живого в деревню тащат с торжеством...
— Довольно, Ванюша! гулял ты не мало,
Пора за работу, родной! —
Но даже и труд обернется сначала
К Ванюше нарядной своей стороной:
Он видит, как поле отец удобряет,
Как в рыхлую землю бросает зерно,
Как поле потом зеленеть начинает,
Как колос растет, наливает зерно;
Готовую жатву подрежут серпами,
В снопы перевяжут, на ригу свезут,
Просушат, колотят-колотят цепами,
На мельнице смелют и хлеб испекут.
Отведает свежего хлебца ребенок
И в поле охотней бежит за отцом.
Навьют ли сенца: „Полезай, постреленок!“
Ванюша в деревню въезжает царем...
Однажды, в студеную зимнюю пору
Я из лесу вышел; был сильный мороз.
Гляжу, поднимается медленно в гору
Лошадка, везущая хворосту воз.
И, шествуя важно, в спокойствии чинном,
Лошадку ведет под-уздцы мужичок
В больших сапогах, в полушибке овчинном,
В больших рукавицах... а сам с ноготок!

— Здорово, парнище! — „Ступай себе мимо!“

— Уж больно ты грозен, как я погляжу!..

Откуда дровишки? — „Из лесу, вестимо;

Отец, слышишь, рубит, а я отвожу“.

(В лесу раздавался топор дровосека).

— А что у отца-то большая семья? —

„Семья-то большая, да два человека

Всего мужиков-то: отец мой да я...“

— Так вот оно что! А как звать тебя? — „Власом“

— А кой тебе годик? — „Шестой миnovал..“

Ну, мертвя! крикнул малюточка басом,

Рванул под-уздцы и быстрей зашагал.

На эту картину так солнце светило,

Ребенок был так уморительно мал,

Как будто все это карточное было,

Как будто бы в детский театр я попал!

Но мальчик был мальчик живой, настоящий,

И дровни, и хворост, и пегенький конь

И снег, до окошек деревни лежащий,

И зимнего солнца холодный огонь —

Все, все настоящее русское было,

С клеймом нелюдимой, мертвящей зимы,

Что русской душе так мучительно мило,

Что русские мысли вселяет в умы, —

Те честные мысли, которым нет воли,

Которым нет смерти — дави не дави,

В которых так много и злобы, и боли,

В которых так много любви!

Играйте же, дети! Растите на воле!

На то вам и красное детство дано,

Чтоб вечно любить это скучное поле,

Чтоб вечно вам милым казалось оно.

Храните свое вековое наследство,

Любите свой хлеб трудовой —

И пусть обаянье поэзии детства

Проводит вас в недра землицы родной!..

Теперь нам пора возвратиться к началу,

Заметив, что стали ребята смелей, —

— Эй! воры идут! закричал я Фингалу:

— Украдут, украдут! Ну, прячь поскорей! —

Фингалушка скрчил серьезную мину,

Под сено пожитки мои закопал,

С особым стараньем припрятал дичину,

У ног моих лег — и сердито рычал.

Обширная область собачьей науки

Ему в совершенстве знакома была;

Он начал такие выделывать штуки,

Что публика с места сойти не могла:
Дивятся, хохочут! Уж тут не до страха!
Командуют сами: — „Фингалка, умри!“
— Не засти, Сергей! Не толкайся, Кузяха! —
„Смотри — умирает — смотри!“
Я сам наслаждался, валяясь на сене,
Их шумным весельем. Вдруг стало темно
В сарае: так быстро темнеет на сцене,
Когда разразиться грозе суждено.
И точно: удар прогремел над сараем,
В сарай полилась дождевая река,
Актер залился оглушительным лаем,
А зрители дали стречка!
Широкая дверь отперлась, заскрипела,
Ударилась в стену, опять заперлась...
Я выглянул: темная туча висела
Над нашим театром как раз.
Под крупным дождем ребятишки бежали,
Босые, к деревне своей...
Мы с верным Фингалом грозу переждали
И вышли искать дупелей.

1861.

Н. Некрасов.

Расскажите о своих летних забавах и трудах.

Б е ж и н л у г.

Был прекрасный июльский день, один из тех дней, которые случаются только тогда, когда погода установилась надолго. С самого раннего утра небо ясно; утренняя заря не пылает пожаром: она разливается кротким румянцем. Солнце — не огнестое, не раскаленное, как во время знойной засухи, не тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветно лучезарное — мирно всплывает под узкой и длинной тучкой, свежо просияет и погружается в лиловый её туман. Верхний, тонкий край растянутого облачка засверкает змейками; блеск их подобен блеску кованого серебра... Но вот опять хлынули играющие лучи, — и весело, и величаво, словно взлетая, поднимается могучее светило. Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков, золотисто-серых, с нежными белыми краями. Подобно островам, разбросанным по бесконечно-разлившейся реке, обтекающей их глубоко-прозрачными рукавами ровной синевы, они почти не трогаются с места; далее, к небосклону, они сдвигаются, теснятся, синевы между ними уже не видать; но сами они так же лазурны, как небо: они все насквозь проникнуты светом и теплотой. Цвет небосклона, лёгкий, бледно-лиловый,

не изменяется во весь день и кругом одинаков; нигде не темнеет, не густеет гроза; разве, кое-где, протянутся сверху вниз голубоватые полосы: — то сеется едва заметный дождь. К вечеру эти облака исчезают; последние из них, черноватые и неопределенные, как дым, ложатся розовыми клубами напротив заходящего солнца; на месте, где оно закатилось так же спокойно, как спокойно взошло на небо, алое сиянье стоит недолгое время над потемневшей землей, и, тихо мигая, как бережно несомая свечка, затеплится на нём вечерняя звезда. В такие дни краски все смягчены; светлы, но не ярки; на всём лежит печать какой-то трогательной кротости. В такие дни жар бывает иногда весьма силен, иногда даже „пàрит“ по скатам полей; но ветер разгоняет, раздвигает накопившийся зной, и вихри-круговороты — несомненный признак постоянной погоды — высокими белыми столбами гуляют по дорогам через пашню. В сухом и чистом воздухе пахнет полынью, скатой рожью, гречихой; даже за час до ночи вы не чувствуете сырости. Подобной погоды желает земледелец для уборки хлеба...

В такой точно день охотился я однажды за тетеревами в Чернском уезде, Тульской губернии. Я нашёл и настрелял довольно много дичи; наполненный ягдташ немилосердно резал мне плечо; но уже вечерняя заря погасала, и в воздухе, еще светлом, хотя не озарённом более лучами закатившегося солнца, начинали густеть и разливаться холодные тени, когда я решился, наконец, вернуться к себе домой. Быстрыми шагами прошёл я длинную „площадь“ кустов, взобрался на холм и, вместо ожиданной знакомой равнины с дубовым леском направо и низенькой белой церковью в отдалении, увидал совершенно другие, мне неизвестные места. У ног моих тянулась узкая долина; прямо напротив, крутой стеной возвышался частый осинник. Я остановился в недоумении, оглянулся... „Эг!“ подумал я: „да это я совсем не туда попал: я слишком забрал вправо“, и, сам дивясь своей ошибке, проворно спустился с холма. Меня тотчас охватила неприятная, неподвижная сырость, точно я вошёл в погреб; густая, высокая трава на дне долины, вся мокрая, белела ровной скатертью; ходить по ней было как-то жутко. Я поскорей выкарабкался на другую сторону и пошел, забирая влево, вдоль осинника. Летучие мыши уже носились над его заснувшими верхушками, таинственно кружась и дрожа на смутно-ясном небе; резво и прямо пролетел в вышине запоздалый ястребок, спеша в свое гнездо. „Вот, как только я выйду на тот угол“, думал я про себя, „тут сейчас и будет дорога; — а с версту крюку я дал!“

Я добрался, наконец, до угла леса, но там не было никакой дороги: какие-то некошенные, низкие кусты широко расстилались передо мною, а за ними, далёко, далёко, вид-

нелось пустынное поле. Я опять остановился. „Что за притча?... Да где же я?“ — Я стал припоминать, как и куда ходил в течение дня... „Э! да это Парахинские кусты!“ — воскликнул я, наконец: „точно! вон это, должно быть, Синдеевская роща... Да как же это я сюда зашел? Так далеко?... Странно! Теперь опять нужно вправо взять“.

Я пошёл вправо, через кусты. Между тем ночь приближалась и росла, как грозовая туча; казалось, вместе с вечерними парами отовсюду поднималась и даже с вышины лилась темнота. Мне попалась какая-то неторная, заросшая дорожка; я отправился по ней, внимательно поглядывая вперед. Всё кругом быстро чернело и утихало, — одни перепела изредка кричали. Небольшая ночная птица, неслышно и низко мчавшаяся на своих мягких крыльях, почти наткнулась на меня и пугливо нырнула в сторону. Я вышел на опушку кустов и побрёл по полю межой. Уже я с трудом различал отдалённые предметы: поле неясно белело вокруг; за ним, с каждым мгновением надвигаясь громадными клубами, вздымался угремый мрак. Глухо отдавались мои шаги в застывающем воздухе. Побледневшее небо стало опять синеть, — но тò уже была синева ночи. Звёздочки замелькали, зашевелились на нём.

Что я было-принял за рощу, оказалось тёмным и круглым бугром. „Да где же это я?“ повторил я опять вслух, остановился в третий раз и вопросительно посмотрел на свою английскую жёлто-пегую собаку, Дианку, решительно умнейшую из всех четвероногих тварей. Но умнейшая из четвероногих тварей только повиляла хвостиком, уныло моргнула усталыми глазками и не подала мне никакого дельного совета. Мне стало совестно перед ней, и я отчаянно устремился вперед, словно вдруг догадался, куда следовало идти, обогнул бугор и очутился в неглубокой, кругом распаханной лощине. Странное чувство тотчас овладело мной. Лощина эта имела вид почти правильного котла с пологими боками; на дне её торчало стоймя несколько больших белых камней, — казалось, они сползлись туда для тайного совещания, — и до того в ней было немо и глухо, так плоско, так уныло висело над нею небо, что сердце у меня сжалось. Какой-то зверок слабо и жалобно пискнул между камней. Я поспешил выбраться назад на бугор. До сих пор я все еще не терял надежды съскать дорогу домой; но тут я окончательно удостоверился в том, что заблудился совершенно и, уже никак не стараясь узнавать окрестные места, почти совсем потонувшие во мгле, пошёл себе прямо, по звездам — на удалую... Около получаса шёл я так, с трудом переставляя ноги. Казалось, от роду не бывал я в таких пустых местах: нигде не мерцал огонек, не слышалось никакого звука. Один пологий холм сменялся другим, поля бесконечно тянулись

за полями, кусты словно вставали вдруг из земли перед самым моим носом. Я всё шёл и уже собирался было прилечь где-нибудь до утра, как вдруг очутился над страшной бездной.

Я быстро отдернул занесенную ногу и, сквозь едва прозрачный сумрак ночи, увидел далеко под собою огромную равнину. Широкая река огибала её уходящим от меня полукругом; стальные отблески воды, изредка и смутно мерцая, обозначали её теченье. Холм, на котором я находился, спускался вдруг почти отвесным обрывом; его громадные очертания отделялись, чернея, от синеватой воздушной пустоты, и прямо подо мною, в углу, образованном тем обрывом и равниной, возле реки, которая в этом месте стояла неподвижным, темным зеркалом, под самой кручью холма, красным пламенем горели и дымились друг подле друга два огонька. Вокруг них копошились люди, колебались тени, иногда ярко освещалась передняя половина маленькой и кудрявой головы.

Я узнал, наконец, куда я зашёл. Этот луг славится в наших околотках под названием Бежина-Луга... Но вернуться домой не было никакой возможности, особенно в ночную пору; ноги подкашивались подо мной от усталости. Я решил подойти к огонькам и, в обществе тех людей, которых принял за гуртовщиков, дождаться зари. Я благополучно спустился вниз, но не успел выпустить из рук последнюю, ухваченную мною ветку, как вдруг две большие, белые, лохматые собаки со злобным лаем бросились на меня. Детские звонкие голоса раздались вокруг огней; двадцать мальчика быстро поднялись с земли. Я откликнулся на их вопросительные крики. Они подбежали ко мне, отозвали тотчас собак, которых особенно поразило появление моей Дианки, и я подошёл к ним.

Я ошибся, приняв людей, сидевших вокруг тех огней, за гуртовщиков. Это просто были крестьянские ребятишки, из соседней деревни, которые стерегли табун. В жаркую летнюю пору лошадей выгоняют у нас на ночь кормиться в поле: днём мухи и оводы не дали бы им покоя. Выгонять перед вечером и пригонять на утренней заре табун — большой праздник для крестьянских мальчиков. Сидя без шапок и в старых полушибах на самых бойких кляченках, мчатся они с весёлым гиканьем и криком, болтая руками и ногами, высоко подпрыгивают, звонко хохочут. Лёгкая пыль желтым столбом поднимается и несётся по дороге; далеко разносится дружный топот, лошади бегут, навострив уши; впереди всех, задравши хвост и беспрестанно меняя ногу, скачет какой-нибудь ряжий космач, с репейником в спутанной гриве.

Я сказал мальчикам, что заблудился, и подсел к ним. Они спросили меня, откуда я, помолчали, посторонились.

Мы немного поговорили. Я прилёг под обглоданный кустик и стал глядеть кругом. Картина была чудесная: около огней дрожало и как-будто замирало, упираясь в темноту, круглое красноватое отражение; пламя, вспыхивая, изредка забрасывало за черту того круга быстрые отблески; тонкий язык света лизнёт голые сучья лозника и разом исчезнет; — острые, длинные тени, врывааясь на мгновенье, в свою очередь, добегали до самых огоньков: мрак боролся со светом. Иногда, когда пламя горело слабее и кружок света суживался, из надвинувшейся тьмы внезапно выставлялась лошадиная голова, гнедая, с извилистой проточиной, или вся белая, внимательно и тупо смотрела на нас, проворно жуя длинную траву, и, снова опускаясь, тотчас скрывалась. Только слышно было, как она продолжала жевать и отфыркивалась. Из освещенного места трудно разглядеть, что делается в потемках, и потому вблизи всё казалось задёрнутым почти чёрной завесой; но далее к небосклону длинными пятнами смутно виднелись холмы и леса. Тёмное, чистое небо торжественно и необытно-высоко стояло над нами со всем своим таинственным великолепием. Сладко стеснялась грудь, вдыхая тот особенный, томительный и свежий запах — запах русской летней ночи. Кругом не слышалось почти никакого шума... Лишь изредка в близкой реке с внезапной звучностью плеснёт большая рыба, и прибрежный тростник слабо зашумит, едва поколебленный набежавшей волной... Одни огоньки тихонько потрескивали.

Мальчики сидели вокруг их; тут же сидели и те две собаки, которым так было захотелось меня съесть. Они еще долго не могли примириться с моим присутствием и, сонливо щурясь и косясь на огонь, изредка рычали с необыкновенным чувством собственного достоинства; сперва рычали, а потом слегка визжали, как-бы сожалея о невозможности исполнить свое желание. Всех мальчиков было пять: Федя, Павлуша, Ильюша, Костя и Ваня. (Из их разговоров я узнал их имена и намерен теперь же познакомить с ними читателя).

Первому, старшему изо всех, Феде, вы бы дали лет четырнадцать. Это был стройный мальчик, с красивыми и тонкими, немного мелкими чертами лица, кудрявыми белокурыми волосами, светлыми глазами и постоянной, полувеселой, полурассеянной улыбкой. Он принадлежал, по всем приметам, к богатой семье и выехал-то в поле не по нужде, а так, для забавы. На нём была пёстрая ситцевая рубаха с жёлтой каёмкой; небольшой новый армячёк, надетый в нахидку, чуть держался на его узеньких плечиках; на голубеньком поясе висел гребешок. Сапоги его с низкими голенищами были точно его сапоги — не отцовские. У второго мальчика, Павлуши, волосы были всклоченные, чёрные, глаза

серые, скулы широкие, лицо бледное, рябое, рот большой, но правильный, вся голова огромная, как говорится, с пивной котел, тело преземистое, неуклюжее. Малый был неказистый — что и говорить! — а всё-таки он мне понравился: глядел он очень умно и прямо, да и в голосе у него звучала сила. Одеждой своей он щеголять не мог: вся она состояла из простой замашной рубахи да из заплатанных портов. Лицо третьего, Ильюши, было довольно незначительно: горбоносое, вытянутое, подслеповатое, оно выражало какую-то тупую, болезненную заботливость; скатые губы его не шевелились, сдвинутые брови не расходились, — он словно все шурился от огня. Его жёлтые, почти белые волосы торчали острыми косицами из-под ниэнькой войлочной шапочки, которую он обеими руками то-и-дело надвигал себе на уши. На нём были новые лапти и онучи; толстая верёвка, три раза перевитая вокруг стана, тщательно стягивала его опрятную черную свитку. И ему, и Павлуше на вид было не более двенадцати лет. Четвёртый, Костя, мальчик лет десяти, возбуждал моё любопытство своим задумчивым и печальным взором. Всё лицо его было невелико, худо, в веснушках, книзу заострено, как у белки; губы едва было можно различить; но странное впечатление производили его большие, чёрные, жидким блеском блестевшие глаза; они, казалось, хотели что-то высказать, для чего на языке, — на его языке по крайней мере, — не было слов. Он был маленьского роста, сложения тщедушного, и одет довольно бедно. Последнего, Ваню, я сперва было и не заметил: он лежал на земле, смириёнко прикурнув под угловатую рогожу, и только изредка выставлял из-под неё свою русую кудрявую голову. Этому мальчику было всего лет семь.

Итак, я лежал под кустиком в стороне и поглядывал на мальчиков. Небольшой котельчик висел над одним из огней; в нем варились „картошки“. Павлуша наблюдал за ним и, стоя на коленях, тыкал щепкой в закипавшую воду. Федя лежал, опершись на локоть и раскинув полы своего армяка. Ильюша сидел рядом с Костей и всё также напряжённо шурился. Костя понурил нёмного голову и глядел куда-то вдаль. Ваня не шевелился под своей рогожей. Я притворился спящим. Понемногу мальчики опять разговорились.

Сперва они покалякали о том и сём, о завтрашних работах, о лошадях; но вдруг Федя обратился к Ильюше и, как-бы возобновляя прерванный разговор, спросил его:

— Ну, и что-ж ты, так и видел домового?

— Нет, я его не видал, да его и видеть нельзя, — отвечал Ильюша сиплым и слабым голосом, звук которого как нельзя более соответствовал выражению его лица: — а слышал.., Да и не я один.

— А он у вас где водится? — спросил Павлуша.

— В старой рольне¹⁾.
— А разве вы на фабрику ходите?
— Как же, ходим. Мы с братом, с Авдюшкой, в лисовщиках стоим²⁾.
— Виши ты — фабричные!...
— Ну, так как же ты его слышал? — спросил Федя.
— А вот как. Пришлось нам с братом с Авдюшкой, да с Федором Михеевским, да с Ивашкой Косым, да с другим Ивашкой, что с Красных Холмов, да еще с Ивашкой Сухоруковым, да еще были там другие ребяташки; всех было нас ребяточек человек десять — как есть вся смена; но а пришлось нам в рольне заночевать, то-есть не то, чтобы этак пришлось, а Назаров, надсмотрщик, запретил; говорит: что, мол, вам, ребяткам, домой таскаться; завтра работы много, так вы, ребятки, домой не ходите. Вот мы остались и лежим все вместе, и начал Авдюшка говорить, что, мол, ребята, ну, как домовой придет?.. И не успел он, Авдей-от, проговорить, как вдруг кто-то над головами у нас и заходил; но а лежали-то мы внизу, а заходил он наверху, у колеса. Слышим мы: ходит, доски под ним так и гнутся, так и трещат; вот прошел он через наши головы; вода вдруг по колесу как зашумит, зашумит; застучит, застучит колесо, завернется; но а заставки у дворца-то³⁾ спущены. Дивимся мы: — кто-ж это их поднял, что вода пошла; однако, колесо повертелось, повертелось да и стало. Пошел тот опять к двери наверху, да по лестнице спускаться стал, и этак спускается, словно не торопится; ступеньки под ним так даже и стонут... Ну, подошел тот к нашей двери, подождал, подождал, — дверь вдруг вся так и распахнулась. Всполохнулись мы, смотрим — ничего... Вдруг, глядь, у одного чана форма⁴⁾ зашевелилась, поднялась, окунулась, походила, походила этак по воздуху, словно кто ею полоскал, да и опять на место. Потом у другого чана крюк снялся с гвоздя, да опять на гвоздь; потом будто кто-то к двери пошел, да вдруг как закашляет, как заперхает, словно овца какая, да зычно так... Мы все так ворохом и свалились, друг под дружку полезли... Уж как же мы напужались о ту пору!

— Виши как! — промолвил Павел. — Чего-ж он раскашлялся?
— Не знаю; может, от сырости.
Все помолчали.
— А что, — спросил Федя: — картошки сварились?

¹⁾ «Рольней» и «черпальней» на бумажных фабриках называется то строение, где в чанах вычерпывают бумагу. Оно находится у самой плотины, под колесом.

²⁾ «Лисовщики» гладят, скоблят бумагу.

³⁾ «Дворцом» называется у нас место, по которому вода бежит на колесо.

⁴⁾ Сетка, которой бумагу черпают.

Павлуша пощупал их.

— Нет, еще сыры... Виши, плеснула, — прибавил он, повернув лицо в направлении реки: — должно быть, щука... А вон звездочка покатилась.

— Нет, я вам что, братцы, расскажу, — заговорил Костя тонким голоском: — послушайте-ка, намеднись что тятя при мне рассказывал.

— Ну, слушаем, — с покровительствующим видом сказал Федя.

— Вы, ведь, знаете Гаврилу, слободского плотника?

— Ну да; знаем.

— А знаете-ли, отчего он такой все невеселый, все молчит, знаете? Вот отчего он такой невеселый: пошел он раз, тянька говорил, пошел он, братцы мои, в лес по орехи. Вот, пошел он в лес по орехи да и заблудился; зашел, бои знает, куды зашел. Уж он ходил, ходил, братцы мои — нет! не может найти дороги; а уж ночь на дворе. Вот и присел он под дерево; давай, мол, дождусь утра, — присели задремал. Вот задремал и слышит вдруг, кто-то его зовет. Смотрит — никого. Он опять задремал, — опять зовут. Он опять глядит, глядит: а перед ним на ветке русалка сидит, качается и его к себе зовет, а сама помирает со смеху, смеется... А месяц-то светил сильно, так сильно, явственно светит месяц, — все, братцы мои, видно. Вот зовет она его, и такая вся сама светленькая, беленькая сидит на ветке, словно плотичка какая или пискарь, — а то вот еще карась бывает такой белесоватый, серебряный... Гаврила-то плотник так и обмер, братцы мои, а она, знай, хохочет, да его все к себе этак рукой зовет. Уж Гаврила было и встал, послушался-было русалки, братцы мои, да знать, господь его надоумил: положил-таки на себя крест... А уж как ему было трудно крест-то класть, братцы мои; говорит: рука, просто, как каменная, не ворочается... Ах, ты этакой, а!.. Вот, как положил он крест, братцы мои, русалочка-то и смеялся перестала, да вдруг как заплачет... Плачет она, братцы мои, глаза волосами утирает, а волоса у нее зеленые, что твоя конопля. Вот, поглядел, поглядел на нее Гаврила, да и стал ее спрашивать: „чего ты, лесное зелье, плачешь?“ А русалка-то как взговорит ему: „не креститься бы тебе“, говорит, „человече, жить бы тебе со мной на веселии до конца дней; а плачу я, убиваюсь оттого, что ты крестился; да не я одна убиваюсь буду: убивайся же и ты до конца дней“. Тут она, братцы мои, пропала, а Гавриле тотчас и понятственно стало, как ему из лесу, то-есть, выйти... А только с тех пор вот он все невеселый ходит.

— Эка! — проговорил Федя после недолгого молчания: — да как же это может этакая лесная нечисть христианскую душу спорить, — он же ее не послушался?

— Да вот, поди ты! — сказал Костя. — И Гаврила баил, что голосок, мол, у ней такой тоненький, жалобный, как у жабы.

— Твой батька сам это рассказывал? — продолжал Федя.

— Сам. Я лежал на полатях, все слышал.

— Чудное дело! Чего ему быть невеселым?.. А, знать, он ей понравился, что позвала его.

— Да, понравился! — подхватил Ильюша. — Как же! защекотать она его хотела, вот что она хотела. Это ихнее дело, этих русалок-то.

— А, ведь, вот и здесь должны быть русалки, — заметил Федя.

— Нет, — отвечал Костя: здесь место чистое, вольное. Одно: — река близко.

Все смолкли. Вдруг, где-то в отдалении, раздался пронзительный, звенящий, почти стонящий звук, один из тех непонятныхочных звуков, которые возникают иногда среди глубокой тишины, поднимаются, стоят в воздухе и медленно разносятся, наконец, как-бы замирая. Прислушаешься, — и как-будто нет ничего, а звонит. Казалось, кто-то долго, долго прокричал под самым небосклоном, кто-то другой как-будто отозвался ему в лесу тонким, острым хохотом, и слабый, шипящий свист промчался по реке. Мальчики переглянулись, вздрогнули...

— С нами крестная сила! — шепнул Илья.

— Эх, вы, вороны! — крикнул Павел: — чего всполохнулись? Посмотрите-ка, картошки сварились. (Все пододвинулись к котельчику и начали есть дымящийся картофель; один Ваня не шевельнулся). Что же ты? — сказал Павел.

Но он не вылез из-под своей рогожи. Котельчик скоро весь опорожнился.

— А слыхали вы, ребятки, — начал Ильюша: — что намеднись у нас на Варнавицах приключилось?

— На плотине-то? — спросил Федя.

— Да, да, на плотине, на прорванной. Вот уж нечистое место, так нечистое, и глухое такое. Кругом все такие буряки, овраги, а в оврагах все казюли¹⁾ водятся.

— Ну, что такое случилось? сказывай...

— А вот что случилось. Ты, может быть, Федя, не знаешь, а только там у нас утопленник похоронен; а утонул он давным-давно, как пруд еще был глубок; только могилка его еще видна, да и та чуть видна: так — бугорочек... Вот, на днях, зовет приказчик пса Ермил; говорит: ступай, мол, Ермил, на пошту. Ермил у нас всегда на пошту ездит; собак-то он всех своих поморил: не живут

¹⁾ По Орловскому: змеи.

они у него отчего-то, так-таки никогда и не жили, а псарь он хороший, всем взял. Вот поехал Ермил за поштой, да и замешкался в городе, но а едет назад уж он хмелен. А ночь, и светлая ночь: месяц светит... Вот и едет Ермил через плотину: такая уж его дорога вышла. Едет он этак, псарь Ермил, и видит: у утопленника на могиле барашек, белый такой, кудрявый, хорошенъкий, похаживает. Вот и думает Ермил: сем возьму его, — что ему так пропадать, да и слез, и взял его на руки... Но а барашек — ничего. Вот идет Ермил к лошади, а лошадь от него таращится, храпит, головой трясет; однако, он ее отпрукал, сел на нее с барашком и поехал опять: барашка перед собой держит. Смотрит он на него, и барашек ему прямо в глаза так и глядит. Жутко ему стало, Ермилу-то псарю: что, мол, не помню я, чтобы этак бараны кому в глаза смотрели; однако, ничего; стал он его этак по шерсти гладить, — говорит: „бяша, бяша!“ А баран-то вдруг как оскалит зубы, да ему тоже: „бяша, бяша“...

Не успел рассказчик произнести это последнее слово, как вдруг обе собаки разом поднялись, с судорожным лаем ринулись прочь от огня и исчезли во мраке. Все мальчики перепугались. Ваня выскоцил из-под своей рогожи. Павлуша с криком бросился вслед за собаками. Лай их быстро удалялся... Послышалась беспокойная беготня встревоженного табуна. Павлуша громко кричал: „Серый! Жучка!“... Через несколько мгновений лай замолк; голос Павла привнесся уже издалека... Прошло еще немного времени; мальчики с недоумением переглядывались, как бы выжидая, что-то будет... Внезапно раздался топот скачущей лошади; круто остановилась она у самого костра, и, уцепившись за гриву, проворно спрыгнул с неё Павлуша. Обе собаки также вскочили в кружок света и тотчас сели, высунув красные языки.

— Чё там? чё такое? — спросили мальчики.

— Ничего, — отвечал Павел, махнув рукой на лошадь: — так, что-то собаки зачуяли. Я думал волк, — прибавил он равнодушным голосом, проворно дыша всей грудью.

Я невольно полюбовался Павлушей. Он был очень хороший в это мгновение. Его некрасивое лицо, оживлённое быстрой ездой, горело смелой удали и твердой решимостью. Без хворостинки в руке, ночью, он, нимало не колеблясь, поскакал один на волка... „Что за славный мальчик!“ думал я, глядя на него.

— А видали их, что-ли, волков-то? — спросил трусишка Костя.

— Их всегда здесь много, — отвечал Павел: — да они беспокойны только зимой.

Он опять прикорнул перед огнем. Садясь на землю, уронил он руку на мохнатый затылок одной из собак, и долго

не поворачивало головы обрадованное животное, с призательной гордостью посматривая с боку на Павлуши.

Ваня опять забился под рогожку.

— А какие ты нам, Ильюшка, страхи рассказывал, — заговорил Федя, которому, как сыну богатого крестьянина, приходилось быть запевалой (сам же он говорил мало, как бы боясь уронить свое достоинство). — Да и собак тут нелёгкая дернула залаять... А точно, я слышал, это место у вас нечистое.

— Варнавицы?... Еще бы! еще какое нечистое! Там не раз, говорят, старого барина видали — покойного барина. Ходит, говорят, в кафтане долгополом и всё это этак охает, чего-то на земле ищет. Еще раз дедушка Трофимыч повстречал. — Что мол, батюшка, Иван Иваныч, изволишь искать на земле?

— Он его спросил? — перебил изумленный Федя.

— Да, спросил.

— Ну, молодец же после этого Трофимыч... Ну, и что-ж тот?

— Разрыв-травы, говорит, ищу. Да так глухо говорит, глухо: — разрыв-травы. — А на что тебе, батюшка Иван Иваныч, разрыв-травы? Давит, говорит, могила давит, Трофимыч: вон хочется, вон...

— Виши какой! — заметил Федя: — мало, знать, пожил.

— Экое диво! промолвил Костя: — я думал, покойников можно только в родительскую субботу видеть.

— Покойников во всяк час видеть можно, — с уверенностью подхватил Ильюша, который, сколько я мог заметить, лучше других знал все сельские поверья... — Но а в родительскую субботу ты можешь и живого увидать, за кем, то-есть, в том году очередь помирать. Стойт только ночью сесть на паперть на церковную да всё на дорогу глядеть. Те и пойдут мимо тебя по дороге, кому, то-есть, умирать в том году. Вот у нас в прошлом году баба Ульяна на паперть ходила.

— Ну, и видела она кого-нибудь? с любопытством спросил Костя.

— Как же. Перво-на-перво она сидела долго, долго, никого не видела и не слыхала... только всё как-будто собачка этак залает, залает где-то... Вдруг, смотрит: идет по дорожке мальчик в одной рубашёнке. Она приглянулась — Ивашка Федосеев идёт.

— Тот, что умер весной? — перебил Федя.

— Тот самый. Идет и головушки не подымает... А узнала его Ульяна... Но а потом смотрит: баба идет. Она вглядываться, вглядываться, — ах, ты, Господи! — сама идет по дороге, сама Ульяна.

— Неужто сама? — спросил Федя.

— Ей-Богу, сама.

— Ну чтò-ж, ведь она еще не умерла?

— Да году-то еще не прошло. А ты посмотри на неё: в чём душа держится.

Все опять притихли. Павел бросил горсть сухих сучьев на огонь. Резко зачернелись они на внезапно вспыхнувшем пламени, затрещали, задымились и пошли коробиться, приподнимая обожжёные концы. Отражение света ударило, порывисто дрожа, во все стороны, особенно кверху. Вдруг откуда ни возьмись белый голубок, — налетел прямо в это отражение, пугливо повертелся на одном месте, весь обливаясь горячим блеском, и исчез, звеня крылами.

— Знать от дому отбился, — заметил Павел. — Теперь будет лететь, покуда на что наткнется, и где ткнет, там и ночует до зари.

— А что, Павлуша, — промолвил Костя: — не праведная ли это душа летела на небо, ась?

Павел бросил другую горсть сучьев на огонь.

— Может быть, — проговорил он наконец.

— А скажи, пожалуй, Павлуша, — начал Федя: — чтò у вас тоже в Шаламове было видать предвиденье-то небесное¹⁾?

— Как солница-то не стало видно? Как же.

— Чай, напугались и вы?

— Да не мы одни. Барин-то наш, хоша и толковал нам напредки, что, дескать, будет вам предвиденье, а как затемнело, сам, говорят, так перетрусился, что наподи. А на дворовой избе баба стряпуха, так та, как только затемнело, слышь, взяла да ухватом все горшки перебила в печи: „кому теперь есть“, говорит, „наступило светопреставление“. Так шти и потекли. А у нас на деревне такие, брат, слухи ходили, что, мол, белые волки по земле побегут, людей есть будут, хищная птица полетит, а то и самого Тришку²⁾ увидят.

— Какого это Тришку? — спросил Костя.

— А ты не знаешь? — с жаром подхватил Ильюша: — ну, брат, откентелева же ты, что Тришки не знаешь? Сидни же у вас в деревне сидят, вот уж точно сидни! Тришка — эвто будет такой человек удивительный, который придёт; а придёт он такой удивительный человек, что его и взять нельзя будет, и ничего ему сделать нельзя будет: такой уж будет удивительный человек. Захотят его, например, взять хрестьяне: выйдут на него с дубьём, оцепят его, но а он им глаза отведёт — так отведёт им глаза, что они же сами друг друга побьют. В острог его посадят, например, — он попросит водицы испить в ковшике: ему принесут ковшик,

1) Так мужики называют у нас солнечное затмение.

2) В поверье о «Тришке», вероятно, отозвалось сказание об Антихристе.

а он нырнёт туда, да и поминай как звали. Цепи на него наденут, а он в ладошки затрепещется — они с него так и попадают. Ну, и будет ходить этот Тришка по селам да по городам; и будет этот Тришка, лукавый человек, соблазнять народ христианский... ну, а сделать ему нельзя будет ничего... Уж такой он будет удивительный, лукавый человек.

— Ну да, — продолжал Павел своим неторопливым голосом: — такой. Вот его-то и ждали у нас. Говорили старики, что вот, мол, как только предвиденье небесное зачнётся, так Тришка и придёт. Вот и зачалось предвиденье. Высыпал весь народ на улицу, в поле, ждёт, что будет. А у нас, вы знаете, место видное, привольное. Смотрят — вдруг от слободки с горы идёт какой-то человек, такой мудрёный, голова такая удивительная... все как крикнут: „ох, Тришка идёт! ох, Тришка идёт!“ да кто куды! Староста наш в канаву залез; старостиха в подворотне застрияла, благим матом кричит, свою же дворную собаку так запужала, что та с цепи долой, да через плетень, да в лес; а Кузькин отец, Дорофеич, вскочил в овес, присел, да и давай кричать перепелом: „авось, мол, хоть птицу-то враг, душегубец, пожалеет“. Таково-то все переполошились!... А человек-то это шёл наш бочар, Вавила: жбан себе новый купил, да на голову пустой жбан и надел.

Все мальчики засмеялись и опять приумолкли на мгновенье, как это часто случается с людьми, разговаривающими на открытом воздухе. Я поглядел кругом: торжественно и царственно стояла ночь; сырую свежесть позднего вечера сменила полуночная сухая теплынь, и еще долго было ей лежать мягким пологом на заснувших полях; еще много времени оставалось до первого лепета, до первых росинок зари. Луны не было на небе: она в ту пору поздно всходила. Бесчисленные, золотые звёзды, казалось, тихо текли все, наперерыв мерцая, по направлению Млечного Пути, и, право, глядя на них, вы как будто смутно чувствовали сами стремительный, безостановочный бег земли... Странный, резкий, болезненный крик раздался вдруг два раза сряду над рекой и, спустя несколько мгновений, повторился уже далее...

Костя вздрогнул... „Что это?“

— Это цапля кричит, — спокойно возразил Павел.

— Цапля, — повторил Костя... А что такое, Павлуша, я вчера слышал вечером, — прибавил он, помолчав немного: — ты, может быть, знаешь...

— Чё ты слышал?

— А вот чё я слышал. Шёл я из Каменной Гряды в Шашкино; а шёл сперва всё нашим орешником, а потом лужком пошёл — знаешь, так, где он сугибелью¹⁾ выходит, —

1) Сугибель — крутой поворот в овраге.

там, ведь, есть бучило¹⁾; знаешь, оно ещё всё камышом заросло; вот пошел я мимо этого бучила, братцы мои, и вдруг из того-то бучила как застонет кто-то, да так жалостливо, жалостливо: у-у... у-у... у-у! Страх такой меня взял, братцы мои: время-то позднее, да и голос такой болезный. Так вот, кажется, сам бы и заплакал... Чтò бы это такое было? ась?

— В этом бучиле, в запрошлом лете, Акима лесника утопили воры,— заметил Павлуша: — так, может быть, его душа жалобится.

— А, ведь, и тò, братцы мои,— возразил Костя, расширил свои и без того огромные глаза... Я и не знал, что Акима в том бучиле утопили: я бы ещё не так напужался.

— А то, говорят, есть такие лягушки махонькие — продолжал Павел, — которые так жалобно кричат.

— Лягушки? ну, нет, это не лягушки... какие это... (Цапля опять, прокричала над рекой). — Эк её! — невольно произнёс Костя: — словно леший кричит.

— Леший не кричит, он немой, — подхватил Ильюша: — он только в ладоши хлопает да трещит...

— А ты его видал, лешего-то, что-ли? — насмешливо перебил его Федя.

— Нет, не видал, и сохрани бог его видеть: но а другие видели. Вот на-днях он у нас мужичка обошёл: водил, водил его по лесу, и всё вокруг одной поляны... Едва-те к свету домой добился.

— Ну, и видел он его?

— Видел. Говорит, такой стоит большой, большой, тёмный, скутанный этак словно за деревом, хорошенько не разберешь, словно от месяца прячется, и глядит, глядит глазищами-то, моргает ими, моргает...

— Эх ты! — воскликнул Федя, слегка вздрогнув и передернув плечами: — пфу!..

— И зачем эта погань в свете развелась? — заметил Павел: — право!

— Не бранись: смотри, услышит, — заметил Илья.

Настало опять молчание.

— Гляньте-ка, гляньте-ка, ребятки, — раздался вдруг детский голос Вани: — гляньте на божьи звёздочки, — что пчёлки роятся!

Он выставил своё свежее лицо из-под рогожи, опёрся на кулачок и медленно поднял кверху свои большие тихие глаза. Глаза всех мальчиков поднялись к небу и не скоро опустились.

— А что, Ваня, — ласково заговорил Федя: — что твоя сестра Анютка здорова?

¹⁾ Бучило — глубокая яма с весенней водой, оставшейся после половодья, которая не пересыхает даже летом.

- Здорова, — отвечал Ваня, слегка картавя.
— Ты ей скажи, что она к нам отчего не ходит?..
— Не знаю.
— Ты ей скажи, чтобы она ходила.
— Скажу.
— Ты ей скажи, что я ей гостинца дам.
— А мне дашь?
— И тебе дам.
Ваня вздохнул.
— Ну, нет, мне не надо. Дай уж лучше ей: она такая у нас добренькая.
- И Ваня опять положил свою голову на землю. Павел встал и взял в руку пустой котельчик.
- Куда ты? — спросил его Федя.
- К реке, водицы зачерпнуть: водицы захотелось испить. Собаки поднялись и пошли за ним.
- Смотри, не упади в реку! — крикнул ему вслед Ильюша.
- Отчего ему упасть? — сказал Федя: — он остережётся.
- Да, остережётся. Всякое бывает: он вот нагнётся, станет черпать воду, а водяной его за руку схватит да потащит к себе. Станут потом говорить: упал, дескать, малый в воду... А какое упал?... Во-вон, в камыши полез, прибавил он, прислушиваясь.
- Камыши, точно, раздвигаясь, „шуршали“, как говорится у нас.
- А правда-ли, спросил Костя: — что Акулина дурочка с тех пор и рехнулась, как в воде побывала.
- С тех пор... Какова теперь! Но а говорят, прежде красавица была. Водяной её испортил. Знать, не ожидал, что её скоро вытащут. Вот он её, там у себя на дне, и испортил.
- (Я сам не раз встречал эту Акулину. Покрытая лохмотьями, страшно худая, с черным как уголь лицом, помутившимся взором и вечно оскаленными зубами, топчется она по целым часам на одном месте, где-нибудь на дороге, крепко прижав костлявые руки к груди и медленно переваливаясь с ноги на ногу, словно дикий зверь в клетке. Она ничего не понимает, что бы ей ни говорили, и только изредка судорожно хохочет).
- А говорят, продолжал Костя: — Акулина оттого в реку и кинулась, что её полюбовник обманул.
- Оттого самого.
- А помнишь Васю? печально прибавил Костя.
- Какого Васю? — спросил Федя.
- А вот того, что утонул, — отвечал Костя: — в этой вот самой реке. Уж какой же мальчик был! и-их, какой мальчик был! Мать-то его, Феклиста, уж как же она его любила, Васю-то! И словно чуяла она, Феклиста-то, что ему от воды

погибель произойдёт. Бывало, пойдет от Вася с нами, с ребятками, летом, в речку купаться, — она так вся и встрепещется. Другие бабы ничего, идут себе мимо с корытами, переваливаются, а Феклиста поставит корыто на землю и станет его кликать: „вернись, мол, вернись, мой светик! ох, вернись, соколик!“ — И как утонул, господь знает. Играли на бережку, и мать тут же была, сено сгребала; вдруг слышит, словно кто пузыри по воде пускает, — глядь, а только уж одна Васина шапонька по воде плывёт. Ведь, вот с тех пор и Феклиста не в своём уме: — придет да и ляжет на том месте, где он утонул; ляжет, братцы мои, да и затянет песенку, — помните, Вася-то всё такую песенку певал, — вот её-то она и затянет, а сама плачет, плачет, горько богу жалится...

— А вот Павлуша идёт, — молвил Федя.

Павел подошёл к огню с полным котельчиком в руке.

— Чё ребята, — начал он, помолчав: — неладно дело.

— А чё? — торопливо спросил Костя.

— Я Васин голос слышал.

Все так и вздрогнули.

— Что ты, что ты? — пролепетал Костя.

— Ей-богу. Только стал я к воде нагибаться, слышу, вдруг зовут меня этак Васиным голоском и словно из-под воды: „Павлуша, а Павлуша, подь сюда“. Я отошёл. Однако, воды зачерпнул.

— Ах ты, господи! ах ты, господи! — проговорили мальчики, крестясь.

— Ведь это тебя водяной звал, Павел — прибавил Федя... — А мы только-что о нем, о Васе-то, говорили.

— Ах, это примета дурная, — с расстановкой проговорил Ильюша.

— Ну, ничего, пущай! — произнёс Павел решительно и сел опять: — своей судьбы не минуешь.

Мальчики приутихли. Видно было, что слова Павла произвели на них глубокое впечатление. Они стали укладываться перед огнем, как-бы собираясь спать.

— Что это? — спросил вдруг Костя, приподняв голову. Павел прислушался.

— Это кулички летят, посвистывают.

— Куда-ж они летят?

— А туда, где, говорят, зимы не бывает.

— А разве есть такая земля?

— Есть.

— Далеко?

— Далёко, далёко, за теплыми морями.

Костя вздохнул и закрыл глаза.

Уже более трех часов протекло с тех пор, как я присоседился к мальчикам. Месяц взошёл наконец; я его не тогда заметил: так он был мал и узок. Эта безлунная ночь,

казалось, была всё так же великолепна, как и прежде... Но уже склонились к тёмному краю земли многие звёзды, еще недавно высоко стоявшие на небе; всё совершенно затихло кругом, как обыкновенно затихает всё только к утру: всё спало крепким, неподвижным, передрассветным сном. В воздухе уже не так сильно пахло, — в нём снова как-будто разливалась сырость... Недолги летние ночи!... Разговор мальчиков угасал вместе с огнями... Собаки даже дремали; лошади, сколько я мог различить, при чуть-брежущем, слабо-льющемя свете звёзд, тоже лежали, понурив головы... Слабое забытье напало на меня; оно перешло в дремоту.

Свежая струя пробежала по моему лицу. Я открыл глаза: — утро зачиналось. Еще нигде не румянилась заря, но уже забелелось на востоке. Всё стало видно, хотя смутно видно, кругом. Бледно-серое небо светлело, холодело, синело; звёзды то мигали слабым светом, то исчезали; отсырела земля, запотели листья, кое-где стали раздаваться живые звуки, голоса, и жидкий, ранний ветерок уже пошёл бродить и порхать над землёю. Тело мое ответило ему лёгкой, веселой дрожью. Я проворно встал и пошёл к мальчикам. Они все спали как убитые вокруг тлеющего костра; один Павел приподнялся до половины и пристально поглядел на меня.

Я кивнул ему головой и пошёл восвояси, вдоль задымившейся реки. Не успел я отойти двух верст, как уже полились кругом меня по широкому мокрому лугу, и спереди, по зазеленевшимся холмам, от лесу до лесу, и сзади по длинной пыльной дороге, по сверкающим, обагрённым кустам, и по реке, стыдливо синевшей из под редеющего тумана — полились сперва алые, потом красные, золотые потоки молодого, горячего света... Всё зашевелилось, проснулось запело, зашумело, заговорило. Всюду лучистыми алмазами зарделись крупные капли росы; мне навстречу, чистые и ясные, словно тоже обмытые утренней прохладой, принеслись звуки колокола, и вдруг мимо меня, погоняемый знакомыми мальчиками, промчался отдохнувший табун...

Я, к сожалению, должен прибавить, что в том же году Павла не стало. Он не утонул: он уился, упав с лошади, Жаль, славный был парень!

И. С. Тургенев.

1851

1. Укажите особенности характеров и имущественного положения крестьянских мальчиков.
2. Обратите внимание на положение мальчиков на крепостной фабрике.
3. Чем было «ночное» для крестьянских мальчиков?
4. Кто из них лучше знал сельские поверья? Почему?
5. Как относился каждый из мальчиков к этим поверьям?

6. Выберите все выражения, где автор рисует природу, как живую, наделяет ее признаками движения, мысли, чувства.

7. Есть ли что-нибудь сходное в отношении к природе мальчиков и Тургенева?

8. Что различало их? Почему мальчики «переглянулись, вздрогнули», когда услышали «один из тех непонятныхочных звуков», которые возникают иногда среди глубокой тишины? Как относится к этим звукам автор рассказа (ср.: «казалось, кто-то»)? Для кого олицетворение явлений природы было только поэтическим приемом, для кого верой в «непонятные» силы природы?

9. Откуда мальчики заимствовали суеверия?

10. Слыхали ли вы в современной деревне поверья, предания? Как относятся к ним старики, молодежь?

1. Укажите простонародные выражения (хопта, попто и мн. др.).

2. Отметьте особенности речи Илюши и Кости (повторения, обращения, темп речи — быстрый, замедленный).

3. Выпишите наиболее яркие выражения в рассказе, передающие краски, звуки, запахи, движения.

4. Выпишите составные эпитеты (золотисто-серый и т. п.).

5. Отметьте ритмические выражения в роде след.: «небо светлело, холодело, синело»; повторные звукосочетания, напр.: «жидким блеском блестевшие глаза» и др.).

6. Какие моменты в жизни природы особенно привлекают автора?

7. Разберитесь в выражениях: «его лицо горело смелой удалью», «красным пламенем горели два ёгоныка». Найдите в рассказе сходные по приему выражения.

Темы: 1. Характеристика Павлуши.

2. В ночном (о чем теперь говорят крестьянские ребята)?

3. Труд и развлечения крестьянских подростков.

4. Мои товарищи.

„Ташкент—город хлебный“.

Вступительные вопросы

(перед чтением повести).

1. Что вы слыхали о голодных 1919—22 г.г.? Не слыхали ли рассказов ваших родных или знакомых о поездках „за хлебом“?

2. Не слыхали ли рассказов „о разрухе транспорта“ в эти же годы?

Как правительство боролось с этой разрухой?

3. Не слыхали ли рассказов о „спекулянтах“ в эти годы разрухи и голода?

Чем вызывались такие учреждения на транспорте, как „ОПТО-ЧЕКА“, „Заградительные отряды“?

4. Какими мерами правительство стремилось наладить дело питания масс в эти годы?

Что вы слыхали об общественных столовых, о пайках и других мерах борьбы с голодом?

Какие заботы правительство проявляло в отношении голодающих и беспризорных детей?

Повесть „Ташкент — город хлебный“ написана А. Неверовым не только под влиянием рассказов о поездках за хлебом в те голодные годы, но и по личным наблюдениям и впечатлениям от поездки в Ташкент.

Прочтите биографию Неверова, а потом рассказ Н. Степного о поездке Неверова в Ташкент за хлебом.

А. С. Неверов.

Александр Сергеевич Скобелев, писавший свои произведения под вымышленной фамилией (псевдоним) Неверов, происходил из крестьянской семьи. Мать его — неграмотная крестьянка — померла, когда ему было лет двенадцать. С отцом он почти не жил, а все свое детство (родился в 1886 году) прожил у деда в деревне — в Самарской губернии. Кончил он три отделения сельской школы и решил сделаться крестьянином — пахарем. Крестьянская работа в поле казалась ему самой лучшей на свете — и он быстро научился пахать сохой, жать серпом, плести лапти. „Помню“, рассказывает о себе писатель: „плетенье лаптей доставляло мне неизъяснимое удовольствие. Я воображал себя каким-то старичком и оторвать меня от этой работы стоило большого труда“. Десяти-двенадцатилетний мальчуган Сашка Скобелев (впоследствии писатель Неверов), „воображая себя, — как он сам рассказывает о себе, — мужиком — крестьянином“, имел свой кисет с табаком, на все вещи смотрел мужицкими глазами, подсаживаясь к мужикам, говорил о мужицком. „Почистить, бывало, двор зимой, убрать скотину, выйти ночью к лошадям, съездить на гумно за соломой и потом позавтракать, посидеть за блюдом жирных домашних щей — было для меня чем-то особыенным, чего я и сам не мог понять“, — так вспоминает об этом времени автор повести.

Потом, правда, наш будущий писатель охладел к крестьянству, оторвался от него, перепробовал разные другие занятия: был и половым в трактире, служил в „мальчиках“ в типографии, торговал за прилавком в лавке купца, и принялся за учение сначала самостоительно, потом поступил во второклассную школу, где готовили сельских учителей школ грамоты. Здесь Неверов начал уже писать свои рассказы. По окончании второклассной школы, получив свидетельство на звание учителя школы грамоты, А. С. Скобелев посту-

пает учителем в глухую деревушку Самарской губ. Вплоть до самой войны 1914 года он учительствует в разных деревнях, близко наблюдая и изучая быт деревни, ее обитателей разных сортов — и бедняков мужиков и богатеев-кулаков, и учителей деревенских и попов сельских... Это дает ему возможность время от времени писать свои рассказы из наблюдавшего быта и посыпать их для напечатания в столичные журналы.

В 1915 году он призывается на военную службу, а в 1922 году перебирается на жительство в Москву. К этому времени имя его, как писателя Неверова, становится хорошо известным. В Москве уже он занимается исключительно писательством: он печатает одну за другую лучшие свои повести и рассказы. Но преждевременная смерть прерывает литературную деятельность молодого еще писателя: он скончался от паралича сердца 24 декабря 1923 года.

Лучшая из его повестей — „Ташкент — город хлебный“ — была написана всего за несколько месяцев до его смерти.

Не только богатые наблюдения над жизнью деревенской бедноты и ее страданиями в годы голода дали Неверову материал для написания этой повести, но еще и личные его впечатления от поездки за хлебом в Ташкент.

Вот рассказ одного из друзей Неверова об этой поездке.

Поездка в Ташкент (рассказ Н. Степного)

Это было в голодный год. Мы сидели с А. С. Неверовым среди степи, в десяти верстах от Самары в санатории и обдумывали, как же быть дальше? Чем кормить будем семью? Жара. Пыль. По дорогам скрипели телеги. Караваны уходящих людей двигались и день и ночь. Люди, спасаясь от голода, что-то предпринимали, куда-то спешили. А мы пока еще только смотрели.

Александр Сергеевич с каждым днем все больше и больше волновался.

Надо и нам что-нибудь предпринимать. А кругом доносилось: — „За полпуда муки купить дом можно, за пятнадцать фунтов — лошадь продают“.

Но зато есть такой город — Ташкент, где за одни сапоги дают три пуда, да не какой-нибудь, а настоящей крупчатки а если пиджак, — то и того больше.

— Надо и нам ехать брат, — осторожно намекнул А. С.

— А где у нас вещи? — Ну, что нибудь найдем.

— Впрочем не отправиться ли нам читать лекции до самого Ташкента?

— Это идея! — подскочил А. С. — Захватим Петяшку брат студент А. С. — певец-декламатор). Он будет декламировать, ты — лекции, а я рассказы...

— Да, за это нам и хлеба дадут.

— Ну кто же нам даст места в вагоне?

— Идем в город, там увидим...

И мы бросили санаторию....

Помог нам устроиться писатель П. Дорохов, который через кооператив достал документы и примостили нас в вагоне с едущими уполномоченными от крестьян в качестве охранников груза кооператива.

Представьте себе простой товарный вагон, только имеющий двойные настилы — нары.

Мы входим. Человек восемнадцать бородатых мужиков с вещами и с кучей денег. Они сидят и зорко смотрят на нас, собирая бороды в руки. Пытливость прорывается в их позах, движениях. Они боятся всего и в частности нас. Кто ее знает, кто мы?

Мы положили свои маленькие мешочки. Улеглись: сидеть было нельзя, над нами были еще нары.

Мужикам показалось подозрительно, что мало у нас вещей. Жесты, взгляды их были к нам враждебны. Но когда П. Н. Дорохов сказал, что мы писатели, то лица их вытянулись.

Один Семен, рыжебородый, с маленькими бегающими синими глазами, что глядели, как у волка, из-за кустов поросшего волосами лица, — даже не выдержал — брякнул от избытка:

— От орточека нас выручат, потому что народ они... пролетарии...

До Кинеля мы добрались быстро. Но в Кинели (сорок верст от Самары) уже надолго остановились.

Вагон наш стоял и стоял. Нас обогнали другие поезда. А. С. порывался все уезжать обратно. А у меня перед отправлением в Самаре вытащили кошелек, я боялся уже возврата, так как без денег в Самаре, конечно, я бы пропал, а здесь надеялся на лекции и продажу книг. И возвращение А. С. для меня означало полный крах. Одному, конечно, ехать было нельзя. Я предпринимал разные меры.

На вопрос А. С. когда же тронемся, отвечал: слыхал, что скоро уже теперь, к вечеру обязательно... А там уже без остановки. Недельки за две — три будем в Ташкенте.

Наконец, через три дня поезд наш тронулся...

— Ну теперь уже назад не вернемся! — облегченно вздохнули все... Теперь один путь вперед...

Помню, на одной из станций на нашем вагоне крыша была облеплена людьми. Уполномоченные — мужики решили во что бы то ни стало пассажиров прогнать, боясь, что они проломят крышу, и самим нам не придется ехать.

Вылезли из вагона... Но А. С. глянул на крышу и как-то робко заметил:

— А пускай их едут, хоть до следующей станции!

У тех, кто был на крыше, установилось с А. С. какое-то единство — все головы с крыш повернулись к нему: они словно ждали от А. С. еще услыхать то слово, которое он произнес. И он уже смелее сказал:

— Пускай их маленечко подъедут!

Уполномоченные остановились в раздумье. Поезд дал свисток, сгонять было некогда. Вскочили в вагоны.

На одной из станций подошел к вагону кто-то из начальствующих и попросил к нам впустить женщину с мальчишкой — до Ташкента. Уполномоченные застращались, но начальствующий сказал — что это приказ орточека, и магическое слово закрыло рты мужикам.

Мы поехали.

В Оренбурге решили устроить вечер. Устройство взял на себя оренбургский пролеткульт. Расклеил афиши, спретировал своих поэтов к нам на помощь. Все было готово к выступлению, и я отправился за своими...

Приехав на станцию, я подбежал к вагону. Но мне навстречу выскочил А. С. и закричал:

— Скорей, скорей! Эх, ты, голова, — где ты пропадаешь? На лице его была тревога:

— Трогаемся!

— А как же лекция? Ведь у нас уже все устроено, билеты продают.

— Ну, и пусть продают, они одни устроят в пользу голодающих, а мы все таки поедем дальше, — к хлебным местам...

Поезд тронулся.

— Уж и боялся я за тебя, — сказал мне А. С., — отстанешь ты — совсем дело плохо будет: надо друг за дружку держаться в таком далеком пути...

Читали лекции в Актюбинске, Перовке, Туркестане.

Помню особенно в Актюбинске А. С. имел успех. Читал он рассказ об Ивановой душе... (Там были и дети). Его своеобразное мастерское чтение так привлекло к себе внимание слушателей, что после его выступления все окружили его, и полился поток вопросов, похвал...

В Ташкенте мы выступали в саду имени Луначарского: нам было мало закрытого помещения.

Читали лекции и в Самарканде, где за устройство литературного вечера в одной из красноармейских частей дали нам четыре пуда рису.

И надо было видеть нашу радость!.. Рис чистый, белый рис!.. Нас четверо, — по пуду каждому... Но А. С. как то улыбнулся внутрь себя и нерешительно протянул:

— Неужто мы все возьмем? У нас ведь есть дед Гольдебаев, да Тисленко, да еще кое-кто... — И он начал откладывать, кому да кому следует еще дать.

Я прервал.

— Ты что, или коммунист что-ли?

Он шутя ответил:

— Нельзя, надо маленько жалеть и других... В Самаре канде за вторую лекцию нам дали по бутылке портвейну и хины... В Джуме, где мы должны были закупить хлеб, нас пригласили садовладельцы Сокольские устроить у них литературный вечер.

Ярко-синее, вечно сияющее небо. Ни одного облачка. Солнце. Тополи, ввысь уходящие, масса деревьев — сливы, персики, виноград...

Я прибегаю к А. С.

— Ну, собирайся, брат, надо итти читать!...

— А в чем я пойду?

Он был в одном белье. Последний пиджак он променял в Джуме, откладывая для кого-то еще муки.

— Пришлось кое-как одеть А. С., собирать, у кого что есть...

Мы читали в саду. Над нами висели плоды. А. С. был в ударе...

Садоводы были поражены, удивлены его мастерским чтением, фабулой его рассказов.

Назначили нам еще один вечер, но мы уже получили уведомление об отправке утром, почему и отказались...

За лекцию нам прислали мешок сушеных фруктов. И этот мешок, по настоянию А. С., мы так же поделили, вспомнив всех самарских товарищей — писателей.

Поехали обратно.

От Оренбурга я захворал возвратным тифом, и меня перевели в другой вагон. А. С. навестил меня и принес свою бутылку вина...

— Знаешь что, выпей-ка, не бойся, все будет по хорошему... Маленько похвораешь и поправишься!..

Вино поддерживало меня. Я свою бутылку уже кончил. Камфоры, конечно, не было, бутылка была весьма кстати.

Приехали в Самару. Он подскочил:

— А-а! Приехали!.. Теперь хлеб есть, дров наменяем, будем пекать лепешки и работать, работать!..

Принялись делить... А. С. все больше и больше находил людей, кому нужно дать.

— Ты жалей маленько, жалей!.. Каждый ведь человек!..

Вопросы для проработки повести „Ташкент — город хлебный“.

1. Какие лица в повести привлекают внимание читателя?
2. Кто является центральным действующим лицом повести — ее героем?

Как расположены (группируются) около него все остальные действующие лица?

Перечислите всех лиц, с которыми сталкивается Мишка Додонов и разгруппируйте их по возрасту, по отношению к Мишке, по характеру их.

3. Какая главная черта характера Мишки привлекла внимание автора? Найдите те места повести, где выступает особенно ярко эта характерная черта Мишки.

4. В чем сказывается крестьянское происхождение Мишки? Чем он больше всего интересуется, как относится к вещам и что в них ценит?

5. Укажите разнообразные случаи проявленной Мишкой в пути к Ташкенту выносливости, стойкости, цепкости, способности пережить и перетерпеть «большое человеческое горе».

6. Укажите случаи находчивости Мишки в его затруднительных положениях. Как относиться к «хитростям» и «обманам» Мишки?

7. Не сумеете ли объяснить основные черты характера Мишки его происхождением, условиями его воспитания и жизни в крестьянской трудовой обстановке?

8. Выделите группу детей в повести и охарактеризуйте их. Отметьте случаи столкновения и сближения с ними Мишки.

9. Проследите отношения Мишки к Сереже: отметьте борьбу чувств у Мишки в отношении к Сереже.

10. Вскройте картины «большого человеческого горя», страшного голода.

11. Соберите все черты, какими рисуется толпа, объятая безысходной тоской по хлебушку.

12. Какие картины борьбы за жизнь рисуются в повести?

13. С какой мечтой — надеждой умирает старик в далекой киргизской степи? К кому относится восклицание: «Слава тебе, безымянная».

Объясните это восклицание, внимательно пр чтя всю страницу о последних грезах умирающего старика.

Как построена повесть.

1. Чем поддерживает автор повести неослабный интерес читателя с первой до последней страницы ее?

2. Проследите смену (переводование) удач и неудач Мишки: чем они вызываются и как Мишка выходит из положений, в какие он попадает. В связи с этим отметьте смену настроений у Мишки.

3. Проследите все случаи столкновений его с людьми — детьми и взрослыми — на протяжении всего пути до Ташкента и отметьте значение этих столкновений для развития хода событий.

4. Выделите из повести этот ход событий и составьте план всех приключений Мишки.

5. Какое место в повести занимает описание местностей? С какой точки зрения даются эти описания?

Сравните в этом отношении повесть с рассказом Тургенева «Бежин луг».

Язык повести.

1. Отметьте особенности языка действующих лиц повести.
2. Приведите примеры деревенских, простонародных выражений.
3. В чем особенность таких форм слов, как фабриков, солдатов (найдите еще такие формы) и таких словосочетаний, как длинная путь, чего-нибудь делать?..
4. Отметьте особенности языка Мишки (откуда он заимствует свои сравнения, обороты речи и т. д.).
5. Отметьте особенности языка самой повести: чем достигается плавность и ритмичность речи в ней?

Разберитесь в особенностях таких оборотов, как «Поднялись мужики с сундучками, поднялись бабы с ребятами. Вскинулись мешки на плечи».. «Потревожили разговоры хлебные Мишкину голову... Закачалась перед глазами спелая пшеница»..

Выпишите еще несколько примеров таких оборотов: мало ли их?

В чем особенность этих словосочетаний?

Попробуйте переделать их на обычные: «Мужики поднялись.. Пшеница закачалась» и т. д.

Какая получится разница в складе речи?..

На какие слова падает ударение в первых и во вторых оборотах? Какая будет разница в смысле тех и других выражений?

6. Проследите, к каким сравнениям прибегает автор: из круга каких явлений автор черпает эти сравнения (см. в описании стени и в др. местах).

7. Приведите примеры так называемых «отрицательных сравнений»; где еще встречали вы такие сравнения? В чем выразительность этих сравнений?

8. Разберите с звукоподражательной стороны слова, навязываемые стуком колес поезда:

Еду — еду — раз
Ловко — ловко — два
или:
Не доедешь,
не доедешь,
смерть!

9. Почему те или другие слова навертываются у Мишки при ритмическом стуке колес?

В чем удачность этого приема автора повести?

10. Как часто и в чьи уста вкладывает автор слово «маленько»?

Сравните в этом отношении язык самого Неверова по рассказу Н. Степного о поездке в Ташкент.

Темы для письменных работ.

1. Запишите со слов ваших родных или знакомых рассказ о том, как они ездили за хлебом.
2. Опишите обратный путь Мишки из Ташкента.

3. Как завел Мишка хозяйство по возвращении из Ташкента.
4. Как жили дома в ожидании Мишки.
5. Как Мишка учился в школе.
6. Как Мишка стал ходоком за крестьянские интересы.

На полях.

Над избушкой мою красно, —
Далеко виден алый платок...
Будет веское в поле зерно,
День покоса горяч и широк.
По весеннему в поле родном
Забурлили потоки-ручьи...
Красный флаг над рабочим сс-
лом
Точно жаркое пламя свечи.

На полях — широченная гладь...
Загремели колеса вдали...
Хорошо бы сохой распахать
Все просторы свободной земли.
На ~~соже~~ я развешу кумач,
Красноту загоревшихся дней...
— Эй, дорогу, дорогу, богач,
Дай дорогу клячонке моей!

П. Орешин.

Песня пахаря.

Ну, тащися, сивка,
Пашней, десятиной!
Выбелим железо
О сырую землю.

Красавица-зорька
В небе загорелась,
Из большого леса
Солнышко выходит!

Весело на пашне:
Ну, тащися, сивка!
Я сам-друг с тобою,
Слуга и хозяин.

Весело я лажу
Борону и соху,
Телегу готовлю,
Зерна насыпаю.

Весело гляжу я
На гумно, на скирды,
Молочу и вею...
Ну, тащися, сивка!

Пашенку мы рано
С сивкою распашем,
Зернышку готовим
Колыбель святую.

Его вспоит, вскормит
Мать земля сырая.
Выйдет в поле травка —
Ну, тащися, сивка!

Выйдет в поле травка —
Вырастет и колос,
Станет спеть, рядиться
В золотые ткани.

Заблестит наш серп здесь,
Зазвенят здесь косы;
Сладок будет отдых
На снопах тяжелых.

Ну, тащися, сивка!
Накормлю досыта,
Напою водою,
Водой ключевою.

А. Кольцов.

1. Как рисуются пахарю последовательные моменты его работы: выделить эти моменты в их последовательности.
2. Обратите внимание на образность языка этой песни.

К в а с о к.

Я знаю шорохи и звоны
Колосьев, зреющих во сне,
Душистой ржи полу-поклоны
Моей родимой стороне.
Дорог изгибы мне знакомы,
Испытан жатвы знойной день.
Люблю я золото соломы
На крыше русских деревень.
Люблю зеленые отавы,
Ряды серпов и светлых кос.
Бродяги-ветра звон кудрявый
Среди серебряных берез.
Люблю веселый смех мужичий
На темном пахотном лице.
И старый дедовский обычай
И посиделки на крыльце.
Люблю за то, что скоро в хаты
Ворвется новая заря.

И будет скошено и сжато
Сереброкудрое вчера.
Люблю проснуться спозаранок,
Когда в заре все небо сплошь,
И мимо розовых ветрянок
Войти в заутреннюю рожь.
Под звон косы полягут волны
Снопов кудрявых на току,
И славно будет в полдень зной-
ный
Хлебнуть крестьянского кваску.
О, край родной, как ты чуде-
сен!
Ржаная степь, ржаной народ,
Ржаное солнце, и от песен
Землей и рожью отдает.

П. Орешин.

Отметьте повторяющиеся эпитеты, разберитесь в их применении; чем объясните употребление этих эпитетов у поэта?

К о с а рь.

Не возьму я в толк,
Не придумаю...
Отчего же так
Не возьму я в толк?
Ох, в несчастный день,
В бесталанный час
Без сорочки я
Родился на свет!
У меня-ль плечо
Шире дедова;
Грудь высокая —
Моей матушки;
На лице моем
Кровь отцовская
В молоке зажгла
Зорю красную;
Кудри черные
Лежат скобкою;
Что работаю —
Все мне спорится!

Да в несчастный день,
В бесталанный час
Без сорочки я
Родился на свет!
Прошлой осенью
Я за Грунушку,
Дочку старости,
Долго сватался;
А он, старый хрен,¹⁾
Заупрямился
За кого же он
Выдаст Грунушку?
Не возьму я в толк,
Не придумаю...
Я-ль за тем гонюсь,
Что отец ее
Богачем слывет?
Пускай дом его —
Чаша полная!
Я ее хочу,

¹⁾ Но он, старый хрен,

Я по ней крушусь: ¹⁾
Лицо белое —
Заря алая,
Щеки полные,
Глаза темные
Свели молодца
С ума разума...
Ах, вчера по мне ²⁾
Ты так плакала!
Наотрез стариk
⁴ Отказал вчера...
Ох, не свыкнуться ³⁾
С этой горестью!...
Я куплю себе
⁵ Косу новую;
Отобью ее,
Наточу ее —
И прости-прощай, ⁴⁾
Село родное!
Не плачь, Грунушка, —
Косой острою
Не подрежусь я... ⁵⁾
Ты прости, село,
Прости, староста:
В края дальние
Пойдет молодец:
Что вниз по Дону,
По набережью.
Хороши стоят
Там слободушки!
Степь раздольная ⁶⁾
Далеко вокруг,
Широко лежит,
Ковылем-травой ⁷⁾
Расстилается!..

Ах ты, степь моя,
Степь привольная!
Широко ты, степь,
Пораскинулась,
К морю Чорному
Понадвинулась!
В гости я к тебе
Не один пришел:
Я пришел сам-друг
С косой острою;
Мне давно гулять
По траве степной
Вдоль и поперек ⁸⁾
С ней хотелось...
Раззудись, плечо!
Размахнись, рука!
Ты пахни в лицо,
Ветер с полудня! ⁹⁾
Освежи, взволнуй
Степь просторную!
¹¹ Зажужжи, коса,
Засверкай кругом! ¹⁰⁾
Зашуми, трава,
Подкошбная;
Поклонись, цветы,
Головой земле!
На-ряду с травой ¹¹⁾
Вы засохнете,
Как по Груне я
Сохну, молодец!
Нагребу копен,
Намечу стогов, —
Даст казачка мне
Денег пригоршни.
Я зашью казну,

1) Я по ней грушу:

2) Ох, вчера по мне

3) Отказал вчера...

Что же, Груня, мне
Делать надобно?

Ох, не свыкнуться

⁴⁾ Косу новую...
Не плачь, милая;
Твоего отца
Не зарежу я...
Куплю косу я,
Отобью ее,

Наточу ее

Остро-на-остро, —

И прости-прощай,

⁵⁾ Не зарежусь я

⁶⁾ Степь широкая

⁷⁾ И ковыль-травой

⁸⁾ Вдоль и в поперек

⁹⁾ Ветер полудня!

¹⁰⁾ Зажужжи, коса,

Как пчелиный рой!

Молоньей, коса,

Засверкай кругом!

¹¹⁾ По рядам с травой

Сберегу казну;
Ворочусь в село — ¹⁾
Прямо к старосте:
Не разжалобил

Его бедностью ²⁾;
Так разжалоблю
Золотой казной!

А. Кольцов.

1. Что побудило «молодца» итти в широкие донские степи?
2. Какая бытовая картина может быть вскрыта по этому стихотворению?
3. Как рисуется в стихотворении красавец-молодец? Отметьте черты этой красоты и объясните их привлекательность с крестьянской точки зрения.
4. Как рисуется «спорая» работа косаря?
5. Выделите выразительные глаголы, которыми рисуется эта спорая работа: в чем их выразительность?
6. Как объясните вы употребление глагола поклонись (един. ч.) в сочетании с словом цветы (множ. ч.)?
7. Найдите выразительный образ душевного состояния молодца, заимствованный из моментов его косьбы: в чем выразительность этого образа?
8. Сопоставьте варианты с основным текстом: отметьте разницу в отдельных картинах, в сравнениях и образах.
Выпишите параллельно отдельные слова текста и вариантов различающиеся только в их грамматических формах: какие из них являются более уместными?
Выпишите слова вариантов параллельно с заменой в окончательном тексте: какие удачнее из них?

К о с ь б а.

После завтрака Левин попал в ряд уже не на прежнее место, а между щутником-стариком, который пригласил его в соседи, и молодым мужиком, с осени только женатым и пошедшим косить только первое лето. Старик, прямо держась, шел впереди, ровно и широко передвигая вывернутые ноги, и точным и ровным движением, не стоявшим ему, повидимому, более труда, чем маханье рук на ходьбе, как бы играя, откладывал одинаковый, высокий ряд, точно не он, а одна острыя коса сама вжикала по сочной траве. Сзади Левина шел молодой Мишка. Миловидное, молодое лицо его, обвязанное по волосам жгутом свежей травы, все работало от усилий; но, как только взглядывали на него, он улыбался. Он, видимо, готов был умереть скорее, чем признаться, что ему трудно.

1) Возвращусь в село.

2) Я слезой любви.

Левин шел между ними. В самый жар косьба показалась ему не так трудна. Обливавший его пот прохладжал его, а солнце, жегшее спину, голову и засученную по локоть руку, придавало крепость и упорство в работе, и чаще и чаще приходили те минуты бессознательного состояния, когда можно было не думать о том, что делаешь. Коса резала сама собой. Это были счастливые минуты. Еще радостнее были минуты, когда, подходя к реке, в которую утыкались ряды, старик обтирая мокрою, густою травой косу, полоскал ее сталь в свежей воде реки, зачерпывал бруслицу и угощал Левина. „Ну-ка, кваску моего! А, хорошо?“ говорил он, подмигивая.

И, действительно, Левин никогда не пивал такого напитка, как теплая вода с плавающей зеленью и ржавым от жестяной бруслицы вкусом. И тотчас после этого наступала блаженная медленная прогулка с рукой на косе, во время которой можно было отереть ливший пот, вздохнуть полной грудью и оглядеть всю тянувшуюся вереницу косцов и то, что делалось вокруг, в лесу и в поле. Чем долее Левин косил, тем чаще и чаще он чувствовал минуты забытья, при которых уже не руки махали косой, а сама коса двигала за собой все сознающее себя, полное жизни тело, и, как бы по волшебству, без мысли о ней, работа правильная и отчетливая делалась сама собой. Это были самые блаженные минуты.

Трудно было только тогда, когда надо было прекращать это, сделавшееся бессознательным, движение и думать; когда надо было окашивать кочку или невыполненный щавельник. Старик делал это легко. Приходила кочка, он изменял движение и где пяткой, где концом косы подбивал кочку с обоих сторон коротенькими ударами. И, делая это, он все рассматривал и наблюдал, что открывалось перед ним; то он срывал кочеток, съедал его или угощал Левина, то отбрасывал концом косы ветку, то оглядывал гнездышко перепелиное, с которого из-под самой косы вылетала самка, то ловил козюлю, попавшуюся на пути, и, как вилкой, подняв ее косой, показывал Левину и отбрасывал.

И Левину, и молодому малому сзади его эти перемены движений были трудны. Они оба, наладив одно напряженное движение, находились в азарте работы и не в силах были изменять движение и в то же время наблюдать, что было перед ними.

Левин не замечал, как проходило время. Если бы спросили его, сколько времени он косил, он сказал бы, что полчаса; а уже время подошло к обеду. Заходя ряд, старик обратил внимание Левина на девочек и мальчиков, которые с разных сторон, чуть видные, по высокой траве и по дороге шли к косцам, неся оттягивавшие их рученки узелки с хлебом и заткнутые тряпками кувшинчики с квасом. — „Виши

козявки ползут“, сказал он, указывая на них, и из-под руки поглядел на солнце. Прошли еще два ряда; старик остановился. „Ну, барин, обедать!“ сказал он решительно. И, дойдя до реки, косцы направились через ряды к кафтанам, у которых, дожидаясь их, сидели дети, принесшие обеды. Мужики собрались — дальние под телеги, ближние под ракитовый куст, на который накидали травы.

Л. Н. Толстой.

1. Что облегчало работу Левина?
2. Когда она становилась затрудненной?
3. Сравните работу старика и начинающих косцов.

* * *

Вот по распаханной, черной поляне,
Землю взрывая, идут поселяне.
Весело видеть семью поселян,
В землю бросающих горсти семян.
Дорого-любо, кормилица-нива,
Видеть, как ты колосишься красиво,
Как ты, янтарным зерном налита,
Гордо стоишь — высока и густа!
Но веселей нет поры обмолота;
Трудная дружно спорится работа;
Вторит ей эхо лесов и полей,
Словно кричит: — „поскорей! поскорей!“
Звук благодатный! Кого он разбудит, —
Верно, весь день тому весело будет!

Н. Некрасов.

Л Е Н.

(Народная песня).

Участвующие, преимущественно девушки, становятся в круг, в средину его выступает одна и под пение хороводом нижеследующей песни начинает плясать и выражать пантомимой все те приемы обработки льна, о которых говорится в песне.

Под дубравою лен, лен,
Под зеленою лен, лен.
Уж я сеяла, сеяла ленок,
Уж я, сея, приговаривала,
Чеботами приколачивала,
На все бока поворачивала.
„Ты удайся, удайся, мой лен,
Ты удайся, мой беленький,
Полюбился, дружок миленький!“
„Научи меня, мати,
„Как белый лен полоть“.

— Еще так, да вот так, чи дочи,
Вот так, да чи дочки мои,
Вот так, да голубушки,
Вот так, да голубушки.

Я полола, полола ленок,
Я полола, приговаривала,
Чеботами приколачивала.

(И т. д. до слов: Научи меня, мати).

„Научи меня, мати,
„Как белый лен дергать“.

— Еще так, да вот так, чи дочи,
Вот так, да чи дочки мои и т. д.

Уж я дергала, дергала ленок,
Уж я, дергав, приговаривала и т. д.

„Научи меня, мати,
„Как белый лен стлати“.

— Еще так, да вот так, чи дочи и т. д.
Вот так, да чи дочки мои и т. д.

Уж я стлала, стлала ленок,
Уж я стлала приговаривала и т. д.

„Научи меня, мати,
„Как белый лен сушить“.

— Еще так, да вот так, чи дочки и т. д.

Я сушила, сушила ленок,
Я сушила, приговаривала и т. д.

„Научи меня, мати,
Как белый лен мять“.

— Еще так, да вот так, чи дочки и т. д.

Уж я мяла, мяла ленок,
Уж я мяла, приговаривала и т. д.

„Научи меня, мати,
„Как белый лен трепати“.

— Еще так, да вот так, чи дочки и т. д.

Уж я мяла, мяла ленок,
Уж я мяла, приговаривала и т. д.

„Научи меня, мати,
„Как белый лен чесати“.

— Еще так, да вот так, чи дочки и т. д.

Я чесала, чесала ленок,
Я чесала, приговаривала и т. д.

„Научи меня, мати,
„Как белый лен прясти“.

— Еще так, да вот так, чи дочки и т. д.

Уж я пряла, пряла ленок,
Уж я пряла, приговаривала и т. д.

- 1) Укажите ритмические движения в жизни природы и человека.
- 2) В чем ритмичность работы косцов (см. «Косьба» Л. Толстого)?
- 3) Какое значение имеет ритм для трудящихся?
- 4) Где в стихотворении Некрасова отмечен ритм при обмолоте?
- 5) Как отражается в песне—игре «Лен» ритм работы?
- 6) Не видали ли вы работы, выполняющейся с песнью целой артелью? Дайте описание такой работы.

Урожай.

Рожь шумит высоким лесом.
Нынче весело полям.
Солнце красное воскресло
И идет и светит нам.
Утро синью напоило
Наш ржаной медовый край.
— Выходи ржаная сила,
Жать богатый урожай!
Синь-косой раздайся шире,
Сытой грудью развернись.
Мы не даром в этом мире
Спелой рожью поднялись.

Не поймать седому долу
Песню красную в полон.
Нива колосом тяжелым
Бьет косцу земной поклон.
Завтра рожь под дружным взмахом
Ляжет в длинные ряды, —
И придется сытым птахам
На ночлег лететь в скирды.
Рожь вскипела, зазвонила,
Взволновала сырый край:
— Выходи, ржаная сила,
Жать богатый урожай!

П. Орешин.

Сравните эпитеты в стих. „Квасок“.

М а ш и н а.

I.

Уже не один день сидит Петрунька дома. Кругом подобрались со спешными работами, и соседские ребята, освободившись пока-что до жатвы, с полудня уходят к озеру, на рыбалку, на всю ночь... Там, за стенами — теплые тени по задворкам, не гаснущий румянец над щетиною сосняка, зеленый полумрак вспотевших в дремоте овражков, а за овражками — тихая гладь озера... Так и подмывает вскочить, прокользнуть в дверь и бежать — бежать за поскотину, к озеру, к ласкам ночи... Но юное любопытство Петруньки крепко, крепче всех искушений. То необычное, затаенное, важное, что происходит между его отцом и дедом, неодолимо тянет к себе и усаливает дома, точно на цепь привязывает.

Едва сумерки окутают двор, пробирается Петрунька в свой угол и там затихает. А когда большие улягутся по своим местам, он неслышно приползает с головы зипунишко и весь отдается ожиданию.

„Скоро ль?“ Петрунька терпелив. Он таращит глаза, чтобы не уснуть невзначай, и порою леноночко щиплет себя за ляжку.

Ночь что-то шепчет у оконца в бледных листьях осины, да за припечьем поет сверчок. Поскрипит, поскрипит — смолкнет, будто прислушается, и опять за свое.

Мысли легкокрылые уносят Петруньку к друзьям. Перед глазами, как наяву, встает озеро... Трещит на бережку костер, и тянутся красные лапы, шарят в темноте, будто что-то нащупывает... Черная густая гладь озера вспыхивает матовым багрянцем... У костра светятся чумазые лица... Из близкого леса веет ароматом сосны, с воды — теплою сыростью... Тихо кругом...

Демка, самый старший в кругу, вполголоса рассказывает про лешего. Но не страшно Петруньке... Лешего даже немножечко жаль: старый, весь пегий, бродит он по лесу и тоскует по былой таежной глухи, тесно стало ему, тесно, — разгуляться негде.

— Тятенька!..

Петрунька вздрагивает. Зашуршала отцовская кошомка, слышится деланно протяжная позевота и снова осторожное и хриповатое:

— Тятенька!..

Это Аким зовет деда.

— Э? — доносится, чуть погодя, с голбчика глухой, старческий голос.

— Так как же... надумал, что ли?..

Слышно, как дед поскрипывая голбчиком, поворачивается на бок, но не отвечает.

— А! тятенька! — опять, уже более настойчиво, зовет Аким.

Долгое томительное молчание. Вытянувшись в струнку, Петрунька таит дыхание. Хочется почесать спину, да нельзя — услышат еще... Где-то за огородами явственно кричит перепел.

— Тятенька-а!..

— Во-осподи праведный!.. — стонет дед. — Дай ты мне покою, старику... Аким!.. Дай, мол, покою...

Аким покорно смолкает, но не надолго.

— Главное дело, — бормочет он, как бы про себя: — главное дело, никакого, то-ись, ращету нет... Позови человека с жаткой, дай ему пару целкашай... с десятины... Сорок десятин — восемьдесят целкашай... Эвон, куда въедет! А ежели три года да по восемьдесят... два ста сорок... Сумна!.. Опять же, поденщики, бабы... Быка стравишь, пару баранов... А народ какой пошел... Его не шевели, а чуть что — недовольство!.. Не приведи бог!..

Дед упорно молчит.

— Весной наймывай, в страде наймывай, — продолжает Аким: — да это че же такое выйдет?..

И, помолчав, начинает вкрадчивым, молящим голосом:

— Тятенька, слыши?.. Ты бы не того... не сумлевался бы... Похоронить тебя — похороню, не хуже других... Сын я, поди, да и достатку хватит... А тут, главное, ждать некогда. Утресь глядел — доспеват! Красным-красно!

Скрипит голбчик, и идет оттуда раздумчивое:

— Ка-ак? Доспеват, го-во-ришь?

— Как же! — оживает голос Акима, — зерно-то зарумянилось!..

Дед вздыхает и что-то шепчет про себя.

„Забирает старого хрыча“ — думает Петрунька. — „Сдается таки, упористый“...

Сверчок тренькает где-то над самым ухом. Из пригона подает заспанный голос корова.

„Сгрезилось бурой“... — думает Петрунька, улыбаясь, и забывается коротким, чутким сном... Будто посветлево над озером. Демка сидит у костра на корточках... И опять — о лешем... Старый, пегий весь, плетется он к утру в Синий Лог, на самое днище — от людей подальше, а как ночь — ходит по лесу, глядит на чашу звездную и плачется: „Эх, все запахали мужики, раскряжили таежное, оголили дернистое, а мне куда?“ — „Ку-у-да.“ тянет жалостливо в лесу ночная птица. И трещит костер, и мечутся красные лапы... „Так... так“... говорит кто-то протяжно да горестно.

Петрунька открывает глаза.

— Так-то, сынок... — слышится тугой голос деда. — Бывало, в топоре — все хозяйство: туды топор, сюды топор... Топор — всему делу голова... Жили, сынок, кормились!..

— Кака уж жисть-то, — тихо откликается Аким.

— Нынче у каждого, — продолжает свое дед: и то, и се... Молотилка не молотилка! Косилка не косилка! Плуг не плуг... Все подай... А мы с серпами ее, матушку, да с сошенькой... А у сошеньки-то, сынок, донышко зо-ло-тое...

Кто-то возится на потолке и шлепает мягким, точно рукачками... „У-у... е-е... у-у“ — доносится сверху глухое. тревожное... И ночь кругом откликается тихими голосами.

„Петушиное утро, а наши брунчат все“... мелькает в голове Петруньки; ласковая теплота льнет к его глазам, и они сами собою закрываются... Но просыпается вновь от тяжелого возбужденного голоса отца.

— Ну-у!.. Теперь как поглядишь на старое — то мука одна...

— Мука муку любит, сынок!.. Так-то...

Дед говорит тихо, и в ответе его слышится скрытая покорность. Аким то-и-дело срываются и взволнованно сопит носом.

— А ты, сынок, не горячи... сердца слово: — скрипит ста-
рик, — я — не супротив, к слову сказывал... Жили, мол,
ранее.

Старый спокойный голос убаюкивает Петруньку. Зати-
хают осиновые листья за оконцами; смолкает сверчок у при-
печья.

И снова, уже далеко за полночь, Петрунька, как от толчка,
открывает глаза и настораживается. Ему кажется, что спал
он всего минутку, и в ушах еще стояли голоса отца и деда.
Но уже алел угол печи, и из ближнего распахнутого оконца
шло свежее дыхание утра.

Петрунька приподнял голову, огляделся. Сонно колыха-
лась пушистая борода отца. „Спит... А дед?“

Чуть не вскрикнул от неожиданности, плотно сжал веки
и замер.

Сутулый, в длинной холщевой рубахе, с обнаженными,
остро выпирающими ключицами, осторожно спускался дед с
голбчика. Ступил на пол, половица скрипнула... Кашлянул
в руку.

Петрунька не выдержал и приподнял неудержимо вздра-
гивающие веки.

Дед, стоял у печи, глядел в сторону Акима. В запав-
ших глазах его теплилось что-то, такое мягкое, утреннее,
отчего у Петруньки радостно заколотилось сердце.

В сенях, овлажневших за ночь, пахло гарью, вверху,
должно быть, на крыше, бодро чирикал воробей.

Дед шел по двору к амбару. Петрунька тенью мелькнул
по завалинке. Спугнул из пыльной ямы квохчущую курицу
и, щуря глаза от светящегося воздуха, побежал у прясел,
купая босые ноги в густой росе. Вот и грузный, осевший
зад амбара.

Припал к щели между бревен. Замер, глубоко вдыхая
в себя запах лежалого зерна. Гулко колотилось сердце.

В теплом сумраке амбара дед, не спеша, прошел в даль-
ний угол. Полоса розового света, бьющего из дыр навеса,
легла на лысину, пучковатые брови, широкий нос и жили-
стый коричневый загривок, покрытый серебристым пушком.

Непослушно-оттопыренными пальцами долго нащупывал
старик стену. Кряхтя, выташил клин из бревна, просунул
в дыру пальцы и достал тряпицу... Перекрестился мелкими
взмахами руки.

„Ага, сдался-таки!“ — пронеслось в голове парнишки.
Оглянулся — не смотрит ли кто, и снова приник к щели.

Дед одул кошель, осмотрел его и бережно засунул в кар-
ман портков.

Юлою завертелся на месте Петрунька.

Упругий, сочный небосклон наливался золотом, и чуди-
лось, что это от него пали на зелень крупные сверкающие

капли. Распластав книзу грузные ветви, пела голосами пичужек старая медностволая сосна... Близилось солнце...

На миг задумавшись, Петрунька вытянул трубочкой губы и с пронзительным посистом бросился к пряслам. Ухватившись за кол, перескочил на другую сторону. Обжег в крапиве голую ляжку. Прыгая на одной ноге, потер рукою больное место и, что было духу, пустился бежать по теплому пуху дорожной пыли, оставляя следы пальцев. Взбудораженная, выскочила из подворотни собаченка и хрюпло залаяла; забытый с вечера на перекрестке, пестрый телок недоуменно поднял голову, позякивая боталом.

„Под-по-лю... под-по-лю“... — выкрикивали перепела из светящейся чаши пшеницы. В густой и свежей, точно омытой ночными росами, синеве неба четко кружил первый коршун.

— Шу-гу-у!.. — послал вверх Петрунька, ухватил рассыпающийся ком земли, бросил его к небу и снова бежал, сверкая пятками, то-и-дело поддергивая штанишки.

Вот последний клин молочной гречихи. Пчелы пели ей свои утренние песни... И вдруг пахнуло пьяным духом: то конопля курилась под первым горячим лучом...

— Ребята!.. — закричал Петрунька неистово.

„Когда, усталый, вернулся он с поля в избу и увидел сосредоточенно радостные лица отца, матери и деда, понял, что тут все уже свершилось.

Чаевали, и особенно весело шумел самовар, особенно весело звенели чашки.

— Ты куда, пострел, запропастился? — спросила мать, но в голосе ее не было сердца. Помолчав, она ласково сказала:

— Ну, Петруша, кланяйся дедушке в ножки... Он те на машину дал!..

— Знаю!.. — вырвалось у мальчонки.

II.

Аким ждал из города монтера. Народ поговаривал о жатве.

Мужики, чертыхаясь в сторону на нерасторопных баб, готовились к работам, насаживали на литовки ручники, чинили грабли и вилы. Сидор Лукич и с ним еще трое, — все четверо имели жатки, — уехали в город за частями, обносившимися в прошлое лето.

За воротами Акимовой избы с утра до вечера кто-нибудь дежурил: то сам Аким, то дед, то Петрунька, забиравшийся на верею, чтобы виднее было. Матрена хмуро приговаривала:

— Купили деймона! Вот и охай, вот и жди всяка там... ремонтера...

Стоял конец июля, когда солнце уже не пылает огромным знойным костром, а покорно, текуче, золотою пылью расходится в бледной синеве неба. Воздух тонок, но тускл, все чудится, что где-то там, за синеющим увалом, горит лес, и до самого вечера невидимые руки плели под небом искристые нити паутины; одна за другую, нежно колыхаясь, летели они над узорными нивами, серыми дорогами, по улицам деревень, пока не хватала их цепкая ветвь сосны или коричневый махор бурьяна.

Хорошо было за околицей, на просторе, и туда тянуло Петруньку. Только страх, что монтер приедет в его, Петруньки, отсутствие, усаживал дома. Чтобы не скучать, Петрунька сманивал ребят к себе на огород и оттуда, через прясла показывал им коробы машины, сложенные под сараев. Хотелось ближе, да не позволял отец.

— Нече глазеть, пшли! — гнал он со двора надоевших ему парнишек.

Не в духе был он. Шутка ли, кое-кто уже в поле, на работе, а у него „ни тпру, ни ну“...

„Милей бы — и не покупать вовсе“, приходили порою горькие мысли к Акиму, и тогда он избегал глядеть деду в глаза, рычал на Матвея, а Матрене, ни с того, ни с сего говорил, что она дармоедка, и такою ее маменька родила.. Та испытывающе глядела на него и невозмутимо кидала:

— Хороша и дармоедка, а с умом...

— Это ты... к чему? — настораживался Аким.

— К тому-то!.. Поди, поди, за ворота, никак ремонтер...

— У, змей, — шипел Аким и уходил в поле. Часами стоял там у пшеницы. Тихо под ветром коренились, точно из золота сложенные, колосья и легохонько звенели... Слушал Аким, и что-то смутное, тревожное подымалось в его простой душе: как будто бы затеял он не то, что нужно было здесь, среди этого моря звенящего золота, под этим бледным синим небом. И выползал страх, недоверие к железному чуду, недвижно покоящемуся у него под сараев.

И однажды лопнуло терпение Акима. Велел он запрятать чалую, напился чаю и, не проронив слова, уехал с работником в город.

Это было утром, а в сумерках того же дня, когда поля наполнились тихими, идущими из леса вздохами, а в угасающем небе, над дальнею избою, показался нежный серп месяца, Петрунька вышел за двор и свистнул.

Из-за прясел вынырнула белая голова с шустрыми глазенками. За нею — другая, слегка наклоненная в сторону, прислушивающаяся.

— Айдате скорей.. — прошипел Петрунька, взмахивая рукой к себе.

— Уехал? — отозвалась голова, не трогаясь с места.

— Прыгай, давай!...

Легкий треск, и через прядла, один за другим, перелезают четверо. В сером сумраке навеса, как осиновые листья, шелестят голоса:

— Да, где же?

— Нешто не видишь... Во-о!

— Уй-ей-е-ей!..

Проворные рученки пытливо нащупывают ящики.

— Дерево-то.. гла-а-адкое!

— Што тебе сундуки-и!

— В этом вот — полотнища... — тыкал пальцем в ящики Петрунька. — А тут сплошной, а тут — колеса, а вот те... гляди!..

Одна голова приникает к расщелине в ящике. Другие ждут очереди, нетерпеливо просовываясь вперед.

— Ну, видишь?..

Голова молча пыхтит с минуту, потом нерешительно отзыается:

— Вижу...

— Че видишь-то?..

— Даык... усы каки-то... на-манер ухвата...

— Дуралей! Апарат-то, вязальный... Сам споны который вяжет...

— О?

— Вот те и о!..

— Сама?

— Хи! Сказывал, поди, я... Сама!.. Сама косит, сама ложит, сама связывает... Мудреная!... Да ты... давай сюды... гу!..

Вторая голова с косичкой на затылке осторожно приближается.

— Боюсь я...

— Боюсь я...

— Мертвя она... дуреха!..

Ощупали все, постучали кое-где кулаком. Насмотрелись, стоят, не шелохнутся.

— Сто тыщ верст перли машину, — горячим шопотом рассказывает Петрунька. — Из-за грани... Дошлый народ пошел на стороне... В городе купец сказывал: там, говорит, все машинами робят... А руками ничего!..

— Ленивые!.. че ли?..

— Ленивые!.. Сказал тоже... У них, вишь ты, у мериканцев-то, и пахота машиной идет: заведут ее, а она пошла, и пошла. Смаху сто десятин... за день!...

— Ух, ты!

— То-то!.. — Петрунька повышает голос: — Живы-здоровы будем, на следущ год себе таку купим... пахать чтобы...

— Денег-то де возьмете?..

— Ха!.. У деда еще три корчаги есть... Хватит! Да и сам выправлюсь... робить буду!

Слушатели подавлено молчат.

— А то есче така машина есть, — продолжает шепотом Петрунька: — Сама, виши ты, жнет, сама молотит, сама мелет... все зараз! Прямо на поле мешки с мукой броском вы-брасывают... Во-как!

И еще долго слышится возбужденное повествование Петруньки, прерываемое несдержанно звонкими голосами „Ой-ли!.. Здо-о-орово! Ой-ей-ей!..“

Воздух наливается мглой, острый серп кротко мерцает над дальней избой. Крылатый ушан реет под сосной, а из двора доносятся тяжелые вздохи домового: скучает, видно... Где-то, в конце улицы, скрипит не то колодезный журавель, не то телега.

— Петрунька-а-а! Де-е... ты-ы-и!..

Под навесом переполох.

— ... Воро-о-ота!..

Петрунька стремительно бежит вперед, а позади — дробный топот босых ног и торопливый треск гнилых пряслей.

III.

Петрунька открыл глаза и видит: за столом, в красном углу, под образами, обвитыми узорным ручником, сидит не-знакомый парень в замасленой тужурке и жадно уписывает блины, горою возвышающиеся перед ним на миске. Подле дед трясущимися руками наливает из парного самовара праздничные стаканы, расписанные цветами. Отец, должно быть, только-что выпил водки, морщится, утирает бороду концом рубахи, подносит гостю чашку, налитую через край, и приговаривает:

— Кушай, паря... Одолжай, миляга!..

У гостя лоснится от пота круглый угреватый лоб, смуглые, в темном пушку, щеки расплываются в улыбку:

— Да будет бы!..

Но уступает, водит рукавом тужурки по толстым масляным губам и, подняв сытые карие глазки, берет из хозяйствских рук чашку:

— Много лет вам!..

— Кушай-ка на здоровье! — отзываются в один голос отец и мать.

Мать стоит, опираясь на ухват, у печи и улыбается. Половина ее лица, белый платочек на голове, край высоко подоткнутого подола отсвечивают заревом из печной пасты.

Петрунька вскакивает с сундука и проворно натягивает штанишки.

— Не опоздать бы!..

Из окон, через сетку герани и цветного мака, льется солнце, играет на самоваре и в волосах деда, прыгает зайками по конику и по домотканному бордовому половику.

Вскоре все на дворе. Незнакомый парень, оказавшийся монтером из города, ловко разбирает под навесом ящики сноповязалки, достает и раскладывает в порядке по земле рамы, зубчатые колеса, трубки и болтики.

Вокруг толпятся бабы, девки и мальчишки с разинутыми ртами.

Аким оставил их в покое, сосредоточенно следя за каждым движением монтера.

Работа разгорается; час за часом из разбросанных железных частей растет машина. Монтер сбросил тужурку, засучил рукава и звонко стучит молотком. Порою он выпрямляет спину, отдувается, утирает с лица ребром чумазой руки пот и просит квасу.

Порою он, обращаясь к Акиму, внушительно говорит:

— Мотри, эту гайку — в порядке надо, чтобы повсегда на месте...

— Слушаем, — покорно отвечает Аким и вздыхает.

— Ничего себе, обвыкнешь! — ободряет его монтер: — туто, главное, насилом не надо! Машина нежная!..

— Больно мудрено че...

— Пошто мудрено?.. Один гаечный ключ, немного масла и смекалки... вот и все!

Растет машина... Уже на колесах платформа, уже гремят цепи при поворотах зубчаток, уже посверкивает на солнце тонкое мотовило, похожее на игрушечный остов мельничного колеса.

Погожим утром, когда над избами еще висел молочный пухлый туман, из распахнутых ворот Акимова двора, величаво покачиваясь, двинулась на тонких транспортных колесах сноповязалка.

Монтер, откинувшись на гибком железном сиденьи, уверенно кричал на лошадей:

— Эге-е, ше-елу-удивые-е!..

Пестрая шумная толпа из подростков, баб и мужиков, во главе с Акимом и дедом, спешила вслед. Позади, верхом на чалой, ехал Петрунька, держа под уздцы другую лошадь. Он свысока поглядывал на людей, нетерпеливо бил голыми пятками в бока чалой и кричал:

— Береги-ись!..

Торопливо хлопали калитки, скрипели ворота; из густых косм тумана выплывали новые и новые лица. Вышел толстый, краснощекий староста и долговязый лавочник, облеченный в жилет поверх рубахи, с длиною, болтающуюся на животе цепочкой от часов. Оба как-то особенно почтительно поздоровались на ходу с Акимом и примкнули к толпе. Те, что шли у самой машины, косились на нее и вполголоса толковали.

— Хитро, надо быть, все... Забава!..
— Будет ли толк-то?
— Знамо, будет! На то — вершат...
— Не скажи...

Мальчишки бежали впереди и первые распахнули ворота поскотины.

Всходило солнце, ломкие лучи вязли в тумане, зажигая его там и сям пурпуром.

Алая пыль закурилась по дороге, бессильно падая в толпу.

Стали у грузно кренившейся под росою пшеницы.

— Ну, вороти на сторону! — закричал монтер. — Гей, нечего лезть под ноги!..

В его руках зазвенел ключ, забелели полотна. Он приговаривал:

— Гляди, хозяин, чтобы полотна у тебя по пути были... За пряжками следи, слышь?..

Потянулись томительные минуты молчания.

— Пошто не приступат? — слышались нетерпеливые голоса.

— У вас не спросились! — откликался из-под платформы монтер.

— Нельзя, — рокотал осипший бас старосты: — Вишь, роса, а по росе жать негоже!..

— Верно!..

— Пошли, вы! — кричал на окруживших машину мальчишек остролицый, сухонький и проворный Степан переселенец.

— Леонафту-то припасли? — слышался его голос, полный тона знатока. Степан „видал виды“ и в Орловской губернии сам робил у помещика на „этакой-то“.

— Поди, припасли, — тихо замечал лавочник, косясь в сторону монтера.

— То-то!.. Ножи-то поднять надо!..

— Эк, без тебя не знают!.. — кричал монтер.

— Нам што... — обиделся Степан. — Мы только...

— Тпру, стой!..

— Затяни постромки! — звенел уже в другом конце голос монтера: — Подай шлагат!..

Несколько человек, толкая друг друга, услужливо бросились к нему.

— Она у те, Аким, не пужлива?

— Нет...

— То-то! Разнести могит... впервый-то...

— Винт, однако, не на ту... сторону... — встревожился опять Степан.

— К бабе своей ступай! — советовал монтер. — Ей указывай!..

— И старики сюда же приперлись, — скалил зубы безусый парень.

— Антиресно!..

— Отойдь, ребята! Не напирай!..

— Пшел, Ваньша! Угодиши, чертенок, под косу...

Дрогнул, потянулся вверх туман: осилили его острия лучей. Зачернел лес в стороне, и вспыхнул пшеничный клин.

— Уйди, брюхо про-о...

Вдруг затихли людские голоса.

— ...по-о-ррю!.. — угрожающе предупредил монтер, косясь на ребятишек.

Стали полукругом, тесно сомкнулись. Ребята, молчаливо, скользкие, как угри, протискивались наперед. Бабы ловили их за руки и не пускали от себя. Лишь беспрокойно, в редеющем тумане, невидимый, кричал чибис, да насвистывал где-то в стороне, шныряя в кочках, куличок.

Монтер постучал ключом под спонносом, покрутил ручку у платформы, и она, дрогнув, тихо подняла зад, уставивши острые зубья к коричневому корневищу пшеницы.

Петрунька горящими глазами следил за каждым движением монтера: вот тот надвинул покрепче картуз, взял в руки бич, подержал, бросил его и полез на сиденье. Аким торопливо подал концы вожжей.

— Ну, го-о-споди благослови!...

Аким первый снял кошемную шапку, и все, у кого она была, сделали то же. Притаили дыхание. Теперь было слышно, как густо сопит толстый староста.

Монтер тронул вожжи, заглянул вперед.

Петрунька перегнал отца и вскочил верхом на переднюю лошадь.

— Поше-е-л!..

Лошади рванули, машина вздрогнула и с сухим шорохом, прищелкивая, как большая птица, плавно двинулась вперед.

Люди, толкая друг друга, давя и напирая, бросились вслед.

— Но-но-о! — кричал монтер, упруго откинувшись и с силою двигая рычагом.

— Но-но-о!.. О-о-о!.. — дружно, восторженно взмахивая руками, стремительно наступая, ревела вслед толпа.

В первую минуту, из-за облака пыли, поднявшейся от платформы, видна была лишь напряженная спина монтера, да то, как плавно, сверкая на солнце, подымались планки мотовила.

„Ш-ш... Ш-ш“... — непрерывно, врезаясь в людской гомон, шло сухое и тихое от мотовила.

И вдруг передние ряды в толпе ахнули: звякнув, спопонос сбросил первую пару снопов. Кинулись к нему, подхватили на руки.

— Ах, яз-зви ее!..

— Скрутила-то ка-ак!..

А впереди желтела уже новая связка, и еще, и еще...

Бежали по щетине жнитва, спотыкаясь о комья борозды, стремились наперед.

— Ай да самогон!..

— Ка-а-ки штуки выделывают!..

Теперь было видно все. Мотовило бережно пригибало высокие ряды пшеницы; срезанные у корня, покорно, густым пластом ложились на полотно стебли, и непрерывным золотым потоком влекло их вверх, к вязальному столбу; проворные шупальцы упаковщика ловко сжимали стебли в ровные кучки, сверкающее острье замыкалось, и сноп трепетал уже в железных лапах снопоноса. Гладко подстриженная щетина дорожкою стлалась позади.

— Ах-ха-ха!.. Ну, ма-а-шина!.. Ха-х-ха-а!..

— Ну, и зве-ер-ры!..

— Оборотень!.. Чорт е дери!..

— Теперича жатки фи-ю!.. Никуда супротив этой!..

Охали, гикали, и многие не могли сдержать буйного, восторженного взрыва хохота. Один Степан, переселенец, „видавший виды“, молча шагал у самого полевого колеса, но видно было, что равнодушие его стоило ему недешево. Лавочник подбежал к Акиму, красное, потное лицо которого расплылось, как сдобренное тесто.

— Молодец ты, Федосеич!..

— Чего там? — рассеянно поднял тот сладко поблескивающие глазки.

— Молодец, мол... Беспременно заведу себе!..

Пышными гроздьями ложились снопы по три в ряд, как по линии. Бабы охали над тугими связками, тыкали в них кулаком, тщетно пытались разорвать шпагат.

— Не раздерешь!..

— Ловче рук!..

— Ах, она, лихоманка!.. Эй, слышь, дедка!.. Смотри-ка че... Вот, как язва!..

Дед все время шел рядом с Акимом, но утомился, отстал и одиноко стоял, склонившись над связкою снопов. На окрик он поднял голову и молча стал следить за удаляющейся сноповязалкою. Пыль крутилась по жнивью, человечий гомон пестрым эхом отдавался в полях. Дед поднял влажные глаза к ясной сини неба, напитанной солнцем, и тихонько крякнул, как бы осиливая тяжесть, навалившуюся на него.

Двинулся к людям. Шел не спеша. Покряхтывая, поды мал выброшенные колосья, складывал их в пучок, улыбался:

„Машина — не рука человечья: ронят“...

IV.

Пришел вечер, задымились поля, двинулись тени по улице, в темном остывающем небе повис остроконечный рог месяца.

Петрунька сидел в избе, припав к подоконнику раскрыто оконца.

Среди двора, в полумраке, насыщенном серебристой пылью молодого месяца, возились над споповязалкою Аким, работник Матвей и дед.

— Смотри, не зацепи! — подавал голос Аким, и слышалась его натужная одышка.

— За-адом ее...

„Скорей бы кончали“, думал Петрунька. Его разморило за день. Сладко ныли ноги, все горело лицо, и глаза слипались сами-собою.

Мать, хлопотавшая у стола, подошла к Петруньке и наклонилась к оконцу.

— Скоро вы там? — окликнула она.

Ей не ответили. Сноповязалку вдвинули под навес и загородили пряслами, чтобы не потревожила скотина. Аким стоял посреди двора и оглядывал машину любовно, с чувством хозяйствского удовлетворения.

— На стол накрыла, слышь! — снова теряя терпение, покричала в оконце Матрена.

— Идем...

Пришли, принесли с собою со двора крепкий запах навоза и пота. Такие большие, бородатые, и тени от них по стенам — огромные, на-двоем ломаются.

Уселись, кругом за стол. У Петруньки от усталости ложка из рук падала, а отец, коренастый, волосатый, весь потом смоченный, бороду разгладил, выпростал рот, перекрестил его и зачавкал сочно, убористо. И Матвей не отставал от него, только дед не спешил чего-то.

— Спать бы, — проронил Петрунька, но никто не отозвался. Вели свой разговор.

— Митюшкин парень просил... — бросал Аким, между чавканьем. — Шесть рублей давал... со шпагатом... Я ему дешевенько, малый, прибавь... А он: не дорожись, говорит... А тут голытьба новоселая подошла... Давай, грят, нам... Мы, грят, за шпагатом не постоим... Эвона! Я им: ладно, мол, на-перво, свое уберу... Д-да... Заутро, в самом-деле к Синему логу надобно... Ден пять провозишься...

Голос отца все затихал, затихал и уже как будто из-за стены шел он, и уже не отец то, а большой шмель жужжал... Прикурнул Петрунька к плечу деда, затих.

— Никак, готов, — сказала Матрена.

— О?..

— Ей-же ей...

Аким любовно взял сына на руки.

— П-пусти... — процедил Петрунька, когда мать тащила с его ног обутки. — Мотовило... Прикре-пи.

И, будто, смеялся кто-то над ним... А потом загомонили вокруг люди... Ой-ей, сколько их! Вся улица черна-чернешенька от народа... И ворота кругом: тыр-тыр... Прет отовсюду и стар и мал... Пыль клубится над горячими от солнца пряслами, и жмутся к ним бабы — непротолк по улице. Река рекою льется люд через ворота поскотины на выгон и далее, по полям... Поля... Ничего нет, кроме желтеющей вокруг пшеницы да упружистой небесной сини над ней... „Поше-ел!“ — звонко кричит Петрунька и чувствует, как мягко колышется под ним сиденье сноповязки. Лошади рвут, чалая спотыкается на-ходу, а Петрунька кричит: „Валя-ай!“ Кланяются колосья и падают на белые полотна, как в постель... И видит Петрунька — не один он: по-праву сторону Демка, тоже на сноповязке покачивается, по-леву Тишкин крестник. „А врете, я скорее вас полосу пройду“, думает Петрунька и бодрит лошадей — бичом к ним тянеться... А сам оглядывается... Господи!.. Покуда глаз берет — движутся по полю сноповязки, и нет им счету... „А вот вас сколько!..“ мелькает в голове Петруньки. „Погоди-ж, я вам по-о-кажу“... И вот уже не на сноповязке он, а подле чудной такой машины, и труба у нее, черным пальцем в небо уставилась. И гудит, и пыхтит машина, и столбом мякина летит, а зерно сыплется, сыплется... И самодовольно глядит по сторонам Петрунька, а толпа народа вокруг — без шапок. „Ай да Петр Акимыч!“ говорят вокруг. „Вот это — мужик!“ А зерно сыплется, горою растет... Радостно Петруньке и страшно: ну, как рухнет гора, да зерном сыпанет, — затопит все поле, всю поскотину, всю деревню... Сердце скимается, кровь стучит в висках. „У-ух!“ — отдувается Петрунька и просыпается.

— Го-осподь с тобой! Чего ты орешь? Спужался?

Голос деда с голбчика. Сизая муть крутилась в углу, и дрожало блеклое оконце.

— Я к тебе, деданька... — попросился Петрунька, приподнимая голову.

— Ладно, иди...

Крепко прижался к костиистому плечу деда и опять уснул.

На дворе чуть брезжил рассвет, а деду не спалось. Старому и дня и ночи мало, чтобы перебрать в памяти

прожитое, осмыслить конец. Пройдена дорога длинная, такая длинная, что даже память о ней теряется...

Лежит дед на палатах, к сладкому дыханию внука прислушивается, и хочется ему все по порядку припомнить от малых лет, да где уж!..

Одно крепко знает он: сомутилась жизнь, вихрем вскрутилась, непонятная стала. Раньше совсем по другому жили, попросту... И крепкий народ был, упористый. По весне, бывало, за соху возьмутся — земля-то — цель дернистая.

А потом, глядь-поглядь, в двадцати верстах село волостное объявилось, и повалил всякий народ, как вода полая. И вот уже трудно теперь узнать старое: и люди другие, и сноровка другая, и о соах запамятали.

Всякий норовит рубль в землю вложить, а десять спросить... И ко всему-то машины принарывают.

— Эх-ха-а...

Петрунька промычал во сне и повернулся на бок.

— Ась? — наклонился к нему дед.

Петрунька тихо и ровно посвистывал носом.

В. Бахметьев.

1. Составьте характеристику Петруньки.
2. Что заставило Акима перейти к машинной обработке земли?
3. Как относились к машине на деревне (взрослые, дети?)?
4. Видели ли вы сельско-хозяйственные машины на работе в поле? Расскажите или опишите самую работу и толки среди крестьянства.

1. Выпишите технические слова, относящиеся к машине.

1. Дайте описание крестьянского двора и избы, точно указав названия ее частей и предметов, в ней находящихся.
2. Нарисуйте план виденного вами крестьянского двора и избы. Сравните несколько крестьянских изб и набросайте план типичной для вашей местности избы (и двора).
3. Зарисуйте отдельные предметы крестьянского труда и обихода.
4. Запишите, какие в деревне существуют пословицы, поговорки, загадки о сохе, бороне, телеге, топоре и пр.
5. Если в группе есть товарищи из разных местностей, составьте словарик местных слов, обозначающих предметы крестьянского обихода и труда, части двора и избы.
6. Определите состав этих слов, выделяя корни, и уясните смысловое значение (венец, сруб, волоковое оконце и проч.).

Частушки.

1.

Шли через поле, видим горе, —
Жнут серпами, спины гнут.
Эй, друзья, увидим скоро,
Как машины за всех жнут.

2.

Со крутого бережка,
Брать водичку — не достать...
С старомодного плужка
Урожая нам не снять.
Мужиков надо удивить —
Станем трактор заводить.

Молотилка.

Стуком стучит, громыхает нутром и плюется мякиной
Прямо в плетень барабан, хрустя сноп за снопом.
Павлов старик, припускает рукою умелою колос,
Ходит ремень на валу черной и длинной змеей.
Ровно состав шестерни перестукивает обороты.
Около риги, стоптав круг на полынном пару,
Ходят два мерина, кнут терпеливо снося от Ивана,
Парня пятнадцати лет, в шапке русых кудрей.
Тянут они за подвертку усердно и след котяками,
Сбитыми точно ядро, стелют под ноги себе.
Подле растет непомерно гора перемятой соломы
Два мужика на цепах носят вязанки, как воз.
Баба на тело покрепче, поверху омет уминает,
Вилами чешет с боков, точно волосья свои.
В риге работа в разгаре: старуха Устинья в обмотках
На голове и руках, чтоб пропылиться не всей,
От барабана солому сгребает. Под зубьями льется
Сплавом шуршащим зерно, ворох в сорочке растет, —
Это лопатой Никита, смышеный подросток, равняет.
В угол мякина летит, в рот попадает в глаза.
Фенька — солдатка, как ведьма теперь почернела, румянец
Скрылся под пылью густой, только белки на лице.
Вот рассмеялась при деле, на Клима зубами сверкнула.
Тот же, снимая снопы, свяслами ее подстегнул,
Да и на девок прикрикнул, пускай подождут баловаться:
Солнце на полдень взойдет, остановиться тут след.

П. Радимов.

Несжатая полоса.

Поздняя осень. Грачи улетели,
Лес обнажился, поля опустели;
Только не сжата полоска одна...
Грустную думу наводит она.

Кажется, шепчут колосья друг другу:
„Скучно нам слушать осеннюю вьюгу,
Скучно сконяться до самой земли,
Тучные зерна купая в пыли!
Нас, что ни ночь, разоряют станицы
Всякой пролетной прожорливой птицы,
Заяц нас топчет и буря нас бьет...
Где же наш пахарь? чего еще ждет?
Или мы хуже других уродились?
Или не дружно цвели-колосились?
Нет! мы не хуже других — и давно
В нас налилось и созрело зерно.
Не для того же пахал он и сеял,
Чтобы нас ветер осенний развеял?...“
Ветер несет им печальный ответ:
— Вашему пахарю моченьки нет.
Знал, для чего и пахал он, и сеял.
Да не по силам работу затеял.
Плохо бедняге — не ест и не пьет,
Червь ему сердце больное сосет,
Руки, что вывели борозды эти,
Высохли в щепку, повисли как плети,
Очи потускли и голос пропал,
Что заунывную песню певал,
Как на соху налегая рукою,
Пахарь задумчиво шел полосою:

Н. Некрасов.

1854.

1. Перед какой картиной стоит поэт Некрасов? Соберите из всего стихотворения ее черты.
2. В каких олицетворениях изобразил поэт свое впечатление от той картины?
3. Попробуйте превратить поэтические олицетворения в грустные думы самого поэта.
4. О ком главная дума поэта?
5. В каких значениях вам известно слово „станица“?
Каким другим словом его можно заменить? Вот что писал по тому поводу Некрасов: „Слова — группа, партия, даже стая, которыми можно было бы заменить его в „Несжатой полосе“, кроме своей прозаичности, были бы менее точны, лишив выражение того оттенка, какой характеризует птицу перелетную, располагающуюся время от времени станом на удобных местах для отдыха и корма“. — Согласны ли вы с поэтом?

Крестьянская пирушка. *)¹⁾

Ворота тесовы
Растворилися,
На конях, на санях
Гости въехали;
Им хозяин с женой
Низко кланялись,
Со двора повели
В светлу горенку.
Перед спасом святым
Гости молятся;
За дубовы столы,
За набраные,
На сосновых скамьях
Сели званые.
На столах кур, гусей
Много жареных,
Пирогов, ветчины,
Блюда полные.

Бахромой, кисеей
Принаряжена,

²⁾ Молодая жена,
Чернобровая,
Обходила подруг
С поцелуями,
Разносила гостям
Чашу горькова; ²⁾

Сам хозяин, за ней,
Брагой хмельною
Из ковшей вырезных
Родных потчует;
А хозяйская дочь
Медом съченым
Обносила кругом,
С лаской девичьей.³⁾
Гости пьют и едят,
Речи гуторят —
Про хлеба, про покос,
Про старинушку:
⁴⁾ Как-то бог и господь
Хлеб уродит нам?
Как-то сено в степи
Будет зелено?⁴⁾
Гости пьют и едят,
Забавляются,
От вечерней зари
До полуночи.
По селу летуки
Перекликнулись;

⁵⁾ Призатих говор, шум
В темной горенке;
От ворот поворот
Виден по снегу. ⁵⁾

*) Пирушка русских поселян.
1) Сельская пирушка (исправлено в:
„Пирушка русских поселян“).
2) Молодая жена
Разносила гостям
Чашу радостей.

Переправлено в:
Молодая жена
В зор приветливый
Обходила подруг
С поцелуями
Обносила { гостям
кругом
Чашу радостей

3) С поцелуями
Переправлено в:
С { (словом „выкушай“)
лаской девичьей.
4) Как-то в предки господь
Хлеб уродить им,
Как зимой о святках.
Долго иней был,

„Уберутся ль в степи
Сена зелены?“
Говорил Пантелея
Свату Якову.

Переправлено в:
Как-то бог и господь
Хлеб уродит нам?
Как-то сено в степи
Будет зелено?
„А зимой, о святках
Долго иней был!“
Говорил Пантелея
Свату Якову.

5) Призатих говор, шум
В темной горенке,
На дворе ни саней
Възежих не было,
От ворот тесовых
След яснеется.

1. Чем интересна картина зимнего отдыха крестьян, нарисованная в этом стихотворении?

2. В чем могла бы быть сходной, а в чем разнилась бы подобная картина в современной деревне?

3. Выпишите эпитеты, употребленные в этом стихотворении, и отметьте их выразительность.

4. Путем сопоставления вариантов, данных в сносках, с основным текстом, выясните разницу, как в отдельных картинах, так и в средствах выразительности речи.

Отыщите в вариантах интересные по своей выразительности места.

Отметьте неудачные, нескладные места в некоторых из вариантов.

* * *

Топи да болота,
Синий плат небес.
Хвойной позолотой
Взвевивает лес.
Тенькает синица
Меж лесных кудрей,
Темным елям снится
Гомон косарей.

По лугу со скрипом
Тянется обоз,—
Суховатой липой
Пахнет от колес.
Слухают ракиты
Посвист ветряной..
Край ты мой, забытый,
Край ты мой родной!

С. Есенин.

Мороз — красный нос.

(Народная сказка).

У мачехи была падчерица да родная дочка; родная что ни сделает, за все ее гладят по головке да приговаривают: умница, а падчерица как ни угождает — ничем не угодит: все не так, все худо. А надо правду сказать, девочка была золото, — в хороших руках она бы как сыр в масле купалась, а у мачехи каждый день слезами умывалась. Что делать. Ветер хоть нашумит, да затихнет, а старая баба расходится — нескоро уймется, — все будет придумывать да зубы чесать. И придумала мачеха падчерицу со двора согнать: „Вези, вези, стариk, ее — куда хочешь, чтобы мои глаза ее не видали, чтобы мои уши о ней не слыхали; да не вози к родным в теплую хату, а во чисто поле на трескун мороз!“ Стариk затужил, заплакал; однако, посадил дочку на сани, хотел прикрыть попонкой — и то побоялся; повез бездомнную во чисто поле, свалил в сугроб, перекрестил, а сам поскорее домой, чтоб глаза не видали дочериной смерти.

Осталась бедненькая, трясется и тихонько молитву творит. Приходит Мороз, попрыгивает, поскакивает, на красную девушки поглядывает: „Девушка, девушка, я Мороз - Красный Нос“.— „Добро пожаловать, Мороз, знать бог тебя принес по мою душу грешную“. Мороз хотел ее тукнуть и заморозить; но полюбились ему ее умные речи, жаль стало, бросил он ей шубу. Оделась она в шубу, подожмала ножки, сидит. Опять пришел Мороз - Красный Нос, попрыгивает, поскакивает, на красную девушку поглядывает: „Девушка, девушка, я Мороз-Красный Нос“.— „Добро пожаловать, Мороз, знать бог тебя принес по мою душу грешную“. Мороз пришел совсем не по душу: он принес красной девушке сундук высокий да тяжелый, полный всякого приданого. Уселилась она в шубочке на сундучке, такая веселенькая, такая хорошененькая. Опять пришел Мороз-Красный Нос, попрыгивает, поскакивает, на красную девушку поглядывает. Она его приветила, а он ей подарил платье шитое и серебром и золотом.

Надела она и стала какая красавица, какая нарядница! сидит и песенки попевает. А мачеха по ней поминки спрашивает: напекла блинов. „Ступай, муж, вези хоронить дочь“. Старик поехал. А собачка под столом: „Тяв, тяв, старику дочь в злате, серебре везут, а старухину женихи не берут!“— „Молчи, дура! На блин, скажи: „Старухину дочь женихи возьмут, а старицкой одни косточки привезут!“

Собачка съела блин да опять: „Тяв, тяв, старику дочь в злате, серебре везут, а старухину женихи не берут!“ Старуха и блины давала и била ее, а собачка все свое: „Старику дочь в злате, в серебре везут, а старухину женихи не берут“.

Скрипнули ворота, растворились двери, несут сундук высокий, тяжелый, идет падчерица — панья - паньей сияет! Мачеха глянула, и руки врозь. „Старик, старики, запрягай других лошадей, вези мою дочь поскорей, посади на то же поле, на то же место. Повез старик на то же поле, посадил на то же место. Пришел и Мороз-Красный Нос, поглядел на свою гостью, попрыгал, поскакал, а хороших речей не дождался; рассердился, хватил ее и убил. „Старик, ступай мою дочь привези, лихих коней запряги, да саней не повали, да сундук не оброни“. А собачка под столом: „Тяв, тяв, старику дочь женихи возьмут, а старухиной в мешке косточки везут!“— „Не ври, на пирог, скажи: старухину в злате, в серебре везут!“ Растворились ворота, старуха выбежала встречать дочь, да вместо ее обняла холодное тело. Заплакала, заголосила, да поздно!

Мороз — красный нос.

Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц,—

Их разве слепой не заметит,
А зрячий о них говорит:
„Пройдет — словно солнце
осветит,
Посмотрит — рублем подарит!“

Идут они той же дорогой,
Какой весь народ наш идет,
Но грязь обстановки убогой
К ним словно не липнет. Цветет

Красавица, миру на-диво,
Румяна, стройна, высока,
Во всякой одежде красива,
Ко всякой работе ловка.

И голод, и холод выносит,
Всегда терпелива, ровна...
Я видывал, как она косит:
Что взмах — то готова копна!

Платок у ней на ухо сбился.
Того-гляди косы падут.
Какой-то парнек изловчился
И кверху подбросил их, шут!

Тяжелые русые косы
Упали на смуглую грудь,
Покрыли ей ноженъки босы,
Мешают крестьянке взглянуть.

Она отвела их руками,
На парня сердито глядит.
Лицо величаво, как в раме,
Смущеньем и гневом горит...

По будням не любит безделья.
Зато вам ее не узнать,
Как сгонит улыбка веселья
С лица трудовую печать.

Такого сердечного смеха
И песни, и пляски такой
Заденьги не купишь. — „Утеша!“
Твердят мужики меж собой.

В игре ее конный не словит,
В беде не сроеет — спасет;
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет!

Красивые ровные зубы,
Что крупные перлы у ней,
Но строго румяные губы
Хранят их красу от людей —

Она улыбается редко...
Ей некогда лясы точить,
У ней не решится соседка
Ухватя, горшка попросить;

Не жалок ей нищий убогой —
Вольно ж без работы гулять!
Лежит на ней дельности строгой
И внутренней силы печать.

В ней ясно и крепко сознанье,
Что все их спасенье в труде,
И труд ей несет воздаянье:
Семейство не бьется в нужде.

Всегда у них теплая хата;
Хлеб выпечен, вкусен квасок,
Здоровы и сыты ребята,
На праздник есть лишний кусок.

Идет эта баба к обедни
Пред всею семьей впереди:
Сидит, как на стуле, двулетний
Ребенок у ней на груди;

Рядком шестилетнего сына
Нарядная матка ведет...
И по сердцу эта картина
Всем любящим русский народ!

* * *

И ты красотою дивила,
Была и ловка, и сильна,
Но горе тебя иссушило,
Уснувшего Прокла жена!

Горда ты — ты плакать не хо-
чешь,
Крепишись, но холст гробовой
Слезами невольно ты мочишь,
Сшивая проворной иглой.

Слеза за слезой упадает
На быстрые руки твои.
Так колос беззвучно роняет
Созревшие зерна свои...

У дома оставили крышу,
К соседке свели ночевать
Зазябнувших Машу и Гришу
И стали сынка обряжать.

Медлительно, важно, сурово
Печальное дело велось:
Не сказано лишнего слова,
Наружу не выдано слез.

Уснул потрудившийся в поте!
Уснул, поработав земле!
Лежит, непричастный заботе,
На белом сосновом столе;

Лежит неподвижный, суровый,
С горящей свечой в головах,
В широкой рубахе холщевой
И в липовых новых лаптях.

Большие с мозолями руки,
Подъявшие много труда,
Красивое, чуждое муки
Лицо — и до рук борода...

... Саврасушка, трогай,
Натягивай крепче гужи!
Служил ты хозяину много,
В последний разок послужи!

Чу! два похоронных удара!
Попы ожидают — иди!..
Убитая, скорбная пара,
Шли мать и отец впереди.

Ребята с покойником оба
Сидели, не смея рыдать,
И, правя савраской, у гроба
С вожжами их бедная мать

Шагала... Глаза ее впали
И был не белей ее щек
Надетый на ней, в знак печали,
Из белой холстины платок.

За Дарьей — соседей, соседок
Плелась негустая толпа,
Толкуя, что Прокловых деток
Теперь незавидна судьба,

Что Дарье работы прибудет,
Что ждут ее черные дни.
„Жалеть ее некому будет“,
Согласно решили они...

Как водится, в яму спустили,
Засыпали Прокла землей;
Поплакали, громко повыли,
Семью пожалели, почтили
Покойника щедрой хвалой...

А Дарья домой воротилась —
Прибраться, детей накормить.
Ай-ай! как изба настудилась!
Торопится печь затопить,

Ан, глядь — ни полена дрови-
шек...
Задумалась бедная мать;
Покинуть ей жаль ребятишек,—
Хотелось бы их приласкать,
Да времени нету на ласки.
К соседке свела их вдова,
И тотчас, на том же савраске,
Поехала в лес по дрова.

Морозно, Равнины белеют под
снегом,
Чернеется лес впереди;
Савраска плетется ни шагом, ни
бегом.

Не встретишь души на пути.
Как тихо! В деревне раздавший-
ся голос

Как будто у самого уха гудет,
О корень древесный запнувший-
ся полоз
Стучит и визжит, и за сердце
скребет.

Кругом — поглядеть нету
мочи —

Равнина в алмазах блестит.
У Дарьи слезами наполнились
очи —

Должно быть, их солнце сле-
пит...

В полях было тихо, нотише
В лесу и как будто светлей.
Чем дале — деревья все выше,
А тени длинней и длинней.

Деревья, и солнце, и тени,
И мертвый, могильный покой...
Но — чу! заунывные пени,
Глухой сокрушительный вой!

Осилло Дарьушку горе,
И лес безучастно внимал,
Как стоны лились на просторе,
И голос рвался и дрожал,

И солнце, кругло и бездушно,
Как желтое око совы,
Глядело с небес равнодушно
На тяжкие муки вдовы.

И много ли струн оборвалось
У бедной крестьянской души,—
Навеки скрыто осталось
В лесной нелюдимой глуши.

Великое горе вдовицы
И матери малых сирот
Подслушали вольные птицы,
Но выдать не смели в народ...

Не псарь по дубровушке трубит,
Гогочет сорви-голова, —
Наплакавшись, колет и рубит
Дрова молодая вдова.

Срубивши на дровни бросает —
Наполнить бы их поскорей,
И вряд ли сама замечает,
Что слезы все льют из очей:

Иная с ресницы сорвется
И на снег с размаху падет —

До самой земли доберется,
Глубокую яму прожжет;
Другую на дерево кинет,
На плашку, — и, смотришь, она
Жемчужиной крупной застынет —
Бела, и кругла, и плотна.

А та на глазу поблистает,
Стрелой по щеке побежит,
И солнышко в ней поиграет...
Управиться Дарья спешит,
Знай рубит — не чувствует
стужи,
Не слышит, что ноги знобит,
И, полная мысли о муже,
Зовет его, с ним говорит...

Окончив привычное дело,
На дровни поклада дрова,
За вожжи взялась и хотела
Пуститься в дорогу вдова.

Да вновь пораздумала, стоя,
Топор машинально взяла
И тихо, прерывисто воя,
К высокой сосне подошла.

Едва ее ноги держали,
Душа истомилась тоской,
Настало затишье печали —
Невольный и страшный покой!

Стоит под сосной чуть живая,
Без думы, без стона, без слез.
В лесу тишина гробовая —
День светел, крепчает мороз.

Не ветер бушует над бором,
Не с гор побежали ручьи, —
Мороз-воевода дозором
Обходит владенья свои.

Глядит — хорошо ли мятели
Лесные тропы занесли,
И нет ли где трещины, щели,
И нет ли где голой земли?

Пушисты ли сосен вершины,
Красив ли узор на дубах?

И крепко ли скованы льдины
В великих и малых водах?

Идет—по деревьям шагает,
Трещит по замерзлой воде,
И яркое солнце играет
В косматой его бороде.

Дорога везде чародею.
Чу! ближе подходит, седой,
И вдруг очутился над нею,
Над самой ее головой!

Забравшись на сосну большую,
По веточкам палицей бьет,
И сам про себя удалую,
Хвастливую песню поет:

„Вглядись, молодица, смелее,
Каков воевода Мороз!
Навряд тебе парня сильнее
И краше видать привелось!

„Мятели, снега и туманы
Покорны морозу всегда:
Пойду на моря-окияны—
Построю дворцы изо льда,

„Задумаю—реки большие
Надолго упрячу под гнет,
Построю мосты ледяные,
Каких не построит народ.

„Где быстрые, шумные воды
Недавно свободно текли,—
Сегодня прошли пешеходы,
Обозы с товаром прошли.

„Люблю я в глубоких могилах
Покойников в иней рядить,
И кровь вымораживать в жилах,
И мозг в голове леденить.

„На горе недоброму вору,
На страх седоку и коню,
Люблю я в вечернюю пору
Затеять в лесу трескотню.

„Бабенки, пеняя на леших,
Домой удирают скорей,
А пьяных—и конных, и пеших—
Дурачить еще веселей.

„Без мелу всю выбелю рожу,
А нос запылает огнем,
И бороду так приморожу
К возжам—хоть руbi топором!

„Богат я, казны не считаю,
А все не скучеет добро;
Я царство мое убираю
В алмазы, жемчуг, серебро.

„Войди в мое царство со мною
И будь ты царицею в нем!
Поцарствуем славно зимою,
А летом глубоко уснем.

„Войди! Приголублю, согрею,
Дворец отведу голубой!“
И стал воевода над нею
Махать ледяной булавой.

„Тепло ли тебе, молодица?“
С высокой сосны ей кричит.
— Тепло! отвечает вдовица —
Сама холдеет, дрожит.

Морозко спустился пониже,
Опять помахал булавой
И шепчет ей ласковей,тише:
„Тепло ли?..“—Тепло, золотой!—

Тепло—а сама кочнеет.
Морозко коснулся ее:
В лицо ей дыханием веет
И иглы колючие сеет
С седой бороды на нее.

И вот перед ней опустился,
„Тепло ли?“ промолвил опять
И в Проклушки вдруг обратился
И стал он ее целовать.

В уста ее, в очи и в плечи
Седой чародей целовал
И те же ей сладкие речи,
Что милый о свадьбе шептал.

И так-то ли любо ей было
Внимать его сладким речам,
Что Дарьюшка счи закрыла,
Топор уронила к ногам.

Улыбка у горькой вдовицы
Играет на бледных губах,
Пушисты и белы ресницы,
Морозные иглы в бровях...

В сверкающий иней одета,
Стоит, холодаеет она,
И снится ей жаркое лето:
Не вся еще рожь свезена,

Но ската, — полегче им стало!
Возили снопы мужики,
А Дарья картофель копала
С соседних полос у реки.

Свекровь ее тут же, старушка,
Трудилась; на полном мешке
Красивая Маша, резвушка,
Сидела с морковкой в руке.

Телега, скрипя, подъезжает —
Савраска глядит на своих,
И Проклушкина крупно шагает
За возом снопов золотых.

— Бог помочь! А где же Гри-
шуха?

Отец мимоходом сказал.

„В горохах“, сказала старуха.
— Гришуха! отец закричал,

На небо взглянул. — Чай, не
рано?

Испить бы...Хозяйка встает
И Проклу из белого жбана
Напиться кваску подает.

Гришуха меж тем отзывался:
Горохом опутан кругом,
Проворный мальчуга казался
Бегущим зеленым кустом.

— Бежит!.. у!.. бежит, по-
стреленок,
Горит под ногами трава! —
Гришуха черён, как галченок,
Бела лишь одна голова.

Крича, подбегает вприсядку
(На шее горох хомутом).
Попотчевал бабушку, матку,
Сестренку — вертится вьюном!

От матери младенцу ласка.
Отец мальчугана щипнул;
Меж тем не дремал и савраска:
Он шею тянул да тянул;

Добрался — оскаливши зубы,
Горох аппетитно жует,
И в мягкие добрые губы
Гришухино ухо берет...

Машутка отцу закричала:
— Возьми меня, тятька, с собой!
Спряталася с мешка и — упал.
Отец ее поднял: „Не вой!

„Убилась — неважное дело!..
Девчонок не надоно мне,
Еще вот такого пострела
Рожай мне, хозяйка, к весне!

„Смотри же!..“ Жена застыдилась:
— Довольно с тебя одного!
(А знала — под сердцем уж би-
лось
Дитя)... „Ну, Машук, ничего!“

И Проклушкина, став на телегу,
Машутку с собой посадил.
Вскочил и Гришуха с разбегу,
И с грохотом воз покатил.

Воробушков стая слетела
С снопов, над телегой взвилась...
И Дарьюшка долго смотрела,
От солнца рукой заслонясь,

Как дети с отцом приближались
К дымящейся риге своей,
И ей из снопов улыбались
Румяные лица детей...

Чу, песня! знакомые звуки!
Хорош голосок у певца...
Последние признаки муки
У Дарьи исчезли с лица, —

Душой улетая за песней,
Она отдалася ей вполне...
Нет в мире той песни прелестней,
Которую слышим во сне!

О чём она — бог её знает! —
Я слов уловить не умел.
Но сердце она утоляет,
В ней дольнего счастья предел.
В ней кроткая ласка участья,
Обеты любви без конца...
Улыбка довольства и счастья
У Дарьи не сходит с лица.

Какой бы ценой ни досталось
Забвенье крестьянке моей,
Что нужды? Она улыбалась.
Жалеть мы не будем о ней.
Нет глубже, нет слаще покоя,
Какой посыпает нам лес,
Недвижно, бестрепетно стоя
Под холодом зимних небес.
Нигде так глубоко и вольно
Не дышит усталая грудь,

1863 — 64.

1. Какими чертами Некрасов обрисовал крестьянскую женщину в начале стихотворения? К какому слову трудового крестьянства можно ее отнести? Сравните с ней Дарью.

2. Соберите картины трудовой жизни.

3. Как отнеслась Дарья к смерти мужа? Отметьте все места, говорящие о глубине и силе ее чувств.

1. В каких образах представлен Некрасовым Мороз?
2. Чем этот образ является для поэта и для Дарьи?
3. Сопоставьте образ Мороза в народной сказке и у Некрасова.
4. Иллюстрируйте отдельные моменты стихотворения.

Другое окончание стих. „МОРОЗ — КРАСНЫЙ НОС“ *).

Задумав правдивую повесть
Без всяких эффектных затей,
Я взять не решалось на совесть
Погибель крестьянки моей.

Она не погибла! Лукавый
Хотел погубить — да не мог
Служивший семейству со сла-
вой,
Савраска и тут ей помог.

Покамест тот сон чудотвор-
ный
Над бедной вдовицей витал,
Савраску Морозко проворный
За длинные уши щипал;

С соседнего дерева бросил
Горсть инея в очи коню
И хвост уж ему приморозил
К какому-то старому пню.

*.) Это окончание должно было следовать в главе — „Машутка отцу закричала“ после слов: — „Румяные лица детей“. Поэт сам зачеркнул его.

Савраска стоял терпеливо,
Лишь вздрагивал сильно порой
Да яму копал молчаливо
Ногами — то той, то другой.

Но стало стоять ему скучно;
Савраска ушами тряхнул
И трижды раскатисто звучно
Заржал — и дровнишки рванул.

Коснулось знакомое ржанье
До слуха крестьянки моей,
И быстро проснулось сознанье,
Глядит: ни коня, ни дровней.

„Пррууу... дура!..“ Испуг
чрезвычайный
Проворство ногам воротил:
Бежит по дороге случайной,
Что конь, убежав, проложил.

(21 августа 1864 года
на пароходе от Нижнего).

Какое окончание Вам больше нравится и почему?
Почему Некрасов отказался от этого окончания?

Настигла, дрова подобрала
(Порядком нагрелась меж тем)
И скоро детей увидала
И печь затопила, — и всем

Сварила похлебки и каши,
Всю выскребла избу свою;
Искала в головке у Маши
И пела ей — „баю-баю“.

И тайной на веки осталось,
Что делала в роще она;
Лишь Дарьюшка после боя-
лась

В лесу оставаться одна.

Но долго румянец багровый
Вдове позабыть не давал,
Как жарко Морозко суворый
Ее под сосной целовал...

М у ж и к.

(Вопросы перед чтением рассказа).

Что вы знаете об империалистической войне? Сколько лет она длилась? Как велики были армии? Какие возрасты забирали в солдаты? Как отражалась война на деревне? С какими думами, заботами, привычками шел крестьянин на войну?

Начались дни тяжких переходов. Утром не знали, где будут в обед и где ночь сночуют. Города, люди, небо, полки, роты, перелески, обозы, мосты, пыль, храмы, выстрелы, орудия (или, как говорили солдаты, урудия), костры, крик, кровь, острый запах пота — все тучей взметнулось и давило мозг и казалось сном.

Голодали порой. Порой наедались до дурноты. Пили воду прямо из ручьев; хороши они здесь, — ручьи-то, — светлые, как слезочки: с устатку пьешь не напьешься.

Сражались мало, все больше ходили.

Солдаты к вечеру угрюмели от усталости, — искали, на ком бы сорвать злобу.

— Попадись теперь австрияк, зубом бы заел!

Впрочем, это так, больше от истомы походной.

К утру отдохнут, подбреют, и опять шутки, смех, — на бронзовых лицах зубы словно огоньки мелькают.

— Пильщиков, а ну, расскажи, какой ты сон нынче видел?

И все, сколько их есть вокруг, — вся полурота, — все посмотрели улыбавшись на Пильщика. А тот возился у костра — эдакий здоровый, в зеленой рубашке без пояса, ворот расстегнут. Возьмет сук, в руку толщиной — р-раз! — и сломает о колено и в огонь: нет ему больше удовольствия, как костры разводить.

— Ныне, братцы, я в Шиханах был.

— Будто по своему двору с сыном ходил. А он на меня смотрит этак бочком, глаз-то у него синий да большой такой... К чему бы это?

Пильщиков помолчал и, сделав свирепое лицо, дунул в костер, — искры столбом полетели.

— Беспременно, опять получишь крест, — сказал насмешливо кто-то.

— Не. Такие сны я часто вижу. А когда крест получить, я будто женился...

— Хо-хо-хо! Вот он... От живой-то жены, да спать женился?

— Ей-Богу. Я и сам удивился. „Я, говорю, женатый уж“. А мне говорят: „Не, ты еще раз женись. Одна жена хороша, а две в беспример лучше“. „Не водится, говорю, у нас так. Мне и одной довольно. Я человек рассейский, не татарин какой“. Упираюсь так... А они все свое. Так и женили. Утром проснулся — сам смеюсь, думаю, к чему бы это. А потом вдруг ротный бумагу: Пильщикову крест. А, будь ты неладна. Так оно все занято.

Солдаты зубоскалят. И ни усталости, ни злобы..

А труба уже сбор играет:

— Готовься!

И опять поход, новые места, опять дороги, города, орудия, пыль, крики, выстрелы — усталость.

А Пильщиков... ему что, кряжу, делается. Он этакий ровный всегда, хозяйственный, ходит, пытливо посматривая по сторонам на рощицы, на сады, на домики, и нет, нет да свое любимое словцо протянет:

— Заня-ятно...

Протянет вслух, ни к кому не обращаясь.

Или вдруг заговорит о том, что на душе у него и нимало не заботясь, слушают его или нет.

— И вот, братцы, чуда какая. Гляди, — и церкви наши, и народ по обличию наш, только говорят, как в рот каши набрали — не поймешь сразу. Особливо церкви. Намедни я зашел в одну, все крестятся по нашему, иконы наши, бог Салавоф в кунполе нарисован — наш — этакий же седой да бородатый. „Иже херувима“ и та наша. А вот воюем... Чудно!

И умолкал. Серыми, пытливыми глазами смотрел кругом, задумывался, круто заквашенный, неповоротливый.

— Заня-ято!

* * *

Раз отряд шел целый день, преследуя уходящего врага.

Враг или, как говорят солдаты, „он“, был где-то рядом. Еще не успевали дотлеть костры, зажженные им; еще четко виднелись в дорожной пыли следы кованых сапог, и чудилось порой, что в воздухе носится запах гари и пота, оставленный австрийцами.

— Вот — вот „он“.

К вечеру стало известно, что „он“ остановился, может быть, готовый завтра дать бой.

И, как вода в запруде, стали собираться роты и полки, и стеною растекаться по фронту.

Рота, где был Пильщиков, расположилась подле леска, огороженного деревянным забором с каменными белыми столбами. В стороне была чистенькая изба с высоким коньком — там поместился сам ротный. Усталые солдаты, радуясь отдохну, живо притащили соломы, сучьев из леса, на разжигу ломали забор, — зажгли огни. Где-то недалеко, вот будто за этим лесом, слышались выстрелы, но они были привычны, как писк комара для лесника, и никто не думал о них.

Пильщиков разогревал в котелке кашу.

В темнеющем молчаливом воздухе потянуло дымом, и четко слышался треск сучьев в рощице, куда солдаты ходили за дровами.

Над дальним лесом догорала зеленоватая заря, и небо было темно-бирюзовое, и на нем уже загорались робкие звезды. Только солдаты поужинали, вдруг из избы толстосуи фельдфебель, тот самый, которого все в полку втихомолку звали сазаном.

— Ребята, кто нынче в разведку?

Так и обомлели все:

— Вот тебе и отдых. Это после таких то переходов идти в разведку? Избави, господи! Ноги же у всех подламываются.

Притаились все, съежились, и сразу угас смех.

Но понимают: надо же кому-нибудь идти.

И от этого сознания сердитый мороз побежал по коже.

А фельдфебель уже идет от одного костра к другому и все спрашивает:

— Ребята, кто в разведку?

— Вот Пильщиков, ему надо идти! — сказал кто-то, усмехаясь.

— Пильщиков? — переспросил фельдфебель: — а ну, где ты, Пильщиков?

— Пильщикову, Пильщикову надо идти! — загадели солдаты.

Обрадовались, что нашлось, на кого свалить.

Ну, что же, теперь хочешь — не хочешь, надо идти.

— Пильщиков, где ты?

— Вот я.

— Ты идешь?

— Так точно...

— Ну, собирайся живо.

И часу не прошло, — Пильщиков вышел за лесок, прошагал с полверсты полем за сторожевую цепь и попер в тьму, дальше.

Где то вправо есть бугор, невидимый теперь во тьме, и ротный приказал узнать, занимает ли его неприятель или нет

* * *

Пильщиков не спеша отошел шагов триста от цепи и лег в траву около плетня, от которого пахло гнилью и дневным жаром. Смутно было у него в душе, — разобраться надо. Ночь уже наползла настоящая — все закрыла черным мягким одеялом.

Лесок остался позади и тревожно в нем гугукали незнакомые ночные птицы — не то совы, не то сарычи, перепуганные, должно быть, кострами и многолюдством.

Вправо где то далеко стреляли. Там стояло зарево, красноватое, шапкой — пожар. Пильщиков потянул носом, — пахло землею и травою, — знакомый запах: будто в ночное выехал, в родных Шиханах.

А впереди, вон там, за дальними холмами бродили последние отсветы вечерней зари, там тихо и темно было. Там „они“. Может быть далеко, а может быть, здесь вот, рядом, лежит вот также, как Пильщиков, ждет встречи, готовый убить, притаившийся, злой.

— Смотри, если встретишься с ним, маху не давай! — наказывал ротный, — дашь маху и сам пропадешь, и нам плохо придется.

А Никифор Пильщиков и сам знает: маху давать нельзя, или убей, или тебя убьют.

Где то в стороне гукнула сова. И тьма будто гуще стала. А сердце стучало тяжко: дун, дун, дун...

Почти не дыша, пошел Пильщиков дальше. Вот плетень кончился, началась широкая дорога, и за дорогой хлеб стеною стоял. Помял Пильщиков пальцами колос:

— Пшеница.

Только в нее шагнул, а она как зашумит сердито, словно живая: „Не топчи меня“. Аж, страшно стало. Да и жалко: хлеб на корню мять — нет дела злее.

— Межой пойду, — решил Пильщиков и взял по дороге влево.

* * *

Ротный велел считать шаги. Пильщиков попробовал считать, но как дошел до семидесяти, так и сбился. То ли оно дальше восемьдесят, то ли девяносто... Да нельзя зараз и шаги считать и неприятеля выслеживать и думать о нем. Шел просто, пригибаясь, слушая. Искал межу. Вдруг дорога пошла скатом в ложок, а по самому краю ложка тут и межа. Снизу потянуло сыростью, и трава здесь была мокрая от росы.

От сырости ли или от какой другой причины, только вдруг дрожь захватила Пильщика, по спине побежали колючие мураски, а зубы ляскнули. И сердце сжалось, словно на него положили кусок льда. Пильщиков нутром почувствовал, что он теперь один. В целом мире один. Один перед этим небом, усеянным звездами, перед этой тьмой. Убьют его и никто об этом не узнает.

Страх поднял волосы на его затылке.

Тьма сразу стала жуткой, будто она была полна злых врагов, каждую минуту готовых броситься, растерзать.

В один момент Пильщиков обессилел.

С размаха, как подломленный, он сел в траву. А кругом было тихо и тьма лежала неподвижно. В лесу все кричали птицы и вдали стояло зарево — пожар. Успокоившись немного, Пильщиков стал на одно колено, снял картуз, начал слушать. Откуда то издалека шел смутный гул.

Пильщиков прилег ухом к земле.

Старая мужичья привычка.

Бывало, едешь один ночью, послушаешь землю, — сразу узнаешь, есть ли люди на дороге, далеко ли едут и сколько их...

Теперь земля гудела ровно и глухо.

Он долго слушал ее и вдруг ему почудилось, что где-то вдалеке раздался вздох, похожий на заглушенный стон:

— У... У... У!..

Пильщиков встрепенулся и сильно прижался к земле.

Болтали солдаты, что земля каждую ночь плачет.

Уж давно ему хотелось послушать ее плач, но все не доводилось. И вот теперь, затаив дыхание, он слушал эти странные стоны. Что это было? Может быть, это был гул далекой канонады... Он не мог решить. Он просто верил, что земля на самом деле плачет. Да и как ей не плакать? Ведь в каждый бой тысячами гибнет крестьянский люд. Земля — всем им родная... Каждого жалко...

— У... У... У!..

— Да, плачет.

Пильщиков привстал.

— Плачет матушка. Плачет землица.

Любовно он глянул во тьму, растроганный. Здесь она, земля то. Не один он... Чего бояться? Вот кто его пожалеет. Вот кто с ним родной. Земля.

Он посмелел. Показалось, — родное все кругом, как в Шиханах. И земля, и запах травы, и звезды на небе.

Сердце так забилось, что Пильщиков захотел придержать его рукой и... наткнулся на серую шинель, на пуговицы и на маленький крестик Георгия, с которым он не расставался никогда с того самого дня, как получил его.

И смяк как то. Лицо ротного выплыло из тьмы.

— Узнай, есть они на холме или нет.

И опять тьма стала злой, и опять Никифору показалось, что он одинокий и беспомощный. Он затаил дыхание и сжался и, помня приказ ротного, полез дальше. Страх капля за каплей опять начал падать в душу. Сжимая обеими руками винтовку, он пошел по меже, вниз, в лог, чтобы оттуда пробраться к холму. Он теперь знал, где наши и где враги. Пугало только, что тихо кругом. Так тихо, что слышно, как сердце стучит. А сапоги гремят, и трава шумит сердито. От усталости и напряжения в глазах у него порой вспыхивали золотистые искры.

Вдруг странный звук поразил его слух. Будто машина пыхтела где то далеко. Пильщиков остановился и стал слушать. Звук повторялся через ровные промежутки. В нем было что то знакомое. Даже родное для Никифора, а что, он не мог понять. Вслушиваясь, он осторожно полез дальше. Звук становился слышнее. Вот где-то здесь он начинается, будто в этой траве, растущей на склоне холма...

— Что такое? — думал Пильщиков, напряженно вслушиваясь.

Будто вот — вот знакомое, а не узнаешь...

И вдруг он присел от ужаса:

— Батюшки, да ведь это храпит кто-то!

Все внутри у него метнулось.

Бежать!

Но сдержался. Замер. Весь напрягся, слушая. Да, теперь ясно: храпит кто-то. Здорово так храпит, настоящим мужичьим храпом. Пильщиков, как зверь, весь насторожился, пригнулся и полез туда, откуда слышался храп. Ступнет раз и остановится. Ступнет другой и остановится. Крался и весь дрожал. Всякий момент он готов был и выстрелить и ударить штыком. Руки клещами вцепились в винтовку.

Нечто забелелось в темноте, и оттуда густо, трубой валил храп. Настоящий такой, вкусный, от которого самому спать хочется.

Пильщиков осмелел. Он уже прямо шел к спящему.

Вот „он“. Весь тут. Вот-вот... Руки разбросал, голова запрокинулась. Но кто? Может быть, наш, русский? Пильщиков потянул носом незнакомый запах:

— Австрияк. Наши так не пахнут.

Он присел и стал щупать кругом.

Винтовка и ранец из кожи лежали сбоку. На винтовке штык — нож. Поблескивает в темноте. Пильщиков потянул винтовку к себе. Теперь враг был безоружен.

— Га. Спит. Заня-ятно!.. — подумал Пильщиков и пристально присмотрелся к спящему.

Здоровый австриец. Большемордый. Рот раскрыл, а в горле будто телега едет и тарахтит. И таким родным, страшно близким пахнуло на Пильщикова от этого храпа, что он заулыбался.

— Умаялся. Тоже, поди, достается.

Он минуту посидел возле спящего на корточках, не зная, что делать, послушал, затаив дыхание. Кроме храпа и далеких выстрелов, ничего не было слышно.

Потом не торопясь он надел на себя ранец и взял в правую руку винтовку австрийца, а в левую — свою винтовку и осторожно пошел назад довольный, хитренько улыбающийся...

А тот все хралел, хралел...

* * *

Ног под собой не чувствовал Никифор, когда шел к ротному. Эгэ!.. А может теперь другой крест дадут? Ведь это фокус — обокрасть австрийского часового.

Вот бы — и не улыбался, да рот уголками к ушам тянется. И все лицо блестит, как блин скромный.

— Видел?

— Так точно, ваше бродь. Видел. Тот бугор то, что вы мне показывали...

— Ну?

— Там на нем австрияк.

А у самого глазки хитренько поблескивают. Рассказал он все по порядку, как крался, как кричала сова, в каком месте встретил врага.

— Вот винтовку и ранец забрал.

Ротный взял винтовку, осмотрел со всех сторон. Исправна, заряжена.

— Молодец. А в ранце то смотрел, что там есть?

— Никак нет. Не спопашился.

Расстегнули ранец. — белье, еда; книжка какая-то...

— Та-ак, — протянул ротный. — А самого то австрийца нельзя было живьем привести?

— Никак нет. Голоса недалеко были слышны. Сумно, а слышны. Ежели бы я его разбудил да повел, он закричал бы.

— Так, это, положим, верно. Ты хорошо сообразил. Молодец.

— Рад стараться, ваше бродь.

— А чем же ты его?

— Ась?

— Опять ты ась говоришь, — поморщился офицер, — я спрашиваю, чем ты его, врага то, прикончил?

— Вот ранец и винтовку взял у него.

— Ну да, это так. А с самим то с ним, что ты сделал?

— А он там остался.

— Я знаю, что там остался. Но чем ты убил то его?

Пильщиков широко открытыми удивленными глазами посмотрел на офицера. Высокий, рябоватый, кряж настоящий. И счастливое сияние на лице померкло. А рот чуть открылся.

— Ты же убил его?

— Никак нет.

— Как так? Ты его не тронул?!

— Да он же спал, ваше бродь.

— Ну так что же, что спал, черт тебя побери! — вдруг закричал офицер, поднимаясь со стула. — Ты должен был убить его. Раз нельзя взять в плен, надо убить. Он кто тебе? Брат родной? Или отец твой?..

— Никак нет.

— Кто же он тебе? Враг?

— Так точно.

— Так почему же ты его не убил?

— Да я же говорю... Он же спал, ваше бродь.

Офицер злыми потемневшими глазами посмотрел на Никифора.

— Ну, видали такого болвана? А? Я тебя под суд, негодяя, отдам.

Офицер протянул со стола бумажку, подержал ее, швырнул. Сам красный весь. И показалось Пильщикову, что офицер не все понял, — объяснить надо.

— Ваше благородие, встрияк то спал... хрепел... умаялся должно. Ежели б он не спал, я бы его в полон взял, альбо поранил. А то он спит и хрепит. Здорово так хрепит. Доведись вот мне. Иной раз так умаешься, ног не чуешь под собой. Бывало, ребята в казармах будят иной раз: „Никишка, не хрепи“.

Офицер пристально посмотрел на Пильщикова, а тот знай, ест его глазами.

По уставу, как нужно.

Сероглазый, кряж. Такой на вид исполнительный, а на груди белеет Георгий. И вдруг поползла, поползла улыбка по губам офицера. Будто и не хочет, а смеется.

— Ах, ты урод этакий! Балда! Какой ты воин? Ты мужик. Пшел вон...

Повернулся Пильщиков налево кругом, вышел, полный недоумения. И, отойдя от избы, сказал вслух, по привычке, ни к кому не обращаясь:

— Главное дело, спал он. И при том же храл...

1922.

А. Яковлев.

1. Озаглавьте части рассказа (план).
2. Соберите черты, рисующие походную жизнь.
3. Почему солдаты любили подшучивать над Пильщиковым?
4. Какое любимое словечко у Пильщикова? (О чём его мысли, сны?)
5. Из чего видна „хозяйственность“ Пильщикова?
6. Почему солдаты „свалили“ на Пильщикова ночную разведку?
7. Разберитесь в переживаниях Пильщикова во время разведки и графически представьте перебои его настроений, подъем и упадок духа.

8. В чём сказался „мужик“ во время ночной разведки (что придало Пильщикову силы и бодрости, помогло побороть его страхи, почему он не убил австрийца)?

9. Обратите внимание на олицетворения нивы и особенно земли и объясните их в связи с психологией Пильщикова.

10. Выберите в рассказе другие поэтические олицетворения и сравнения.

11. Почему солдаты называли орудия „урудиями“? Отметьте народные словечки и выражения.

12. Какими словами обозначено время во второй фразе рассказа? Какое слово употреблено в переносном значении? Как совершился этот перенос?

13. „Ночь сночуют“ — в чём особенность этого выражения? Не знаете ли других подобных?

14. „Острый запах пота“... Замените слово „острый“ каким-нибудь другим, подходящим по смыслу. Придумайте фразы, где слово „острый“ употреблялось бы в разных значениях, и разберитесь в переливах этих значений.

15. Сравните выражения из рассказа:... „на бронзовых лицах зубы словно огоньки мелькают“ и „солдаты зубоскалят“ — по их смыслу и образности. Где образ ярче? Почему?

Рядовой.

От нив родных его отняли,
Где он трудился словно вол.

„Возьми ружье“ — ему сказали.
„Пойди убей“ — и он пошел.

И там на бранном поле встретил
Таких же пахнувших землей.
Спросил: зачем? Но не ответил
Ему угрюмый рядовой.

Все быстро двинулись толпою,
Взводя послушные курки;
Окоп... и брызнувшей струею
Уже окрашены штыки.

А он, земли покорный данник,
С глубокой раною в груди,
Он, пули мстительной избранник,
Лежит далеко позади.
И взор его полуоткрытый
Так неподвижен, жутко-нем,
И в нем все тот же не забытый
Вопрос таинственный: „зачем“?

Илья Ионов.

- 1) Определите классовое происхождение рядового. — Выделите в стихотворении выражения, говорящие об этом.
 - 2) Чего не мог понять рядовой в империалистической войне?
 - 3) Сравните его с Пильщиковым из рассказа Яковлева „Мужик“.
-

Вольга и Микула.

Когда воссияло солнце красное
На это небушко на ясное,
Тогда зарождался молодой Вольга,
Молодой Вольга Святославович.
Стал Вольга растеть-матереть;
Похотелся Вольге много мудрости:
Щукой-рыбою ходить ему в глубоких морях,
Птицей-соколом летать под облака,
Серым волком рыскать во чистых полях;
Уходили все рыбы во синие моря,
Улетали все птички за облака,
Убегали все звери в темны леса.
Стал Вольга растеть-матереть,
Избирать себе дружинушку хоробрую,
Тридцать молодцев без единого,
Сам ощё Вольга во тридцатых.
Жаловал его родный дядюшка,
Ласковый Владимир стольно-Киевский
Тремя городами со крестьянами:
Первым городом — Гурьевцом,
Другим городом — Ореховцем,
Третьим городом — Крестьяновцем.
Молодой Вольга Святославович
Со своей дружинушкой хороброю

Он поехал к городам за получкою ¹⁾.
Выехал в раздольице чисто поле,
Он услышал в чистом поле ратай:
Орет в поле ратай, понукивает,
Сошка у ратая поскрипывает,
Омешики по камешкам почеркивают ²⁾.
Ехал Вольга до ратая
День с утра он до вечера,
Со своей друдинушкой хороброей,
А не мог он до ратая доехати.
Ехал Вольга ошё другой день,
Другой день с утра до вечера,
А не мог он до ратая доехати.
Орет в поле ратай, понукивает,
Сошка у ратая поскрипывает,
Омешики по камешкам почеркивают.
Ехал Вольга ошё третий день,
Третий день с утра до пàбедья,
Наехал он в чистом поле ратая:
Орет в поле ратай, понукивает,
С края в край борозки пометывает;
В край он уедет, другого не видать;
Коренья, каменья вывертывает,
А великие то все каменья в борозду валит;
Кобылка у ратая соловая ³⁾,
Сошка у ратая кленовая,
Гужики ⁴⁾ у ратая шелковые.
Говорил Вольга таковы слова:
„Божья ти помочь, оратаюшко!
„Орать, да пахать, да крестьяновати,
„С края в край бороздки пометывать,
„Коренья, каменья вывертывать!“
Говорил оратай таковы слова:
— Поди-тко, Вольга Святославович,
— Со своей со друдинушкой хороброю,
— Мне-ка надобна Божья помочь крестьяновати!
— Далече-ль, Волга, едешь, куда путь держишь
— Со своей со друдинушкой хороброю? —

1) Получка — обычный в древней Руси княжеский обезд, так называемое „полюдье“, когда князь сам отправляется за сбором налогов, в отличие от „повозов“, когда к нему привозили дань-налоги.

2) Чертя северного Олонецкого края, где записана былина: пашня в губерниях северного района сплошь усеяна валунами, которые попадая под соху, „очеркивают“. Омешик, омех, — сошник, треугольник, кусок железа, насаженный на ножку сохи.

3) По рассказу другого певца, кобылку ратая звали: „Обнеси Голова“; соловый — масть, цвет.

4) Гужики, толстая веревка, в хомуте петля, в которую утверждается оглобля (обжа).

„Ай же ты, ратаю, ратаюшко!
„Еду к городам за получкою:
„Ко первому городу ко Гурчевцу,
„Ко другому ко городу к Ореховцу,
„Ко третьему городу ко Крестьяновцу“.

Говорил оратай таковы слова:

— Ай же, Вольга Святославович!
— А недавно я был в городе, третью-то дни,
— На своей кобылке соловоей,
— Увез я оттоль соли столько два меха,
— Два меха соли по сороку пуд.
— И живут-то мужики все разбойники,
— Оны просят гроши подорожных;
— А был я с шалыгой ¹⁾ подорожною,
— Платил им гроши подорожные:
— Который стоя стоит, тот и сидя сидит,
— А который сидя сидит, тот и лежа лежит,
— А кой лежа лежит, тот и век не стоит. —

Говорил Вольга таковы слова:

„Ай же, оратай, оратаюшко,
„Поедем со мною в товарищах!
„А ко славному городу ко Гурчевцу
„И к тым городам за получкою“.

Этот оратай-оратаюшко

Гужики шелковенки повыстенул,
Кобылку из сошки повывернул,
Снял он хомутики с кобылушки.
Сели на добрых коней, поехали.

Говорит оратай таковы слова:

— Ай же, Вольга Святославович!
— Оставил я сошку в бороздочке,
— И не гля-ради прохожего, проезжего,
— А гля-ради мужика деревенщины.
— Сколнут ²⁾ омешики булатни,
— А не чим мне буде крестьяновати.
— Как бы сошка с земельки повыдернути,
— Из омешиков земелька повытряхнути
— И бросить бы сошку за ракитов куст? —

Молодой Вольга Святославович

Посыпает он с дружинушки хоробрый
Пять молодцев могучих,
Чтобы сошку с земельки повыдернули,
Из омешиков земельку повытряхнули,
Бросили бы сошку за ракитов куст.
Эта дружинушка хоробрая,

¹⁾ Шалыга — то-же, что и шелепуга, плеть с обвязаной пулей, кистень.

²⁾ Сколнут — снимут.

Пять молодцев могучих,
Приехали к сошке кленовые:
Оны сошку за обжи ¹⁾ вокруг вертят,
А не могут сошки с земельки повыдернуть,
Из омешиков земельки повытряхнуть,
Бросить сошки за ракитов куст.
Молодой Вольга Святославович
Посыает он целым десятком,
Чтобы сошку с земельки повыдернули,
Из омешиков земельку повытряхнули,
Бросили бы сошку за ракитов куст.
Оны сошку за обжи вокруг вертят:
Сошки от земли поднять нельзя
Не могут из омешиков земельки повытряхнуть,
Бросить сошки за ракитов куст.
Посыпал он всю друдинушку хоробрую:
Оны сошку за обжи вокруг вертят,
А не могут сошки с земельки повыдернути,
Из омешиков земельки повытряхнути,
Бросить сошки за ракитов куст.
Говорил оратай-оратаюшко:
— Ай же, Вольга Святославович!
— То немудрая друдинушка хоробрая.—
Подъехал оратай-оратаюшко
На своей кобылке соловенькой
Ко этой ко сошке кленовоей:
Брал-то он сошку одной рукой,
Сошку с земельки повыдернул,
Из омешиков земельку повытряхнул,
Бросил сошку за ракитов куст.
Сели на добрых коней, поехали.
Оратая кобылка-то рысью идет,
А Вольгин-от конь и поскакивает;
У оратая кобылка-то грудью пошла,
А Вольгин-от конь остается.
Стал Вольга тут покрикивать,
Колпаком Вольга стал помахивать:
„Постой-ка ты, ратай-ратаюшко!
Этая кобылка коньком бы была,—
„За эту кобылку пятьсот бы дали“.
Говорил оратай таковы слова:
— Глупый Вольга Святославович!
— Взял я кобылку жеребчиком спод матушки
— И заплатил за кобылку пятьсот рублей:
— Этая кобылка коньком бы была,—
— За эту кобылку сметы бы нет.—

¹⁾ Обжа — оглобля у сохи.

Говорил Вольга Святославович:

„Ай же ты, ратаю-ратаюшко!

„Как-то тебя именем зовут,

„Как звеличают по отечеству?“

Говорил оратай таковы слова:

— Ай же, Вольга Святославович!

— А я ржи напашу, да во скирды сложу,

— Во скирды складу, домой выволочу,

— Домой выволочу, да дома вымолочу,

— Драни надеру, да и пива наварю,

— Пива наварю, да и мужичков напою.

— Станут мужики меня покликивать:

— „Молодой Микулушка Селянинович“.

- 1) Представителями каких классов являются Вольга и Микула?
- 2) Какими качествами одарен Вольга? Куда и зачем отправляется он со своею дружиной?
- 3) Как обрисован Микула (его пахота, конь, соха)?
- 4) На чьей стороне сочувствие (симпатии) былины? Из чего это видно?
- 5) Выделите образы былины, в преувеличенном виде (гиперболически) рисующие богатыря-пахаря и его коня.
- 6) Выписать эпитеты (прилагат. и существ.) и сравнить их с эпитетами в поэзии индивидуально-художественной.
- 7) Обратите внимание на употребление уменьшительных суффиксов (где их особенно много? их значение).
- 8) Отметьте старинные формы имен прилагательных, полногласие имен существительных, прилагательных, глаголов и, вообще, слова и обороты, не употребляющиеся в современной литературной речи.
- 9) Разберитесь в особенностях построения стихов 7, 8, 9 в начале былины. Укажите другие подобные же явления в этой былине.
- 10) Найдите повторения слов, предлогов, словосочетаний.
- 11) Как построены последние 7 стихов былины? Не найдете ли еще такого же построения в тексте былины?
- 12) Чем отличается стих былины от стихов Некрасова и других поэтов?

Пословицы.

Орать, так в дуду не играть.

Не от росы урожай, а от поту.

Орать пашню, копить квашню.

То не беда, что во ржи лебеда; а то две беды, коль ни ржи ни лебеды.

Рожь кормит всех, а пшеничка по выбору.

Где лишняя навоза колышка, там лишняя хлеба коврижка.

Держись сохи плотнее, так будет прибывнее.

Рожь говорит: сей меня в золу, да в пору; а овес говорит: топчи меня в грязь, а я буду князь.

Осень говорит: я поля хлебом уряжу, а весна говорит: еще я погляжу.

Не будь голенаста, а будь пузаста;
Не будь пустая, а будь тугая;
Не будь красна, а будь вкусна;
Не будь стара, а будь молода,
Не будь мала, а будь велика.

Приговаривают при
сажании капусты

Пушка и соха.

Увидевши соху, — „Послушай-ка, старушка“ —

Сказала пушка: —

— „Аль ты глуха?

Я тут гремлю весь день, а ты и не слыхала.

Ты что ж тут делала, — ха-ха!“

— „Пахала, — молвила соха, —

— Пахала“.

— „Пахала? Что ты! Не смеши.

Работать для кого? Ведь ни одной души

Не същется живой в разбитой деревушке,

Так что ж тебе теперь осталось? Отдыхать?!“

— „Пахать, — соха сказала пушке: —

— Пахать!..“

На ниве брошенной, среди камней и терний,

Не прорывая борозды,

Друзья, работайте от утренней звезды

И до вечерней!

Ваш мирный подвиг свят и нет его безмерней.

Под грохот пушечный, в бою, в огне, в аду,

Я думаю о вас, чей путь простерся в вечность.

Привет мой пахарям, борцам за человечность!

Привет мой мирному культурному труду!

Демьян Бедный.

II.

КРЕПОСТНАЯ
ДЕРЕВНЯ

Стенька Разин.

(Народные песни).

1.

Во граде то было во Астрахани,
Проявился детина, незнамой человек:
Он щеголем по городу похаживает.
Черный бархатный кафтан на размашечку надет,
Черна шляпа пуховая на его русых кудрях,
Свой персидский кушачек во правой руке несет.
Он боярам государевым не кланяется,
К астраханскому воеводе под суд нейдет.
Как увидел молодца воевода со крыльца,
Закричал он, воевода, громким голосом своим:
— „Ой, есть ли у меня слуги верны молодцы?“
„Вы сходите, приведите удалого молодца“.
Как поймали молодца во цареве кабаке,
Приводили удалого к воеводе на двор;
А как стал воевода его спрашивати:
— „Ты скажи, скажи, детина, незнамой человек!“
„Чьего рода, чьего племени, чей отеческий сын?“
„Иль из нашего города, из Астрахани,“
„Или со Дону казак, иль казацкий сын?“
— Я не с вашего городу, не с Астрахани,
Я не с Дону казак, не казацкий сын.
Я со Камы реки, Стеньки Разина сынок.
Взялся батюшка у вас завтра в гости побывать.
Ты умей его приняти, умей подчевати. —
Рассердился воевода на удалого молода,
Закричал тут воевода громким голосом своим:
— „Что есть ли у меня слуги верны молодцы?“
„Вы возьмите, отведите удалого молодца,“
„Посадите удалого в белокаменну тюрьму“.

2.

Как на утренней заре, вдоль по Каме по реке,
Вдоль по Каме по реке легка лодочка идет,
Во лодочки ровно двести молодцов,
Посреди лодки хозяин, Стенька Разин атаман.

Закричал тут атаман громким голосом своим:
„А мы счерпнемте воды изо Камы со реки“.
Мы исчерпнули воды изо Камы со реки,
Припечалился хозяин, Стенька Разин атаман;
„Знать-то знать, что мой сыночек во неволюшке сидит,
Во неволюшке сидит, в белокаменной тюрьме“.
— Не печалься, наш хозяин, Стенька Разин атаман:
Белокаменну тюрьму по кирпичику разберем,
Твоего милого сыночка из неволи уведем,
Астраханского воеводу под суд возьмем.

Записал А. С. Пушкин.

* * *

3.

Не рябинушка со березынкой совивается,
А не травонька с травонькой соплетается,
Как не мы-ли, добрые молодцы, совыкаемся,
Как леса-ли мои, лесочки, леса темные,
Вы кусты-ли мои, кусточки, кусточки таловые,
Вы станы-ли мои, станочки, вы станы мои темные,
И еще-ли вы, мои лесочки, все порубленые,
Все кусты мои, кусточки, все поломаные;
Все друзья мои, братцы-товарищи, переловленые,
По разным тюрьмам все посаженые,
Оставался один товарищ Стенька Разин сын.

* * *

(Народная песня).

Что светил-то, светил месяц во полуночи,
Светил в половину;
Что скакал-то, скакал один добрый молодец
Без верной дружины.
Что гнались-то, гнались за тем добрым молодцем.
Ветры полевые;
Что свистят-то, свистят в уши разудалому
Про его разбой.
Что горят-то, горят по всем по дороженькам
Костры сторожевые;
Что следят-ли, следят молодца-разбойничка
Царские разъезды;
Что суютят ему, суютят в Москве белокаменной
Каменны палаты,
Что и тे-ль палаты, — два столба точеные,
Столбы с перекладиной.

Про Стеньку Разина

(Из народных рассказов).

... „Пугачев с Ермаком были великие воители; а Стенька Разин и воитель был великий, а еретик, — так, пожалуй, и больше, чем воитель.

— Что ты?..

— Правда!

— А какое же было его еретичество?

— А вот какое. Бывало его засадят в острог. Хорошо. Приводят Стеньку в острог. — „Здорово, братцы!“ — крикнет он колодникам. — „Здравствуй, батюшка наш, Степан Тимофеевич!“... А его уже все знали... „Что здесь засиделись — на волю пора выбираться“... „Да как выберешься? — говорят колодники: сами собой не выберемся, разве твоими мудростями!“ — А моими мудростями, так пожалуй и моими!.. Полежит так маленько, отдохнет, встанет. — „Дай, скажет, уголь!“ — возьмет этот уголь, напишет тем углем на стене лодку, насажает в ту лодку колодников, плеснет водой: река разольется от острога до самой Волги; Стенька с молодцами грянут песни — да на Волгу!.. Ну и поминай как звали!..

— Так и убежит?

— Со всеми колодниками!

— А часовой солдат отвечай!..

— Эко дело!..

— Только господа под последок догадались, — продолжал казак: — будет Стенька просить испить — не давай воды, пой квасом!.. А Стеньке с квасом ничего не поделать... так и изловили!..

— Виши дело-то какое!..

(Записано П. Якушкиным. 1868 г.).

Припомните сходный эпизод в «Бежине луге».

Народное сказание про Тришку-Сибиряка.

Орел, 7-го апреля 1861 г.

Здесь рассказывают про многих разбойников; но замечательно, что народ про них вспоминает с сочувствием. Сироту, Дуброву, Тришку Сибиряка и других народ выставляет противостоявшими и — только; удалые их шутки все рассказать довольно трудно; только в них есть одно: это защита слабых от сильных, бедных от богатых, и в особенности господских крестьян от злых помещиков.

Тришке Сибиряку, который жил тому лет 20 — 25-ть назад, разбойничал в Орловской, Смоленской губернии, и не загубил ни одной христианской души, приписывают,

как последнему, все удальные штуки, о которых тот, может быть, и сам не слыхивал, которые сохранились в народе, как легенды.

Услыхало начальство, что Тришка Сибиряк разбойничает и приказало его поймать во чтобы то ни стало; кажется, как и не поймать: то в том месте покажется середи белого дня, то в другом, да еще и скажется: „Я, мол, Тришка Сибиряк!“ — А все изловить никак не могли!..

Узнал Тришка Сибиряк: в Смоленской губернии живет барин; у этого барина его мужикам житья не было, — всех в раззор разорил! Просыпал про того барина Тришка Сибиряк: „надо, думает, проучить хорошего барина, без науки тому барину жить — век дураком слыть; стало, надо его на ум навести, чтобы ему на тот народ нестыдно свои очи выставить!..“ — Посыпает ему Тришка письмо, а в письме было написано: „Ты барин, может, и имеешь душу, да анафемскую, а я, Тришка, пришел к тебе повернуть твою душу на путь — на истину. Ты своих мужиков в раззор-разорил, а я думаю теперь, как тех мужиков поправить. Думал я думал, и вот что выдумал: ты виноват, ты и в ответе будь. Ты обижал мужиков, ты их и вознагради; а потому прошу тебя честно: выдай мужикам на каждый двор по пятидесяти рублей (а тогда еще на ассигнации считалось); честно прошу, не введи ты меня, барин, во грех — рассчитайся по-божьи“.

Получил барин то письмо, — не то, что спокоиться, а выше в гору пошел: больше озлился, стал мужиков перебирать, стал допрашивать, — кто подметное письмо принес? А мужики про то дело и не ведали... Так тому письму барин не внял, веры письму не дал. Проходит сколько там время, барин прочитал еще письмо от Тришки: „ты моим словам не поверил; я не люблю этого; только вот что я скажу тебе: не в моем обычae за первую вину казнить; а по моему, за первую вину только научить надо; вот тебе какая выучка: не хотел ты мужикам дать по пятидесяти рублей, дай по сту; это тебе наука. Только мужиков трогать не моги: с живого кожу сниму; мужики в том невиноваты. Жду три дня“.

Прошло три дня — барин никому ни слова: денег жаль и за мужиков приниматься боится — со шкурой своей барской расстаться не хочется; хоть и недорого своя шкура ободлась, только эту снимут, — другой нескоро и наживешь. Стало, надо беречь пока эту...

Пока барин раздумывал, Тришка написал еще письмо: „Просил я тебя, барин, честию: мужикам помочь тысячью — ты не помог; просил тебя помочь двумя; ты мои слова ни во что не поставил. Теперь жди меня, Тришку, к себе в гости. А как тебе, барину, надо готовиться, как бы по-

лучше гостя принять, даю тебе сроку две недели — готовься. Только пироги, что в Туле печены, по нашему ружьями зовут — не надо, не готовь: я до них не охотник”

Получил барин это письмо, стал снаряжаться, как бы гостя непрошено принять так, чтобы самому не остаться не причем. Всех своих мужиков, всю дворню собрал, роздал всем ружья; послал и в город сказать: гостя, мол, жду.

К приему гостя было готовлено все как следует: с самого раннего утра все были на ногах; на барском дворе толкотня страшная, все с ружьями, просто ко двору приступу нет!. Перед ранним обедом пришли солдаты с офицером.

— Зачем пожаловали? спрашивает барин у офицера.

— Так и так, говорит офицер: наслышаны мы, что к вам нынче обещался приехать вор Тришка Сибиряк; так из города меня с моей командой и прислали к вам на подмогу.

— Очень благодарен, говорит барин: хоть я и не боюся Тришки, а всетаки народу больше — лучше. Милости просим с дорожки закусить чем бог послал, пойдемте ко мне в дом, а солдатушки ваши пусть здесь останутся, я им сюда велю вынести водки, закусить...

Пошел барин с офицером в дом, приказал сейчас подать закуску. Закусили, стали толковать о том о сем, барин и повеселел. Выпил еще. Офицер еще прибодрился: так и сыпет про войну, где он воевал, когда, как... да на речах-то вышел такой легкий...

— Уж как я вам благодарен, говорит барин: — как вам благодарен, и сказать нельзя! С вами я не только Тришки, а просто никого не боюся. Что мне Тришки бояться, скажите мне?

— Разумеется, говорит офицер: чего бояться Тришки!

Сказал этот офицер, посмотрел кругом: видит в комнате только они вдвоем с барином сидят, а больше никого нет.

— Коли вы, барин, говорит офицер: не боитесь Тришки, мне и подавно его бояться нечего!..

— Отчего же так? спросил барин.

— Оттого так, барин, что я тот самый и есть Тришка Сибиряк; так мне самому себя бояться не приходится.

Барин так и обомлел от великой робости.

— Слушай, сказал Тришка, а сам из кармана пистолет вынул: — слушай, просил я у тебя, барин, тысячу, не для себя просил, а для твоих же рабов — ты не дал; наказал тебя: просил две тысячи, ты и тут не восчувствовал! Теперь ты давай мне двадцать тысяч: две тысячи я отдаю твоим мужикам, а остальные, что там останется, на свою братию возьму: надо что нибудь и нам с твоей милости на водку получить. За такую науку как не взять!..

Барин стоит, только глазами хлопает: никак того дела в толк не возьмет...

— Полно, барин, глазами то хлопать, расчитаемся честно, да и бог с тобою и со всем; мне некогда, пора домой.

— У меня деньги, говорит барин, как опомнился: — в другой комнате; ты здесь погоди, я тебе сейчас все сполна принесу.

— Ох, барин! молодец барин: подростешь — плут будешь! думаешь надуть? Вас мало обманывают, а то еще он хочет обмануть!

— Да я, право... да я ей-богу, — забормотал барин.

— Ничего, барин, сочтемся! Ты ступай спереди, а я хоть сзади, только знай, пальцем кивнешь — в затылок пулью пущу. Ты делай свое дело, а я свое сделаю.

Барин пошел передом, а позади барина Тришка Сибиряк. Вышли за двери, а в другой комнате народу-то народу! Да все с ружьями!

Перешли еще в другую комнату — там никого нет... Отсчитал барин денежки, ровно двадцать тысяч, отсчитал, отдал Тришке, остальные завернул, и опять под замок.

— Видишь, я не в тебя, я слово держу: обещал быть у тебя в гостях — был; дал слово взять двадцать тысяч — взял двадцать, больше не беру; а хоть видишь сам, и все бы отнял, нечего делать, все своими руками бы отдал. Теперь проведи ты меня хоть за версту от деревни, а там и простишься.

Барин проводил сам, самолично Тришку с товарищами за ворота, а там еще версты полторы, да и раскланялся...

— Смотри-ж, на прощанье наказывает Тришка барину: смотри-ж, мужиков не обижать. Обидишь мужиков, может, и я грешный к тебе тогда в гости побываю!

С тех пор барин шелковый сделался! Что значит хорошая наука — много значит!

И много он учил их братию.

Записал П. Якушкин.

(Народная песня).

„Сиротка, ты сироточка, сиротинушка горькая,
Сиротинушка ты горькая, горемычная!

Запой-ка ты, Сиротка, с горя песенку!“ —

— „Хорошо вам, братцы, петь, — вы пообедали,

А я, Сирота, лег не ужинавши,

Лег не ужинавши, встал не завтракавши!

У меня-ли, у Сироты, нет ни хлеба, ни соли,

Нет ни хлеба ни соли, нет ни кислых щей;

Одна корочка засущенка, и та летошня!“ —

— „Ты скажи, скажи, Сирота, кто тебя воспородил?“ —

— „Воспородила меня, Сиротку, родна матушка;
Воспоила, воскормила меня, Волга матушка;
Воспитала меня легка лодочка ветляненька;
Возлелеяли меня няньки-мамки — волны быстрые;
Возrostила меня чужа дальна сторона Астраханская;
Я со этой со сторонушки на разбой пошел“.—
— „Ты скажи, скажи, Сиротка: с кем разбой держал?“—
— „Не один я разбой держал, — с тремя товарищами:
Первый мой товарищ — ночь темная;
Другой мой товарищ — конь добра лошадь;
Третий мой товарищ — стально ружье!“

Задания к повести Пушкина „Дубровский“.

1. Что типичного в Троекурове для барина — крепостника царско-помещичьего режима — в его отношениях к крепостным, к дворовым, к мелкопоместным соседям, к приказным служащим, к гостям своим?

Подкрепите ссылками на повесть, что Троекуров является продуктом эпохи крепостничества.

2. В чем выражалось разворачивающее влияние крепостного права как на самих помещиках, так и на крепостных? Приведите примеры из романа.

3. Выясните, что укрепило молодого Дубровского в решении выступить с борьбой против произвола, царившего в ту эпоху. Разберитесь в тех местах повести, где вскрываются отношения Дубровского к своим крепостным и их к нему: что сближало их между собою?

Проследите, в каких местах романа указана связь Дубровского с народной массой.

4. Против кого направлялось чувство мести крепостной массы: против ли отдельных, определенных лиц, или против всего общественного порядка? Докажите примерами из романа.

5. В какую форму вылилось недовольство масс?

Какое отношение вызывают к себе изображенные в романе разбойники и их предводитель — у помещиков-крепостников и у народных масс?

6. Сопоставьте „разбойников“ из нашего романа с героями разбойничих народных песен: в чем сходство в изображении тех и других и в чувствах, которые они вызывают к себе?

Что привлекало сочувствие масс к героям разбойничих песен как и к Дубровскому в нашем романе? Что искали в них массы?

7. Сопоставьте изображенных в романе разбойников и их предводителя со Степаном Разиным по народным песням о нем.

8. Сопоставьте их же с „Тришкой Сибиряком“ по народной сказке о нем.

9. Вскройте характер „разбоя“ как по роману, так и по народным разбойническим песням и сказкам.

1. Выделите фабулу романа и изложите ее. Выделите историю отношений старика Дубровского и Троекурова и изложите ее.

2. Дайте характеристику отдельных персонажей романа.

Чем замечательна фигура старика Дубровского? Сопоставьте его с лицами, скружающими Троекурова.

3. Сравните Троекурова с дедушкой Тургенева по рассказу о нем „Однодворца Овсянникова“.

4. Объясните, за что молодой Дубровский назван князем Верейским „романическим героем“; вскройте в нем эти черты.

К каким приемам прибегал Пушкин, чтобы выделить характерные черты действующих лиц:

1. Разберитесь в описании псаарни Троекурова: на какие мысли наводит это описание? Кого характеризует эпизод на псаарне?

2. Отыщите все места, когда Троекуров напевает свой марш: „Гром победы раздавайся“. О чем это всегда свидетельствует?

3. Объясните выражения: „с гордым смиренiem“ по отношению к Троекурову, делающему земной поклон в церкви.

4. Чем интересен эпизод с кошкой на пожаре: для кого он характерен и какую мысль повести подчеркивает?

5. Обратив внимание на сцену разговора Дубровского с кучером Антоном, везущим его со станции, сопоставьте конец этой сцены с концом однородной же сцены из стихотв. Майкова „Поля“. Внимайте в смысле этого художественного приема в обоих случаях.

6. В каких местах романа Пушкин прибегает к приему описаний? Отыщите эти места и сопоставьте этот прием у Пушкина с таким же приемом у Гоголя и Тургенева: в чем разница?

Какое место занимает в романе пейзаж? Сравните в этом отношении роман Пушкина с рассказами Тургенева.

Задания к „Капитанской дочке“

А. С. Пушкина.

1. Пугачев и его сподвижники в изображении Гринева (Пушкина). Освещены ли социальные корни Пугачевского движения? Отметьте все места, где сказалась классовая точка зрения повествования (обратите внимание на дополнение к XIII гл.).

2. Охарактеризуйте Пугачева, как человека и как организатора революционного движения крепостного народа.

3. Остановитесь на сценах, где встречаются произведения народной поэзии (гл. VIII и XI) и покажите их живую связь с переживаниями Пугачева и пугачевцев.

4. В помещичьей усадьбе Гриневых (отметьте характерные черты крепостной вотчины — усадьба, хозяйство, крепостные, охота, воспитание, чтение).

5. С какими понятиями, правилами, характером вступал в жизнь молодой Гринев? Объясните его первые шаги на свободе. Покажите, как зреет личность, складывается характер в жизненных невзгодах. Определите понятие о службе, долге и чести у Гринева, их классовую форму.

6. Роль Савельича в жизни П. А. Гринева. Охарактеризуйте Савельича (человек и „раб“; отношение его к господам, особенно к молодому Гриневу, к Пугачеву, Марии Ивановне и др; обращение с ним Гриневых молодого и старого).

7. Люди и нравы Белогорской крепости (семья капитана Миронова и др.).

8. Кто является рассказчиком этой повести (выделить те места, где ясно проступает его личность в оценках событий и лиц; черты классового мировоззрения и культуры определенной бытовой среды и эпохи; язык рассказчика)?

9. Почему повесть названа „Капитанская дочка“?

10. Как переплетается личная жизнь главных героев повести с историческими событиями? Установите план повествования и представьте графически изменения в судьбе героев.

11. Роль „заячьего тулупчика“ в „странных“ обстоятельствах жизни молодого Гринева.

12. Не может ли картина „бурана“ быть понята также и иносказательно? (Ср. сон Гринева).

13. Какое место занимает в повести пейзаж?

14. Какой смысл имеют надписания (эпиграфы) перед каждой главой?

15. Кто в разговоре употребляет поговорки, пословицы, загадки (выпишите их, объясните в данном применении)?

16. Укажите иностранные и русские слова и выражения, вышедшие теперь из употребления (архаизмы и варваризмы).

17. Сравните два выражения:

„Я увидел, что буря утихла“ (гл. II).

„Мало-по-малу буря утихла“ (гл. IV).

18. Как называются приемы иносказательной речи?

а) „Сердце мое горело“ и б) „Скоро вся изба захрапела“?

Найдите в тексте другие подобные же выражения и разберитесь в их иносказательности.

19. Уясните синтаксическую и смысловую конструкцию двух выражений:

„Пьяница потрясал государством“ и
„Все потрясало меня каким-то птическим ужасом“
(гл. VIII).

20. Сравните образы Гринева и молодого Багрова, Савельича и Евсеича („Детские годы Багрова внука“ С. Т. Аксакова).

Д е р е в н я .

Приветствуя тебя, пустынный уголок,
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья,
Где льется дней моих невидимый поток
На лоне счастья и забвенья!

Я твой: я променял порочный двор царей,
Роскошные пиры, забавы, заблужденья,
На мирный шум дубрав, на тишину полей,
На праздность вольную, подругу размышленья.

Я твой: люблю сей темный сад
С его прохладой и цветами,
Сей луг, уставленный душистыми скирдами,
Где светлые ручьи в кустарниках шумят.
Везде передо мной подвижные картины:
Здесь вижу двух озер лазурные равнины,
Где парус рыбаря белеет иногда,
За ними ряд холмов и нивы полосаты,

Вдали рассыпанные хаты,
На влажных берегах бродящие стада,
Овины дымные и мельницы крылаты, —
Везде следы довольства и труда... .

Но мысль ужасная здесь душу омрачает:
Среди цветущих нив и гор
Друг человечества печально замечает
Везде невежества губительный позор.

Не видя слез, не внемля стона,
На пагубу людей избранное судьбой,
Здесь барство дикое, без чувства, без закона,
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца.
Склоняясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
Здесь рабство тощее тащится по браздам
Неумолимого владельца.
Здесь тягостный ярем до гроба все влекут,
Надежд и склонностей в душе питать не смея;
Здесь девы юные цветут
Для прихоти развратного злодея.

Опора милая стареющих отцов—
Младые сыновья, товарищи трудов,
Из хижины родной идут собою множить
Дворовые толпы измученных рабов.
О, если б голос мой умел сердца тревожить!
Почто в груди моей горит бесплодный жар,
И не дан мне в удел витийства грозный дар?
Увижу ль я, друзья, народ неугнетенный
И рабство, падшее по манию царя,
И над отечеством свободы посвященной
Взойдет ли, наконец, прекрасная заря?

А. Пушкин.

1. Почему картина „довольства труда“ вызвала у поэта „мысль ужасную“?

2. Обрисуйте жизнь деревни в условиях крепостного права.

Задания к 6-й главе из „Мертвых Душ“ Гоголя.

Плюшкин.

1. Какой вид имела усадьба, в которую въехал Чичиков?

2. О чем свидетельствовали запустение, ветхость, разруха, — бросившиеся в глаза Чичикову при въезде в усадьбу Плюшкина?

3. Какой вид имел господский дом?

4. Почему с такой подобностью остановился Гоголь на описании сада?

5. Какое впечатление производит картина запустелого и заросшего сада по сравнению с картиной запустелой усадьбы?

Как объясните вы разницу в этих впечатлениях?

6. Попробуйте восстановить былую картину по сохранившимся следам в поместьчье усадьбе.

7. Кто был хозяин усадьбы, куда въехал Чичиков? О чем свидетельствовали наружность Плюшкина, его костюм и обстановка его комнаты?

8. Как дотянул Плюшкин до такого состояния?

Восстановите историю постепенного превращения Плюшкина в скрупа - скрягу.

Какие отдельные картины даны в описании Плюшкинской усадьбы?

1. Выделите описание деревни Плюшкина и соберите все черты характеризующие ее запустелость.

2. Выделите описание господского дома и сопоставьте с описанием деревни: как гармонируют эти картины?

3. Выделите описание комнаты в доме Плюшкина: на какие отдельные картины оно распадается?

Укажите характерные черты всей картины в общем описании комнаты Плюшкина.

Выделите план описания комнаты Плюшкина, отметив существенные признаки и указав порядок в расположении этих признаков в общем описании комнаты.

4. Выделите описание сада: соберите черты, характеризующие заброшенность его.

Как вы понимаете выражение, что сад «был живописен в своем картическом запустении»?

Как соединились в общей картине сада природа и искусство?

Найдите в описании сада указания на зрительные образы (сочетание свето-тени и природных красок). Выпишите соответствующие места из описания сада.

Какое общее впечатление от всей картины сада легло в основу описания его? Как выдерживается это общее впечатление в описании отдельных картин сада?

1. Опишите костюм Плюшкина, его фигуру и черты внешности: какие подробности даны Гоголем в описании внешности Плюшкина?

2. Какая главная черта характера Плюшкина выступает при первом же знакомстве читателя с этой фигурой?

3. Что интересного в той форме приветствия, в какой Чичиков обратился к Плюшкину?

4. Отметьте в сцене встречи Плюшкина с Чичиковым в эпизод с Прошкой и разговоре с Маврой все черты, характерные для Плюшкина, и по этим чертам нарисуйте образ Плюшкина.

5. Отметив некоторые проблески человеческого чувства, появлявшиеся у Плюшкина в отдельных моментах разговора с Чичиковым восстановите черты прежнего характера Плюшкина.

6. Что говорит о характере владельца вся обстановка, в которой он живет?

7. Какие черты натурального хозяйства помещика могут быть восстановлены по отдельным картинкам хозяйства Плюшкина?

8. Можно ли назвать Плюшкина помещиком эпохи натурального хозяйства?

9. Дайте общую характеристику Плюшкина, как помещика

1. Проследив за разговором Плюшкина с Чичиковым, Прошкой и Маврой, отметьте в речи его слова и выражения, характерные для него, как скряги и как крепостника - барина.

2. Сделайте выписки характерных и выразительных для отдельных черт Плюшкина (подозрительность, неожиданные проявления человеческого чувства) сравнений, употребленных Гоголем. Разберитесь в этих сравнениях и укажите, в чем их выразительность.

3. Выпишите из прочитанной вами 6-й главы из «Мертвых Душ» слова и выражения, вышедшие теперь из употребления.

Задания к повести Григоровича „Антон Горемыка“.

1. Дайте описание внешности Антона и обстановки, в которой он живет.

2. Охарактеризуйте его отношение к детям — Ване и Аксюше.

3. Охарактеризуйте его отношение к жене Варваре, а также Варвары к нему.

1. Как мог Антон прокараулить свою лошадь: чем объясните вы его оплошность в этом случае?

2. Дайте характеристику „рыженьких приятелей“ Антона и их поведение в отношении его — по пути в город, на торгу, на постоянном дворе.

3. Опишите переживания Антона, когда он обнаружил пропажу лошади: в чем заключался весь ужас его положения?

4. Как отнеслись к постигшему Антона несчастью другие постоянные дворца и какие советы они ему давали (что интересного можете отметить в этих советах)?

1. Что жуткого в истории злоключений Антона: насколько он оправдывает данное ему автором название — Горемыка?

2. Расскажите, как Антон попал в немилость к управляющему?

3. Дайте характеристику управляющего.

4. Почему управляющий мог иметь такую безграничную власть над крепостными крестьянами?

5. Составлял ли управляющий Никита Федорович только печальное исключение, или описанное в повести отношение управляющего к крестьянам составляло общее явление?

6. Вскройте картину бесправного положения крепостных по рассказу земляка Антона — фабричного Митрохи.

Как подтверждается эта картина судьбой Антона?

Вскройте ту же картину в судьбе Власа по рассказу Тургенева „Малиновая вода“.

Как построена повесть.

1. Что составляет сюжет повести: выделите его из всего содержания произведения и изложите в виде краткого рассказа.

2. В каком месте повести и в какой форме автор сообщает о прошлой жизни Антона? Что достигается таким приемом автора?

3. Какое место в повести занимает описание и характеристика?

4. Какие из описаний могут быть выделены в качестве самостоятельных картин?

5. Перечислите разнообразные характеры действующих лиц повести, отметив особенности каждого из характеров.

6. Какие характеры действующих лиц повести особенно полно и законченно обрисованы?

Язык повести.

1. В каких случаях Григорович пользуется народным языком: отметьте все такие места повести.

2. Сделайте выписки по возможности всех слов и оборотов народной речи.

Сравните их с литературными словами и оборотами.

3. Чем обращают на себя внимание такие слова, как *утие*, *уте* (каково литературное произношение этого слова?), *бядовыи*, *бяды*, *хлябал* и т. п.? не встречали ли вы такого произношения и где?

4. Чем обращают на себя внимание такие формы слов, как *мотри*, *спознался*, *осерчалый*, *обижательство* и т. п. (отыщите сами), по сравнению с литературными их формами (придайте этим словам литературные формы)?

5. Придайте литературную форму обороту: „слово какое в пропое сказал, а ты на себя взял“.

Бурмистр.

Верстах¹ в пятнадцати от моего именья, живет один мне знакомый человек, молодой помещик, гвардейский офицер в отставке, Аркадий Павлыч Пеноочкин. Дичи у него в поместье водится много, дом построен по плану французского архитектора, люди одеты по-английски, обеды задает он отличные, принимает гостей ласково, а всё-таки неохотно к нему едешь. Он человек рассудительный и положительный, воспитанье получил, как водится, отличное, служил, в высшем обществе потёрся, а теперь хозяйством занимается с большим успехом. Аркадий Павлыч, говоря собственными его словами, строг, но справедлив, о благе подданных своих печётся и наказывает их — для их же блага. „С ними надобно обращаться, как с детьми“, говорит он в таком случае: — *невежество, mon cher, il faut prendre cela en considération*. Сам же, в случае так-называемой печальной необходимости, резких и порывистых движений избегает и голоса возвышать не любит, но более тычет рукою прямо, спокойно приговаривая: „ведь я тебя просил, любезный мой“, или: „что с тобою, друг мой, опомнись“; причем только слегка стискивает зубы и кривит рот. Роста он небольшого, сложен щеголевато, собою весьма недурен, руки и ногти в большой опрятности содержит; с его румяных губ и щёк так и пышет здоровье. Смеется он звучно и беззаботно, приветливо щурит светлые, карие глаза. Одевается он отлично и со вкусом; выписывает французские книги, рисунки и газеты, но до чтения небольшой охотник: „Вечного жида“ едва осилил. В карты играет мастерски. Вообще Аркадий Павлыч считается одним из образованней-

ших дворян и завиднейших женихов нашей губернии; дамы от него без ума и в особенности хвалят его манеры. Он удивительно хорошо себя держит, осторожен, как кошка, и ни в какую историю замешан от роду не бывал, хотя при случае дать себя знать и робкого человека озадачить и срезать любит. Дурным обществом решительно брезгает — скомпрометироваться боится; зато в веселый час объявляет себя поклонником Эпикура, хотя вообще о философии отзы-
вается дурно, называя ее туманной пищей германских умов, а иногда и просто чепухой. Музыку он тоже любит; за кар-
тами поёт сквозь зубы, но с чувством; из Лючии и Сомнам-
булы тоже помнит, но что-то всё высоко забирает. По зимам он ездит в Петербург. Дом у него в порядке необыкновен-
ном; даже кучера подчинились его влиянию и каждый день не только вытирают хомуты и армяки чистят, но и самим-
себе лицо моют. Дворовые люди Аркадия Павлыча посмат-
ривают, правда, что-то исподлобья, — но у нас на Руси угрюмого от заспанного не отключишь. Аркадий Павлыч говорит голосом мягким и приятным, с расстановкой и как-
бы с удовольствием пропуская каждое слово сквозь свои прекрасные, раздущенные усы; также употребляет много французских выражений, как-то: „Mais c'est impayable!“ „Mais comment donc“ *) и пр. Со всем тем, я, по крайней мере, не слишком охотно его посещаю, и если-бы не тете-
рева и не куропатки, вероятно, совершенно бы с ним раз-
знакомился. Странное какое-то беспокойство овладевает вами в его доме; даже комфорт вас не радует, и всякий раз, вечером, когда появится перед вами завитый камер-
динер в голубой ливрее с гербовыми пуговицами и начнёт подобострастно стягивать с вас сапоги, вы чувствуете, что если бы вместо его бледной и сухопарой фигуры внезапно предстали перед вами изумительно-широкие скулы и неве-
роятно-тупой нос молодого дюжего парня, только-что взя-
того барином от сохи, но уже успевшего в десяти местах распороть по швам недавно пожалованный нанковый каф-
тан — вы бы обрадовались несказанно и охотно-бы подверг-
лись опасности лишиться вместе с сапогом и собственной
вашей ноги вплоть до самого вертлюга...

Несмотря на мое нерасположение к Аркадию Павлычу, пришлось мне однажды провести у него ночь. На другой день я рано поутру велел заложить свою коляску, но он не хотел меня отпустить без завтрака на английский манер и повёл к себе в кабинет. Вместе с чаем подали нам котлеты, яйца в смятку, масло, мед, сыр и пр. Два камер-
динера, в чистых белых перчатках, быстро и молча предупреждали наши малейшие желания. Мы сидели на пер-
сидском диване. На Аркадия Павлыче были широкие шёл-
ковые шаровары, черная бархатная куртка, красивый фес

с синей кистью и китайские желтые туфли без задков. Он пил чай, смеялся, рассматривал свои ногти, курил, подкладывал себе подушки под бок и вообще чувствовал себя в отличном расположении духа. Позавтракавши плотно и с видимым удовольствием, Аркадий Павлыч налил себе рюмку красного вина, поднес её к губам и вдруг нахмурился.

— Отчего вино не нагрето? — спросил он довольно резким голосом одного из камердинеров.

Камердинер смешался, остановился, как вкопанный, и побледнел.

— Ведь я тебя спрашиваю, любезный мой? — спокойно продолжал Аркадий Павлыч, не спуская с него глаз.

Несчастный камердинер помялся на месте, покрутил салфеткой и не сказал ни слова. Аркадий Павлыч потупил голову и задумчиво посмотрел на него исподлобья.

— Pardon, mon cher, — промолвил он с приятной улыбкой, дружески коснувшись рукой до моего колена, и снова уставился на камердинера. — Ну, ступай, — прибавил он после небольшого молчания, поднял брови и позвонил.

Вошёл человек толстый, смуглый, черноволосый, с низким лбом и совершенно заплывшими глазами.

— На счет Федора... распорядиться, — проговорил Аркадий Павлыч вполголоса и с совершенным самообладанием.

— Слушаю-с, — отвечал толстый и вышел.

— Yoilà, mon cher, les désagréments de la campagne *), весело заметил Аркадий Павлыч. — Да куда же вы? останьтесь, посидите еще немного.

— Нет, — отвечал я: — мне пора.

— Всё на охоту! Ох, уж эти мне охотники! Да вы куда теперь едете?

— За сорок вёрст отсюда, в Рябово.

— В Рябово? Ах, Боже мой, да в таком случае я с вами поеду. Рябово всего в пяти верстах от моей Шипиловки, а я таки-давно в Шипиловке не бывал: всё времени улучить не мог. Вот как кстати пришлось: вы сегодня в Рябове поохотитесь, а вечером ко мне. Ce sera charmant! Мы вместе поужинаем, — мы возьмем с собою повара, — вы у меня переночуете. Прекрасно! Прекрасно! — прибавил он, не дождавшись моего ответа. Эй, кто там? Коляску нам велите заложить, да поскорей. Вы в Шипиловке не бывали? Я-бы посовестился предложить вам провести ночь в избе моего бурмистра, да вы, я знаю, неприхотливы, и в Рябово в сенном бы сарае ночевали... Едем, едем!

И Аркадий Павлыч запел какой-то французский романс.

— Ведь вы, может быть, не знаете, продолжал он, покачиваясь на обеих ногах: — у меня там мужики на оброке. Конституция, — что будешь делать? Однако оброк мне

платят исправно. Я-бы их, признаюсь, давно на барщину ссадил, да земли мало! я и так удивляюсь, как они концы с концами сводят. Впрочем, *c'est leur affaire* *). Бурмистр у меня там молодец, *une forte tête*, государственный человек! Вы увидите... Как, право, это хорошо пришлось!

Делать было нечего. Вместо девяти часов утра мы выехали в два. Охотники поймут мое нетерпенье. Аркадий Павлыч любил, как он выражался, при случае побаловать себя и забрал с собою такую бездну белья, припасов, платья, духов, подушек и разных несессеров, что иному бережливому и владеющему собою немцу хватило бы всей этой благодати на год. При каждом спуске с горы Аркадий Павлыч держал краткую, но сильную речь кучеру, из чего я мог заключить, что мой знакомец порядочный трус. Впрочем, путешествие совершилось весьма благополучно; только на одном недавно починённом мостице телега с поваром завалилась, и задним колесом ему придавило желудок.

Аркадий Павлыч, при виде падения доморощенного Карема, испугался не на шутку и тотчас велел спросить: целы ли у него руки? Получив же ответ утвердительный, немедленно успокоился. Со всем тем, ехали мы довольно долго; я сидел в одной коляске с Аркадием Павлычем и под конец путешествия почувствовал тоску смертельную, тем более, что в течение нескольких часов мой знакомец совершенно выдохся и начинал уже либеральничать. Наконец, мы приехали, только не в Рябово, а прямо в Шипиловку; как-то оно так вышло. В тот день я и без того уже поохотиться не мог и потому, скрепя сердце, покорился своей участи.

Повар приехал несколькими минутами ранее нас и, повидимому, уже успел распорядиться и предупредить, кого следовало, потому что при самом въезде в околицу встретил нас староста (сын бурмистра), люжий и рыжий мужик в косую сажень ростом, верхом и без шапки, в новом армяке на распашку. — «А где же Софон?» спросил его Аркадий Павлыч. Староста сперва проворно соскочил с лошади, поклонился барину в пояс, промолвил: «Здравствуйте, батюшка Аркадий Павлыч», потом приподнял голову, встярхнулся и доложил, что Софон отправился в Перов, но что за ним уже послали. — «Ну, ступай за нами», сказал Аркадий Павлыч. Староста отвёл из приличия лошадь в сторону, взвалился на неё и пустился рысцой за коляской, держа шапку в руке. Мы поехали по деревне. Несколько мужиков в пустых телегах попались нам навстречу; они ехали с гумна и пели песни, подпрыгивая всем телом и болтая ногами на воздухе; но при виде нашей коляски и старосты внезапно умолкли, сняли свои зимние шапки (дело было летом) и приподнялись, как-бы ожидая

приказаний. Аркадий Павлыч милостиво им поклонился. Тревожное волнение видимо распространялось по селу. Бабы в клетчатых паневах швыряли щепками в недогадливых или слишком усердных собак; хромой старик с бородой, начинавшейся под самыми глазами, оторвал недопоенную лошадь от колодезя, ударил ее неизвестно за что по боку, а там уже поклонился. Мальчишки в длинных рубашёнках с воплем бежали в избы, ложились брюхом на высокий порог, свешивали головы, закидывали ноги кверху и таким образом весьма проворно перекатывались за дверь, в тёмные сени, откуда уже и не показывались. Даже курицы стремились ускоренной рысью в подворотню; один бойкий петух с чёрной грудью, похожей на атласный жилет, и красным хвостом, закрученным на самый гребень, остался-было на дороге и уже совсем собирался кричать, да вдруг сконфузился и тоже побежал. Изба бурмистра стояла в стороне от других, посреди густого зелёного коноплянника. Мы остановились перед воротами. Г-н Пеночкин встал, живописно сбросил с себя плащ и вышел из коляски, приветливо озираясь кругом. Бурмистрова жена встретила нас с низкими поклонами и подошла к барской ручке. Аркадий Павлыч дал ей нацеловаться вволю и взошёл на крыльцо. В сенях, в тёмном углу, стояла старостиха и тоже поклонилась, но к руке подойти не дерзнула. В так-называемой холодной избе — из сеней направо — уже возились две другие бабы; они выносили оттуда всякую дрянь, пустые жбаны, одеревенелые тулуны, масленые горшки, лульку с кучей тряпок и пёстрым ребёнком, подметали банными вениками сор. Аркадий Павлыч выслал их вон и поместился на лавке под образами. Кучера начали вносить сундуки, ларцы и прочие удобства, всячески стараясь умерить стук своих тяжёлых сапогов.

Между тем Аркадий Павлыч расспрашивал старосту об урожае, посеве и других хозяйственных предметах. Староста отвечал удовлетворительно, но как-то вяло и неловко, словно замороженными пальцами каftан застегивал. Он стоял у дверей и то-и-дело сторожился и оглядывался, давая дорогу проворному камердинеру. Из-за его могущественных плеч удалось мне увидеть, как бурмистрова жена в сенях втихомолку колотила какую-то другую бабу. Вдруг застучала телега и остановилась перед крыльцом: вошёл бурмистр.

Этот, по словам Аркадия Павлыча, государственный человек был роста небольшого, плечист, сед и плотен, с красным носом, маленькими голубыми глазами и бородой в виде веера. Заметим, кстати, что с тех пор, как Русь стоит, не бывало ещё на ней примера раздобрёвшего и разбогатевшего человека без окладистой бороды; иной весь свой век носил

бородку жидкую, клином, — вдруг, смотришь, обложился кругом словно сияньем, — откуда волос берётся! Бурмистр, должно быть, в Перове подгулял: и лицо-то у него отекло порядком, да и вином от него попахивало.

— Ах вы, отцы наши, милостивцы вы наши, заговорил он на-распев и с таким умилением на лице, что вот-вот,казалось, слезы брызнут: — насили-то изволили пожаловать!... Ручку, батюшка, ручку, — прибавил он, уже загодя протягивая губы.

Аркадий Павлыч удовлетворил его желание. — Ну, что, брат Софрон, каково у тебя дела идут? — спросил он ласковым голосом.

— Ах вы, отцы наши, — воскликнул Софрон: — да как-же им худо идти, делам-то! Да ведь вы наши отцы, вы милостивцы, деревеньку нашу просветить изволили приездом-то своим, осчастливили по гроб дней. Слава тебе господи, Аркадий Павлыч, слава тебе господи! Благополучно обстоит всё милостью вашей.

Тут Софрон помолчал, поглядел на барина и, как-бы снова увлечённый порывом чувства (притом же и хмель брал свое), в другой раз попросил руки и запел пуще прежнего.

— Ах, вы отцы наши, милостивцы... и... уж что! Ей-богу, совсем дураком от радости стал... Ей-богу, смотрю да не верю... Ах, вы отцы наши!...

Аркадий Павлыч глянул на меня, усмехнулся и спросил: „N'est-ce pas que c'est touchant?“

— Да батюшка Аркадий Павлыч, — продолжал неугомонный бурмистр: — как-же вы это? Сокрушаете вы меня совсем, батюшка; известить меня не изволили о вашем приезде-то. Где же вы ночку-то проведёте? Ведь, тут нечистота, сор...

— Ничего, Софрон, ничего, — с улыбкой отвечал Аркадий Павлыч: — здесь хорошо.

— Да ведь отцы вы наши — для кого хорошо? для нашего брата мужика хорошо; а ведь вы... ах, вы отцы мои, милостивцы, ах, вы отцы мои!... Простите меня, дурака, с ума спятил, ей-богу, одурел вовсе.

Между тем подали ужин; — Аркадий Павлыч начал кушать. Сына своего старик прогнал — дескать, духоты напущаешь.

— Ну, что; размежевался старина? — спросил г-н Пеночкин, который явно желал подделаться под мужицкую речь и мне подмигивал.

— Размежевались, батюшка: всё твою милостью. Третьего дня сказку подписали. Хлыновские-то сначала поломались... поломались, отец, точно. Требовали... требовали... и бог знает, чего требовали; да ведь дурачье, батюшка, народ глупый. А мы, батюшка, милостью твою благодарность заявили и Миколая Миколаича посредственника удоблетворили; всё

по твоему приказу действовали, батюшка; как ты изволил приказать, так мы и действовали, и с ведома Егора Дмитрича всё действовали.

— Егор мне докладывал, — важно заметил Аркадий Павлыч.

— Как же, батюшка, Егор Дмитрич, как-же.

— Ну, и стало быть вы теперь довольны?

Софрон только того и ждал. — Ах, вы отцы наши, милостивцы наши! запел он опять... Да помилуйте вы меня... да ведь мы за вас, отцы наши, денно и нощно господу богу молимся... Земли, конечно, маловато...

Пеночкин перебил его. — Ну, хорошо, хорошо, Софрон, знаю, ты мне усердный слуга... А что, как умолот?

Софрон вздохнул.

— Ну, отцы вы наши, умолот-то небольно хороши. Да что, батюшка Аркадий Павлыч, позвольте вам доложить, дельцо какое вышло. (Тут он приблизился, разводя руками, к господину Пеночкину, нагнулся и прищурил один глаз). Мертвое тело на нашей земле оказалось.

— Как так?

— И сам ума не приложу, батюшка, отцы вы наши: видно, враг попутал. Да, благо, подле чужой межи оказалось; а только, чтò греха таить, на нашей земле. Я его тотчас на чужой-то клин и приказал стащить, пока можно было, да караул приставил и своим заказал: молчать! говорю. А становому на всякий случай объяснил: вот какие порядки, говорю; да чайком его, да благодарность... Ведь что, батюшка, думаете? Ведь осталось у чужаков на шее; а ведь мертвое тело, что двести рублёв — как калач.

Г-н Пеночкин много смеялся уловке своего бурмистра и несколько раз сказал мне, указывая на него головой: „Quel gaillard, а?“

Между тем на дворе совсем стемнело; Аркадий Павлыч велел со стола прибрать и сена принести. Камердинер постлал нам простыни, разложил подушки; мы легли. Софрон ушёл к себе, получив приказание на следующий день. Аркадий Павлыч, засыпая, ещё потолковал немного об отличных качествах русского мужика, и тут же заметил мне, что, со временем управления Софрана, за Шипиловскими крестьянами не водится ни гроша недоимки... Сторож за колотил в доску; ребёнок, видно еще не успевший проникнуться чувством должного самоотверженья, запищал где-то в избе... Мы заснули.

На другой день утром мы встали довольно рано. Я было собрался ехать в Рябово, но Аркадий Павлыч желал показать мне свое имение и упросил меня остаться. Я и сам был не прочь убедиться на деле в отличных качествах государственного человека — Софрана. Явился бурмистр. На нем

был синий армяк, подпоясанный красным кушаком. Говорил он гораздо меньше вчеращнего, глядел зорко и пристально в глаза барину, отвечал складно и дельно. Мы вместе с ним отправились на гумно. Софронов сын, трех-аршинный староста, по всем признакам человек весьма глупый, также пошёл за нами, да еще присоединился к нам земский Федосеич, отставной солдат с огромными усами и престранным выражением лица: точно он весьма давно тому назад чему-то необыкновенно удивился, да с тех пор уж и не пришёл в себя. Мы осмотрели гумно, ригу, овины, сараи, ветряную мельницу, скотный двор, зеленя, коноплянники; всё было действительно в отличном порядке: одни унылые лица мужиков приводили меня в некоторое недоумение. Кроме полезного, Софрон заботился еще о приятном: все канавы обсадил ракитником, между скирдами на гумне дорожки провёл и песочком посыпал, на ветряной мельнице устроил флюгер в виде медведя с разинутой пастью и красным языком, к кирпичному скотному двору прилепил нечто в роде греческого фронтона и под фронтоном белилами надписал: „Пастроен всеle Шипилофке втысеча восем Сод саракавом году. Сей скотный дфор“.— Аркадий Павлыч разнежился совершенно, пустился излагать мне на французском языке выгоды оброчного состоянья, причём однако заметил, что барщина для помещиков выгоднее,— да мало ли чего нет!... Начал давать бурмистру советы, как сажать картофель, как для скотины корм заготовлять и пр. Софрон выслушивал барскую речь со вниманием, иногда возражал, но уже не величал Аркадия Павлыча ни отцом, ни милостивцем и всё напирал на то, что земли-де у них маловато, прикупить бы не мешало. „Что-ж, купите“, говорил Аркадий Павлыч: — „на мое имя, я не прочь“. — На эти слова Софрон не отвечал ничего, только бороду поглаживал. — „Однако, теперь-бы не мешало съездить в лес“, заметил г. Пеночкин. Тотчас привели нам верховых лошадей; мы поехали в лес, или как у нас говорится, в „заказ“. В этом „заказе“ нашли мы глушь страшную, за что Аркадий Павлыч похвалил Софрана и потрепал его по плечу. Г-н Пеночкин придерживался на счет лесоводства русских понятий, и тут же рассказал мне презабавный, по его словам, случай, как один шутник-помещик вразумил своего лесника, выдрав у него около половины бороды, в доказательство того, что от порубки лес гуще не вырастает... Впрочем, в других отношениях, и Софрон, и Аркадий Павлыч — оба не чуждались нововведений. По возвращении в деревню, бурмистр повёл нас посмотреть веялку, недавно выписанную из Москвы. Веялка точно действовала, хорошо, но если бы Софрон знал, какая неприятность ожидала и его и барина на этой последней прогулке, он, вероятно, остался бы с нами дома.

Вот что случилось. Выходя из сарайя, увидали мы следующее зрелище. В нескольких шагах от двери, подле грязной лужи, в которой беззаботно плескались три утки, стояли два мужика: один — старик лет шестидесяти, другой, — малый лет двадцати, оба в домашних заплатанных рубахах, на босу ногу и подпоясанные верёвками. Земский Федосеич усердно хлопотал около них и, вероятно, успел-бы уговорить их удалиться, еслибы мы замешкались в сарае, но, увидев нас, он вытянулся в струнку и замер на месте. Тут же стоял староста с разинутым ртом и недоумевающими кулаками. Аркадий Павлыч нахмурился, закусил губу и подошёл к просятелям. Оба, молча, поклонились ему в ноги.

— Что вам надобно? о чём вы просите? — спросил он строгим голосом и несколько в нос (Мужики взглянули друг на друга и словечка не промолвили, только прищурились, словно от солнца, да поскорей дышать стали).

— Ну, что-же? — продолжал Аркадий Павлыч и тотчас-же обратился к Софрону: — из какой семьи?

— Из Тоболеевой семьи, — медлено отвечал бурмистр.

— Ну, что-же вы? — заговорил опять г. Пеночкин: — языков у вас, нет, что-ли? Сказывай, ты, чего тебе надобно? — прибавил он, качнув головой на старика. — Да не бойся, дурак.

Старик вытянул свою темно-бурую, сморщенную шею, криво разинул посиневшие губы, сиплым голосом произнес: — „Заступись, государь! и снова стукнул лбом в землю. Молодой мужик тоже поклонился. Аркадий Павлыч с достоинством посмотрел на их затылки, закинул голову и расставил немного ноги. — Что такое? На кого ты жалуешься?

— Помилуй, государь! Дай вздохнуть... Замучены со всем. (Старик говорил с трудом).

— Кто тебя замучил?

— Да Софрон Яковлич, батюшка.

Аркадий Павлыч помолчал.

— Как тебя зовут?

— Антилом, батюшка.

— А это кто?

— А сынок мой, батюшка.

Аркадий Павлыч помолчал опять и усами повёл.

— Ну, так чем же он тебя замучил? — заговорил он, глядя на старика сквозь усы.

— Батюшка, разорил в конец. Двух сыновей, батюшка, без очереди в некруты отдал, а теперь и третьего отнимает. Вчера, батюшка, последнюю коровушку со двора свёл и хозяйку мою избил — вон его милость (Он указал на старосту).

— Гм? — произнёс Аркадий Павлыч.

— Не дай в конец разориться, кормилец.

Г-н Пеночкин нахмурился. — Чтò-же это однако значит? спросил он бурмистра вполголоса и с недовольным видом.

— Пьяный человек-с, — отвечал бурмистр, в первый раз употребляя „слово-ер“: — неработящий. Из недоимки не выходит вот уж пятый год-с.

— Софрон Якович за меня недоимку взнёс, батюшка, продолжал старик: — вот пятый годочек пошёл, как взнёс, а как взнёс — в кабалу меня и забрал, батюшка, да вот и...

— А от чего недоимка за тобой завелась? — грозно спросил г. Пеночкин (Старик понурил голову). — Чай, пьянствовать любишь, по кабакам шататься? (старик разинул-было рот) — Знаю я вас, — с запальчивостью продолжал Аркадий Павлыч: — ваше дело пить да на печи лежать, а хороший мужик за вас отвечай.

— И грубиян тоже, — ввернул бурмистр в господскую речь.

— Ну, уж это само собою разумеется. Это всегда так бывает; это уж я не раз заметил. Целый год распутствует, грубит, а теперь в ногах валяется.

— Батюшка, Аркадий Павлыч, — с отчаянием заговорил старик: — помилуй, заступись, — какой я грубиян? Как перед господом богом говорю, не в моготу приходится. Не взлюбил меня Софрон Якович, за что не взлюбил — господь ему судья! Разоряет в конец, батюшка... Последнего вот сыночка... и того... (На желтых и сморщенных глазах старика сверкнула слезинка). — Помилуй, государь, заступись...

— Да и не нас одних, — начал-было молодой мужик...

Аркадий Павлыч вдруг вспыхнул:

— А тебя кто спрашивает, а? Тебя не спрашивают, так ты молчи... Это что такое? Молчать, говорят тебе! молчать... Ах, боже мой! да это, просто, бунт. Нет, брат, у меня бунтовать не советую... у меня... (Аркадий Павлыч шагнул вперед, да, вероятно, вспомнил о моем присутствии, отвернулся и положил руки в карманы)... Je vous demande bien pardon, mon cher, сказал он с принужденной улыбкой, значительно понизив голос. — C'est le mauvais côté de la médaille... Ну хорошо, хорошо, — продолжал он, не глядя на мужиков: — я прикажу... хорошо, ступайте. (Мужики не поднимались). — Ну, да ведь я сказал вам... хорошо. Ступайте-же, я прикажу, говорят вам.

Аркадий Павлыч обернулся к ним спиной. — „Вечно неудовольствия“, — проговорил он сквозь зубы и пошёл большиими шагами домой. Софрон отправился вслед за ним. Земский выпучил глаза, словно куда-то очень далеко прыгнуть собирался. Староста выпугнул уток из лужи. Просители постояли ещё немного на месте, посмотрели друг на друга и поплелись, не оглядываясь, во-свои.

Часа два спустя я уже был в Рябове и вместе с Анпадистом, знакомым мне мужиком, собирался на охоту. До са-мого моего отъезда Пеночкин дулся на Софрана. Заговорил

я с Анпадистом о Шипиловских крестьянах, о г. Пеночкине, спросил его, не знает ли он тамошнего бурмистра.

— Софрана-то Яковлича?.. вона!

— А что он за человек?

— Собака, а не человек: такой собаки до самого Курска не найдёшь.

— А что?

— Да ведь Шипиловка только-что числится за тем, как биши его, за Пенкиным-то; ведь не он ей владеет: Софрон владеет.

— Неужто?

— Как своим добром владеет. Крестьяне ему кругом должны; работают на него словно батраки: кого с обозом посылает, кого куды... — затормошил совсем.

— Земли у них, кажется немного?

— Немного? Он у одних Хлыновских восемьдесят десятин занимает, да у наших сто двадцать; вот-те и целых полтораста десятин. Да он не одной землей промышляет: и лошадьми промышляет, и скотом, и дегтем, и маслом, и пенькой, и чем-чем... Умён, больно умён, и богат же, бестия! Да вот чем плох — дерётся. Зверь — не человек; сказано: собака, пёс, как есть, пёс.

— Да что-ж они на него не жалуются?

— Экста! Барину-то что за нужда! недоимок не бывает, там ему что? Да, поди ты, — прибавил он после небольшого молчания: — пожалуйся. Нет, он тебя... да поди-ка... Нет уж он тебя вот как того...

Я вспомнил про Антипа и рассказал ему, что видел.

— Ну, — промолвил Анпадист: — заест он его теперь; заест человека совсем. Староста теперь его забьёт. Экой бесталанный, подумаешь, бедняга! И за что терпит... На сходке с ним повздорил, с бурмистром-то, не втерпёж знать пришлось... Великое-дело! Вот он его, Антипа-то, клевать и начал. Теперь доедет. Ведь он такой пёс, собака, прости господи мое прегрешенье, знает, на кого налечь. Стариковто, что побогаче да посемейнее, не трогает, лысый чорт, а тут вот и расходился! Ведь он Антиповых-то сыновей без очереди в некруты отдал, мошенник беспардонный, пёс, прости господи, мое прегрешенье.

Мы отправились на охоту.

И. С. Тургенев.

Зальцбрунн, в Силезии,
июль, 1847 г.

1. Как жилось крестьянам и дворовым? (соберите все факты: эпизод с камердинером, лесничим, кучером и т. д.).

2. Как помесик объяснял крестьянские недоимки?

3. Соберите черты классовой психологии Пеночкина (взгляд на крестьян, как на „детей“ и др.).

4. Прибегал ли Александр Павлович, „считавшийся одним из образованнейших дворян“, к личной расправе с крестьянами?
5. Почему Пеночкин отпустил крестьян на оброк, убежденный однако в выгоде для помещика барщины?
6. Представляет ли Шипиловка однородную в имущественном отношении крестьянскую массу?
7. В чем выражалась экономическая зависимость шипиловских крестьян от бурмистра Софона?
8. Как чувствовали себя крестьяне в отсутствии помещика и при нем?

-
- 1) Составьте словарик народных речений (двести рублей, экста и др.).
 - 2) Удачны ли эпитеты: недоумевающие кулаки (старосты), пестрый ребенок?
 - 3) Обратите внимание на привычку Тургенева описывать манеру говорить героев рассказа. Какое значение это имеет для характеристики Пеночкина и Софона?

Задания к повести Тургенева „МУМУ“.

1. Как характеризует помещицу то, что у неё в числе дворни при „домашнем лекаре для госпожи“ был „лекарь для людей“?
2. Чем объясняются особенности характера барыни: ее личной неудачной жизнью (см. начало повести) или привычками крепостного барства?
3. Как отражался характер барыни на дворне?
4. Разбейте на группы дворовых, имея в виду их отношения к барыне.
5. Разберитесь в их отношениях к Герасиму.
6. Почему крепко не полюбилось Герасиму сначала его житье в городе?
7. Очертите все моменты в его жизни, вызывающие в нем разнообразные чувства и настроения.
8. С кем автор сравнивает Герасима? (выпишите все сравнения).
9. В каких местах повести автор выражает свое отношение к Герасиму и барыне?
10. Почему в повести, изображающей городскую жизнь, автор был склонен на описание города и больше места уделил деревенской природе?
11. Как вы объясняете двойной эпитет: „солнце озарило своим влажно-красным лучом только что расходившегося молодца“?
12. В чем выражалось влияние города в языке Капитона?
13. Каким словом можете заменить „неистомная работа“?

С у ч о к.

(Из рассказа „Льгов“).

Босоногий, оборванный и вз'рошенный Сучок казался с виду отставным дворовым, лет шестидесяти.

— Есть у тебя лодка? — спросил я.

— Лодка есть, — отвечал он глухим и разбитым голосом: — да больно плоха.

— А что?

— Расклеилась; да из дырьев клепки повывалились.

— Да ты кто?

— Господский рыболов.

— Как же это ты рыболов, а лодка у тебя в такой неисправности?

— Да в нашей реке и рыбы-то нету.

— Скажи, пожалуйста, давно ты здесь рыбаком?

— Седьмой год пошел.

— А прежде чем ты занимался?

— Прежде ездил кучером.

— Кто ж тебя из кучеров разжаловал?

— А новая барыня.

— Какая барыня?

— А что нас-то купила. Вы не изволите знать: Алёна Тимофеевна, толстая такая... немолодая.

— С чего ж она вздумала тебя в рыболовы произвести?

— А бог ее знает. Приехала к нам из своей вотчины, из Тамбова, велела всю дворню собрать, да и вышла к нам. Мы сперва к ручке, и она ничего: не серчает... А потом и стала по порядку нас расспрашивать: чем занимался, в какой должности состоял? Дошла очередь до меня; вот и спрашивает: ты чем был? Говорю: кучером. — Кучером? ну, какой ты кучер, посмотри на себя: какой ты кучер? Не след тебе быть кучером, а будь у меня рыболовом и бороду сбрея. На случай моего приезда к господскому столу рыбу поставляй, слышишь?... С тех пор вот я в рыболовах и числюсь. — Да пруд у меня, смотри, содержать в порядке... А как его содержать в порядке?

— Чьи же вы прежде были?

— А Сергея Сергеича Пехтерева. По наследству ему достались. Да и он нами недолго владел, всего шесть годов. У него-то вот я кучером и ездил... да не в городе — там у него другие были, а в деревне.

— И ты смолоду все был кучером?

— Какое всё кучером! В кучера-то я попал при Сергееве Сергеиче, а прежде поваром был, — но не городским тоже поваром, а так, в деревне.

— У кого же ты был поваром?

— А у прежнего барина, у Афанасия Нефедыча, у Сергея Сергеичина дяди. Льгов-то он купил, Афанасий Нефедыч купил, а Сергею Сергеичу именье-то по наследству досталось.

— У кого купил?

— А у Татьяны Васильевны.

— У какой Татьяны Васильевны?

— А вот, что в запрошлом году умерла, под Болховым... то-бишь под Каравеевым, в девках... И замужем не бывала. Не изволите знать? Мы к ней поступили от её батюшки, от Василья Семеныча. Она таки-долгонько нами владела... годиков двадцать.

— Что ж, ты и у ней был поваром?

— Сперва точно был поваром, а то и в кофишенки попал.

— Во что?

— В кофишенки.

— Это что за должность такая?

— А не знаю, батюшка. При буфете состоял и Антоном назывался, а не Кузьмой. Так барыня приказала изволила.

— Твое настоящее имя Кузьма?

— Кузьма.

— И ты всё время был кофишенком?

— Нет, не все время: был и ахтёром.

— Неужели?

— Как же, был... на кеяtre играл. Барыня наша кеятр у себя завела.

— Какие же ты роли занимал?

— Чего изволите-с?

— Что ты делал на театре?

— А вы не знаете? Вот меня возьмут и нарядят; я так и хожу наряженый, или стою, или сижу, как там придется. Говорят: вот что говори, — я и говорю. Раз слепого представлял... Под каждую веку мне по горошине положили...

— Как-же!

— А потом чем был?

— А потом опять в повара поступил.

— За что же тебя опять в повара разжаловали?

— А брат у меня сбежал.

— Ну, а у отца твоей первой барыни чем ты был?

— А в разных должностях состоял: сперва в казачках находился, фалетором был, садовником, а то и доезжачим.

— Доезжачим?.. И с собаками ездил?

— Ездил и с собаками, да убился: с лошадью упал и лошадь зашиб. Старый-то барин у нас был престрогий; велел меня выпороть, да в ученье отдать в Москву к сапожнику.

— Как в ученье? Да ты, чай, не ребенком в доезжачи попал?

— Да лет, этак, мне было двадцать с лишком.
— Какое-ж тут ученье в двадцать лет?
— Стало быть, ничего, можно, коли барин приказал.
Да он, благо, скоро умер, — меня в деревню и вернули.
— Когда-же ты поварскому-то мастерству обучился?

Сучок приподнял свое худенькое и жёлтенькое лицо и усмехнулся.

— Да разве этому учатся?.. Стряпают-же бабы!
— Ну, промолвил я: — видал ты, Кузьма, виды на своем веку! Чтò-ж ты теперь в рыболовах делаешь, коль у вас рыбы нету?

— А я, батюшка, не жалуюсь. И слава богу, что в рыболовы произвели. А-то вот другого, такого же, как я, старика — Андрея Пупыря — в бумажную фабрику, в черпальную, барыня приказала поставить. Грешно, говорит, даром хлеб есть... А Пупырь-то еще на милость надеялся: у него двоюродный племянник в барской конторе сидит конторщиком: доложить обещался об нем барыне, напоминать. Вот-те и напомнил!.. А Пупырь в моих глазах племяннику-то в ножки кланялся.

— Есть у тебя семейство? Был женат?
— Нет, батюшка, не был. Татьяна Васильевна покойница — царство ей небесное! — никому не позволяла жениться. Сохрани бог! Бывало, говорит: ведь живу же я так, в девках, чтò за баловство! чего им надо?

— Чем же ты живёшь теперь? Жалованье получаешь?
— Какое, батюшка, жалованье!.. Харчи выдаются — и то слава тебе, господи! много доволен. Продли бог века нашей госпоже!

И. С. Тургенев.

1. Напишите биографию Сучка (от детских лет до старости).
2. Как проявлялась власть помещика над личностью крестьянина?
3. Был ли и как выражался протест крестьян против крепостной жизни?
4. Могла ли помещица применить к себе собственные слова: „грешно даром хлеб есть“?

1. Соберите выражения, рисующие крепостные отношения („барыня нас купила“ и др.).

2. Какова грамматическая особенность выражений: „попал в кучера“, „поступил в повара“, „произвели в рыболовы“?

Темы:

1. Кузьма в ученьи в Москве (ср. Максима Телятникова в VII главе „Мертвых душ“).
2. В крепостном театре (актеры, помещик-владелец театра, публика). Прочтите „Тупойный художник“ Лескова; очерки жизни М. С. Щепкина, составленные Ермиловым или Алтаевым.

Эй, Иван!

Вот он весь, как намалеван,
Верный твой Иван:
Неумыт, угрюм, оплеван,
Вечно полупьян;
На желудке мало пищи,
Чуть живой на взгляд.
Не прикрыты, голенищи
Рыжие торчат;
Вечно теплая шапочка
Вся в пуху на нем,
Туго стянут сюрточонко
Узким ремешком,
Из кармана кончик трубки
Виден, да кисет.
Разве новенькие зубки
Выйдут — старых нет...
Род его тысячелетний
Не имел угла —
На запятах и в передней
Жизнь веками шла.
Ремесла Иван не знает,
Делай, что дают,
Шьет, кует, варит, строгает,
Не потрафил — бьют!
„Заживет!“ Грубит, ворует,
Божится и врет
И за рюмочку целует
Ручки у господ.
Выпить может сто стаканов —
Только подноси...
Мало ли таких Иванов
На святой Руси?...
„Эй, Иван! иди-ка стряпать!
Эй, Иван! чеши собак!“
Удалось Ивану сцепать
Где-то четвертак,
Поминай теперь, как звали!
Шапку на бекрень —
И пропал! Напрасно ждали
Ваньку целый день:
Гитарист и соблазнитель
Деревенских дур
(Он же тайный похититель
Индюков и кур),
У корчемника Игнатки
Приютился плут;

Две пригожие солдатки
Так к нему и льнут.
„Эй вы, павы, павы, павы!
Шевелись живей!“
В Ваньке пляшут все суставы
С ног и до ушей,
Пляшут ноздри, пляшет в ухе
Белая серьга,
Ванька весел, Ванька в духе —
Жизнь недорога!
Утром с барином расправа:
„Где ты пропадал?“
— Я... нигде-с-е-й-богу... право...
У ворот стоял!
„Весь-то день?..“ Ответы грубы,
Ложь-глуна, нагла;
Были зубы — били в зубы,
Нет — трещит скула.
— Виноват! порядком струся,
Говорит Иван.
„Жарь к обеду с кашей гуся,
Щи варя, болван!“
Ванька снова лямку тянет,
А потом опять
Что-нибудь у дворни стянет...
„Неужли плошать?
Коли плохо положили,
Стало — не запрет!“
Господа давно решили,
Что души в нем нет.
Неизвестно — есть ли, нет ли,
Но с ним случай был:
Чуть живого сняли с петли,
Перед тем грустил.
Господам конфузно было:
— Что с тобой, Иван? —
„Так, под сердце подступило“,
И глядят: не пьян!
Говорят: „Вы потеряли
Верного слугу,
Все равно, помру с печали,
Жить я не могу!
А всего бы лучше с глотки
Пётли не снимать...“
Сам помещик выслал водки
Скуку разогнать.

Пил детина ерофеич,
Плакал да кричал:
„Хоть бы раз Иван Мосеич
Кто меня назвал!...“
Как мертвецки накатили,
В город тем же днем;
„Лишь бы лоб ему забрили —
Вешайся потом!“
Понадеялись на дружбу,
Да не та пора:
Сдать беззубого на службу
Не пришлось. „Ура!“

Ванька снова водворился
У своих господ
И совсем от рук отбился,
Без просыпу пьет.
Хоть бы в каторгу урода —
Лишь бы с рук долой!
К счастью тут пришла свобода:
— С богом, милый мой! —
И, затерянный в народе,
Вдруг исчез Иван...
Как живешь ты на свободе,
Где ты?.. Эй, Иван!

Н. Некрасов.

- 1) Сравните жизнь Ивана и Сучка.
- 2) Прочтите «Про холопа примерного — Якова верного» (из поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»).

Сон Обломова

Где мы? В какой благословенный уголок земли перенес нас сон Обломова? Что за чудный край!

Нет, правда, там моря, нет высоких гор, скал и пропастей, ни дремучих лесов — нет ничего грандиозного, дикого и угрюмого...

Небо там, кажется, ближе жмется к земле, но не с тем, чтоб метать сильнее стрелы, а разве только, чтобы обнять ее покрепче, с любовью: оно распростерлось так невысоко над головой, как родительская надежная кровля, чтоб уберечь, кажется, избранный уголок от всяких невзгод.

Солнце там ярко и жарко светит около полугода и потом удаляется оттуда не вдруг, точно нехотя, как будто обворачивается назад взглянуть еще раз или два на любимое место и подарить ему осенью, среди ненастья, ясный, теплый день.

Горы там как будто только модели тех страшных где-то воздвигнутых гор, которые ужасают воображение. Это ряд отлогих холмов, с которых приятно кататься, резвясь, на спине, или, сидя на них, смотреть в раздумья на заходящее солнце.

Река бежит весело, шаля и играя; она то разольется в широкий пруд, то стремится быстрой нитью, или присмиреет, будто задумавшись, и чуть-чуть ползет по камешкам, выпуская из себя по сторонам резвые ручьи, под журчанье которых сладко дремлется...

Как все тихо, все сонно в трех-четырех деревеньках, составляющих этот уголок! Они лежали недалеко друг от

друга и были как будто случайно брошены гигантской рукой и рассыпались в разные стороны, да так с тех пор и остались.

Как одна изба попала на обрыв сврага, так и висит там с незапамятных времен, стоя одной половиной на воздухе и подпираясь тремя жердями. Три-четыре поколения тихо и счастливо прожили в ней.

Кажется, курице страшно бы войти в нее, а там живет с женой Онисим Суслов, мужчина солидный, который не уставится во весь рост в своем жилище.

Не всякий и сумеет войти в избу к Онисиму; разве только что посетитель упросит ее *стать к лесу задом, а к нему передом*.

Крыльцо висело над оврагом, и чтоб попасть на крыльцо ногой, надо было одной рукой ухватиться за траву, другой за кровлю избы и потом шагнуть прямо на крыльцо.

Другая изба прилепилась к пригорку, как ласточкино гнездо; там три очутились случайно рядом, а две стоят на самом дне оврага.

Тихо и сонно все в деревне: безмолвные избы отворены настежь; не видно ни души; одни мухи тучами летают и жужжат в духоте.

Войдя в избу, напрасно станешь кликать громко: мертвое молчание будет ответом; в редкой избе отзовется болезненным стоном или глухим кашлем старуха, доживающая свой век на печи, или появится из-за перегородки босой, длинноволосый трехлетний ребенок, в одной рубашенке, молча, пристально поглядит на вошедшего и робко спрячется опять.

Та же глубокая тишина и мир лежат и на полях; только кое-где, как муравей, гомозится на черной ниве палимый зноем пахарь, налегая на соху и обливаясь потом.

Тишина и невозмутимое спокойствие царствуют и в нравах людей в том краю. Ни грабежей, ни убийств, никаких страшных случайностей не бывало там; ни сильные страсти, ни отважные предприятия не волновали их.

И какие бы страсти и предприятия могли волновать их? Всякий знал там самого себя. Обитатели этого края далеко жили от других людей. Ближайшие деревни и уездный город были верстах в двадцати пяти и тридцати.

Крестьяне в известное время возили хлеб на ближайшую пристань к Волге, да раз в год ездили некоторые на ярмарку, и более никаких сношений ни с кем ни имели.

Интересы их были сосредоточены на них самих, не перекрецывались и не соприкасались ни с чьими.

Они знали, что в восьмидесяти верстах от них была „губерния“, т.е. губернский город, но редкие езжали туда; потом знали, что подальше, там, Саратов, или Нижний;

слыхали, что есть Москва и Питер, что за Питером живут французы или немцы, а далее уже начинался для них, как для древних, темный мир, неизвестные страны, населенные чудовищами, людьми о двух головах, великанами; там следовал мрак — и, наконец, все оканчивалось той рыбой, которая держит на себе землю.

И как уголок их был почти непроезжий, то и неоткуда было почерпать новейших известий о том, что делается на белом свете: обозники с деревянной посудой жили только в двадцати верстах и знали не больше их. Не с чем даже было сличить им своего житья-бытья: хорошо ли они живут, нет ли; богаты ли они, бедны ли; можно ли было чего еще пожелать, что есть у других.

Счастливые люди жили, думая, что иначе и не должно и не может быть, уверенные, что и все другие живут точно так же, и что жить иначе — грех...

Таков был уголок, куда вдруг перенесся во сне Обломов.

Из трех или четырех разбросанных там деревень была одна Сосновка, другая Вавиловка, в одной версте друг от друга.

Сосновка и Вавиловка были наследственной вотчиной рода Обломовых и оттого известны были под общим именем Обломовки.

В Сосновке была господская усадьба и резиденция. Верстах в пяти от Сосновки лежало сельцо Верхлево, тоже принадлежавшее некогда фамилии Обломовых и давно перешедшее в другие руки, и еще несколько причисленных к этому же селу, кое-где разбросанных изб.

Село принадлежало богатому помещику, который никогда не показывался в свое имение: им заведывал управляющий из немцев.

Вот и вся биография этого уголка.

Илья Ильич проснулся утром в своей маленькой постельке. Ему только семь лет. Ему легко, весело.

Какой он хорошенъкий, красненъкий, полны! Щечки такие кругленькие, что иной шалун надуется нарочно, а таких не сделает.

Няня ждет его пробуждения. Она начинает натягивать ему чулочки: он не дается, шалит, болтает ногами; няня ловит его, и оба они хохочут.

Наконец, удалось ей поднять его на ноги; она умывает его, причесывает головку и ведет к матери.

Обломов увидел давно умершую мать и во сне затрепетал от радости, от жаркой любви к ней: у него, у сонного, медленно выплыли из под ресниц и стали неподвижно две теплые слезы.

Мать осыпала его страстными поцелуями, потом осмотрела его жадными, заботливыми глазами, не мутны ли глазки,

спросила, не болит ли что-нибудь, расспросила няньку, покойно ли он спал, не просыпался ли ночью, не метался ли он во сне, не было ли у него жару; потом взяла его за руку и подвела его к образу.

Там, став на колени и обняв его одной рукой, подсказывала она ему слова молитвы.

Мальчик рассеянно повторял их, глядя в окно, откуда лилась в комнату прохлада и запах сирени.

— Мы, маменька, сегодня пойдем гулять? — вдруг спрашивал он среди молитвы.

— Пойдем, душенька, — торопливо говорила она, не отводя от иконы глаз и спеша договорить святые слова.

Мальчик вяло повторял их, но мать влагала в них всю свою душу.

Потом шли к отцу, потом к чаю.

Около чайного стола Обломов увидел живущую у них престарелую тетку, восьмидесяти лет, беспрерывно ворчавшую на свою девченку, которая, трясясь от старости головой, прислуживала ей, стоя за ее столом. Там и три пожилые девушки, дальние родственницы отца его, и немногого помешанный деверь его матери, и помещик семи душ, Чекменев, гостивший у них, и еще какие-то старушки и старички.

Весь этот штат и свита дома Обломовых подхватили Илью Ильича и начали осыпать его ласками и похвалами; он едва успевал утираять следы непрошенных поцелуев.

После того начиналось кормление его булочками, сухариками, сливочками.

Потом мать, приласкав его еще, отпускала гулять в сад, по двору, на луг, с строгим подтверждением няньке не оставлять ребенка одного, не допускать к лошадям, к собакам, к козлу, не уходить далеко от дома, а главное, не пускать его в овраг, как самое страшное место в околотке, пользовавшееся дурной репутацией.

Там нашли однажды собаку, признанную бешеной потому только, что она бросилась от людей прочь, когда на нее собирались с вилами и топорами, и исчезла где-то за горой; в овраг свозили падаль, в овраге предполагались и разбойники, и волки, и разные другие существа, которых или в том краю, или совсем на свете не было.

Ребенок не дождался предостережений матери: он уж давно на дворе.

Он с радостным изумлением, как будто в первый раз, осмотрел и обежал кругом родительский дом, с покривившимся на бок воротами, с севшей на середине деревянной кровлей, на которой рос нежный зеленый мох, с шатающимся крыльцом, разными пристройками и настройками и с запущенным садом.

Ему страсть хочется взбежать на огибавшую весь дом висячую галлерею, чтоб посмотреть оттуда на речку; но галлерея ветха, чуть-чуть держится, и по ней дозволяется ходить только „людям“, а господа не ходят.

Он не внимал запрещениям матери и уже направился было к соблазнительным ступеням, но на крыльце показалась няня и кое-как поймала его.

Он бросился от нее к сеновалу, с намерением взобраться туда по крутой лестнице, и едва она поспевала дойти до сеновала, как уж надо было спешить разрушать его замыслы влезть на голубятню, проникнуть на скотный двор и, чего боже сохрани! — в овраг.

— Ах ты, господи, что за ребенок, за юла за такая! Да посидишь ли ты смирно, сударь? Стыдно! — говорила нянька.

И целый день, и все дни и ночи няни наполнены были суматохой, беготней: то пыткой, то живой радостью за ребенка, то страхом, что он упадет и расшибет нос, то умилением от его непрятворной детской ласки, или смутной тоской за отдаленную его будущность: этим только и билось сердце ее, этими волнениями подогревалась кровь старухи, и поддерживалась кое-как ими сонная жизнь ее, которая без того может быть угасла бы давным-давно.

Не все резв, однако ж, ребенок: он иногда вдруг присмиреет, сидя подле няни, и смотрит на все так пристально. Детский ум его наблюдает все совершающиеся перед ним явления; они западают глубоко в душу его, потом растут и зреют вместе с ним.

Утро великолепное; в воздухе прохладно; солнце еще не высоко. От дома, от деревьев, и от голубятни, и от галлереи — от всего побежали далеко длинные тени. В саду и на дворе образовались прохладные уголки, манящие к задумчивости и сну. Только вдали поле с рожью точно горит огнем, да речка так блестит и сверкает на солнце, что глазам больно.

— Отчего это, няня, тут темно, а там светло, а ужо будет и там светло? — спрашивал ребенок.

— Оттого, батюшка, что солнце идет навстречу месяцу и не видит его, так и хмурится; а ужо, как завидит издали, так и просветлеет.

Задумывается ребенок и все смотрит вокруг: видит он, как Антип поехал за водой, а по земле, рядом с ним, шел другой Антип, вдесятеро больше настоящего, и бочка казалась с дом величиной, а тень лошади покрывала собой весь луг; тень шагнула только два раза по лугу и вдруг двинулась за гору, а Антип еще и со двора не успел съехать.

Ребенок тоже шагнул раза два, еще шаг — и он уйдет за гору.

Ему хотелось бы к горе, посмотреть, куда делась лошадь. Он к воротам, но из окна послышался голос матери.

— Няня! Не видишь, что ребенок выбежал на солнышко! Уведи его в холодок, напечет ему головку — будет болеть, тошно сделается, кушать не станет. Он этак у тебя в овраг уйдет.

— У! баловень! — тихо ворчит нянька, утаскивая его на крыльце.

Смотрит ребенок и наблюдает острым и переимчивым взглядом, как и что делают взрослые, чему посвящают они утро.

Ни одна мелочь, ни одна черта не ускользает от пытливого внимания ребенка; неизгладимо врезывается в душу картина домашнего быта; напитывается мягкий ум живыми примерами и бессознательно чертит программу своей жизни по жизни его окружающей.

Нельзя сказать, что утро пропадало даром в доме Обломовых. Стук ножей, рубивших котлеты и зелень в кухне, долетал даже до деревни.

Из людской слышалось шипенье веретена, да тихий, тоненький голос бабы: трудно было распознать, плачет ли она, или импровизирует заунывную песню без слов.

На дворе, как только Антип воротился с бочкой, из разных углов поползли к ней с ведрами, корытами и кувшинами бабы, кучера.

А там, старуха пронесет из амбара в кухню чашку с мукой да кучу яиц; там повар вдруг выплеснет воду из окошка и обольет Арапку, которая целое утро, не сводя глаз, смотрит в окно, ласково виляя хвостом и облизываясь.

Сам Обломов — старик тоже не без занятий. Он целое утро сидит у окна и неукоснительно наблюдает за всем, что делается на дворе.

— Эй, Игнашка! Что несешь, дурак? — спросит он идущего по двору человека.

— Несу ножи точить в людскую, — отвечает тот, не взглянув на барина.

— Ну, неси, неси; да хорошенько, смотри, наточи!

Потом остановит бабу:

— Эй, баба! Баба! Куда ходила?

— В погреб, батюшка, — говорила она, останавливаясь, и, прикрыв глаза рукой, глядела на окно, — молока к столу достать.

— Ну, иди, иди! — отвечал барин. — Да смотри, не пролей молоко-то! — А ты, Захарка, постреленок, куда опять бежишь? — кричал потом. — Вот я тебе дам бегать! Уж я вижу, что ты это в третий раз бежишь. Пошел назад в прихожую!

И Захарка шел опять дремать в прихожую.

Придут ли коровы с поля, старик первый позаботится чтоб их напоили; завидит ли из окна, что дворняжка преследует курицу, тотчас примет строгие меры против беспорядков.

И жена его сильно занята: она часа три толкует с Аверкой, портным, как из мужниной фуфайки перешить Илюше курточку, сама рисует мелом и наблюдает, чтоб Аверка не украл сукна; потом перейдет в девичью, задаст каждой девке, сколько сплести в день кружев; потом позовет с собой Настасью Ивановну, или Степаниду Агаповну, или другую из своей свиты погулять по саду с практической целью: посмотреть, как наливается яблоко, не упало ли вчерашнее, которое уже созрело; там привить, там подрезать и т. п.

Но главной заботой была кухня и обед. Об обеде совещались целым домом, и престарелая тетка приглашалась к совету. Всякий предлагал свое блюдо: кто суп с потрошами, кто лапшу или желудок, кто рубцы, кто красную, кто белую подливку к соусу.

Всякий совет принимался в соображение, обсуживался обстоятельно и потом принимался или отвергался по окончательному приговору хозяйки.

На кухню посыпались беспрестанно то Настасья Петровна, то Степанида Ивановна, напомнить о том, прибавить это, или отменить то, отнести сахару, меду, вина для кушанья, и посмотреть, все ли положит повар, что отпущено.

Забота о пище была первая и главная жизненная забота в Обломовке. Какие телята утчнялись там к годовым праздникам! Какая птица воспитывалась! Сколько тонких соображений, сколько занятий и забот в ухаживании за ней! Индейки и цыплята, назначаемые к именинам и другим торжественным дням, откармливались орехами; гусей лишали мочиона, заставляли висеть в мешке неподвижно за несколько дней до праздника, чтоб они заплыли жиром. Какие запасы были там варений, солений, печений! Какие меды, какие квасы варились, какие пироги пеклись в Обломовке!

И так до полудня все суетилось и заботилось, все жило такой полной, муравьиной, такой заметной жизнью.

В воскресенье и в праздничные дни тоже не унимались эти трудолюбивые муравьи: тогда стук ножей на кухне раздавался чаще и сильнее; баба совершила несколько раз путешествие из амбара в кухню с двойным количеством муки, яиц; на птичьем дворе было более стонов и кровопролития. Пекли исполинский пирог, который сами господа ели еще на другой день; на третий и четвертый день остатки поступали в девичью; пирог доживал до пятницы,

так что один совсем черствый конец, без всякой начинки, доставался, в виде особой милости, Антипу, который, перекрестясь, с треском неустранимо разрушал эту любопытную окаменелость, наслаждаясь более сознанием, что это господский пирог, нежели самым пирогом, как археолог, с наслаждением пьющий дрянное вино из черепка какой-нибудь тысячелетней посуды.

А ребенок все смотрел и все наблюдал своим детским ничего не пропускающим умом. Он видел, как, после полдня и хлопотливо проведенного утра, наставал полдень и обед.

Полдень знойный; на небе ни облачка. Солнце стоит неподвижно над головой и жжет траву. Воздух перестал струиться и висит без движения. Ни дерево, ни вода не шелохнутся; над деревней и полем лежит невозмутимая тишина — все как-будто вымерло. Звонко и далеко раздается человеческий голос в пустоте. В двадцати саженях слышно, как пролетит и прожужжит жук, да в густой траве кто-то все хранил, как-будто кто-нибудь завалился туда и спит сладким сном.

И в доме воцарилась мертвая тишина. Наступил час всеобщего послеобеденного сна.

Ребенок видит, что и отец, и мать, и старая тетка, и свита — все разбрелись по своим углам, а у кого не было его, тот шел на сеновал, другой в сад, третий искал прохлады в сенях, а иной, прикрыв лицо платком от мух, засыпал там, где сморила его жара и повалил громоздкий обед. И садовник растянулся под кустом, в саду, подле своей пашни, и кучер спал на конюшне.

Илья Ильич заглянул в людскую: в людской все легли в повалку, по лавкам, по полу и в сенях, предоставив ребятишек самим себе; ребятишки ползают по двору и роются в песке. И собаки далеко залезли в конуры, благо не на кого было лаять.

Можно было пройти по всему дому насквозь и не встретить ни души; легко было обокрасть все кругом и свести со двора на подводах: никто не помешал бы, еслиб только водились воры в том краю.

Это был какой-то всепоглощающий, ничем непобедимый сон, истинное подобие смерти. Все мертвое; только из всех углов несется разнообразное хранилье на все тоны и лады.

Изредка кто-нибудь вдруг поднимет со сна голову, посмотрит бессмысленно, с удивлением, на обе стороны и перевернется на другой бок, или, не открывая глаз, плюнет спросонья и, почавкав губами, или поворчав что-то под нос себе, опять заснет.

А другой быстро, без всяких предварительных приготовлений, вскочит обеими ногами с своего ложа, как-будто

боясь потерять драгоценные минуты, схватит кружку с квасом и, подув на плавающих там мух, так, чтоб их отнесло к другому краю, отчего мухи, до тех пор неподвижные, сильно начинают шевелиться, в надежде на улучшение своего положения, промочит горло и потом падет опять на постель, как подстреленный.

А ребенок все наблюдал да наблюдал.

Он с няней после обеда опять выходил на воздух. Но и няня, несмотря на всю строгость наказов барыни и на свою собственную волю, не могла противиться обаянию сна. Она тоже заражалась этой господствовавшей в Обломовке повальной болезнью.

Сначала она бодро смотрела за ребенком, не пускала далеко от себя, строго ворчала за ревность, потом, чувствуя симптомы приближавшейся заразы, начинала упрашивать не ходить за ворота, не затрогивать козла, не лазить на голубятню или галлерею.

Сама она усаживалась где-нибудь в холодке: на крыльце, на пороге погреба, или просто на травке, повидимому, с тем, чтобы взять чулок и смотреть за ребенком. Но вскоре она лениво унимала его, кивая головой.

„Влезет, ах, того и гляди, влезет эта юла на галлерею“, думала она почти сквозь сон: „или еще... как бы в овраг“...

Тут голова старухи клонилась к коленям, чулок выпадал из рук, она теряла из виду ребенка и, открыв немножко рот, испускала легкое храпенье.

А он с нетерпением дожидался этого мгновения, с которым начиналась его самостоятельная жизнь.

Он был как-будто один в целом мире; он на цыпочках убегал от няни, осматривал всех, кто где спит: остановится и осмотрит пристально, как кто очнется, плюнет и промычит что-то во сне; потом с замирающим сердцем взбегал на галлерею, обегал по скрипучим доскам кругом, лазил на голубятню, забирался в глушь сада, слушал, как жужжит жук, и далеко следил глазами его полет в воздухе; прислушивался, как кто-то все стрекочет в траве, искал и ловил нарушителей этой тишины; поймает стрекозу, оторвет ей крылья и смотрит, что из нее будет, или проткнет сквозь нее соломинку и следит, как она летает с этим прибавлением; с наслаждением, боясь дохнуть, наблюдает за пауком, как он сосет кровь пойманной мухи, как бедная жертва бьется и жужжит у него в лапах. Ребенок кончит тем, что убьет и жертву и мучителя.

Потом он заберется в канаву, роется, отыскивает какие-то корешки, очищает от коры и ест всласть, предпочитая яблокам и варенью, которые дает маменька.

Он выбежит и за ворота: ему бы хотелось в березняк; он так близко кажется ему, что вот он в пять минут

добрался бы до него, не кругом, по дороге, а прямо, через канаву, плетни и ямы; но он боится: там, говорят, и лешие, и разбойники, и страшные звери.

Хочется ему и в овраг сбегать: он всего саженях в пятидесяти от сада; ребенок уж прибегал к краю, зажмурил глаза, хотел заглянуть, как в кратер вулкана... но вдруг перед ним восстали все толки и предания об этом овраге: его объял ужас, и он, ни жив, ни мертв, мчится назад и, дрожа от страха, бросился к няньке и разбудил старуху.

Она вспрянула от сна, поправила платок на голове, подобрала под него пальцем клочки седых волос и, притворяясь, что будто не спала совсем, подозрительно поглядывает на Илюшу, потом на барские окна, и начинает дрожащими пальцами тыкать одну в другую спицы чулка, лежавшего у нее на коленях.

Между тем, жара начала понемногу спадать; в природе стало все поживее; солнце уже подвинулось к лесу.

И в доме мало-малу нарушалась тишина: в одном углу где-то скрипнула дверь; послышались по двору чьи-то шаги; на сеновале кто-то чихнул.

Вскоре из кухни торопливо пронес человек, нагибаясь от тяжести, огромный самовар. Начали собираться к чаю: у кого лицо измято и глаза заплыли слезами; тот належал себе красное пятно на щеке и висках; третий говорит со сна не своим голосом. Все это сопит, охает, зевает, почесывает голову и разминается, едва приходя в себя.

Обед и сон рождали неутолимую жажду. Жажда палит горло; выпивается чашек по двенадцати чаю, но это не помогает: слышится оханье, стенанье; прибегают к брусничной, к грушевой воде, к квасу, а иные и к врачебному пособию, чтоб только залить засуху в горле.

Все искали освобождения от жажды, как от какого-нибудь наказания господня; все мечутся, все томятся, точно караван путешественников в аравийской степи, не находящий нигде ключа воды.

Ребенок тут, подле маменьки: он вглядывается в странные окружающие его лица, вслушивается в их сонный и вялый разговор. Весело ему смотреть на них, любопытен кажется ему всякий сказанный ими вздор.

После чая все займутся чем-нибудь: кто пойдет к речке и тихо бродит по берегу, толкая ногой камешки в воду; другой сядет к окну и ловит глазами каждое мимолетное явление: пробежит ли кошка по двору, пролетит ли галка, наблюдатель и ту и другую преследует взглядом и кончиком своего носа, поворачивая голову то направо, то налево. Так иногда собаки любят сидеть по целым дням на окне, подставляя голову под солнышко и тщательно оглядывая всякого прохожего.

Мать возьмет голову Илюши положит к себе на колени и медленно расчесывает ему волосы, любуясь мягкостью их и заставляя любоваться и Настасью Ивановну, и Степаниду Тихоновну, и разговаривает с ними о будущности Илюши, ставит его героем какой-нибудь созданной ею блестательной эпопеи. Те суют ей золотые горы.

Но вот начинает смеркаться. На кухне опять трещит огонь, опять раздается дробный стук ножей: готовится ужин.

Дворня собралась у ворот: там слышится балалайка, хохот. Люди играют в горелки.

А солнце уж опускалось за лес; оно бросало несколько чуть-чуть теплых лучей, которые прорезывались огненной полосой через весь лес, ярко обливая золотом верхушки сосен. Потом лучи гасли один за другим; последний луч оставался долго; он, как тонкая игла, вонзился в чащу ветвей, но и тот потух.

Предметы теряли свою форму; все сливалось сначала в серую, потом в темную массу. Пение птиц постепенно ослабевало; вскоре они совсем замолкли, кроме одной какой-то упрямой, которая, будто наперекор всем, среди общей тишины, одна монотонно чирикала с промежутками, но все реже и реже, и та, наконец, свистнула слабо, незвучно, в последний раз, встрепенулась, слегка пошевелив листья вокруг себя... и заснула.

Все смолкло. Одни кузнецы взапуски трещали сильнее. Из земли поднялись белые пары и разостлались по лугу и по реке. Река тоже присмирила; немного погодя и в ней вдруг кто-то плеснул еще в последний раз, и она стала неподвижна.

Запахло сыростью. Ставилось все темнее и темнее. Деревья сгруппировались в каких-то чудовищ; в лесу стало страшно: там кто-то вдруг заскрипит, точно одно из чудовищ переходит с своего места на другое, и сухой сучок, кажется, хрустит под его ногой.

На небе ярко сверкнула, как живой глаз, первая звездочка, и в окнах дома замелькали огоньки.

— Пойдем, мама, гулять,—говорит Илюша.

— Что ты, бог с тобой! Теперь гулять,—отвечает она,— сырь, ножки простудишь, и страшно: в лесу теперь леший ходит, он уносит маленьких детей.

— Куда он уносит? Какой он бывает? Где живет?—спрашивает ребенок.

И мать давала волю своей необузданной фантазии.

Ребенок слушал ее, открывая и закрывая глаза, пока, наконец, сон не сморит его совсем. Приходила нянька и, взяв его с коленей матери, уносила сонного, с повисшей через ее плечо головой, в постель.

— Вот день-то и прошел, и слава богу! — говорили обломовцы, ложась в постель, кряхтя и осеняя себя крестным знамением. — Прожили благополучно; дай бог и завтра так! Слава тебе, господи! слава тебе, господи!

Потом Обломову приснилась другая пора: он в бесконечный зимний вечер робко жмется к няне, а она нашептывает ему о какой-то неведомой стороне, где нет ни ночей, ни холода, где все совершаются чудеса, где текут реки меду и молока, где никто ничего круглый год не делает, а день-деньской только и знают, что гуляют все добрые молодцы, такие, как Илья Ильич, да красавицы, что ни в сказке сказать, ни пером описать.

Там есть и добрая волшебница, являющаяся у нас иногда в виде щуки, которая изберет себе какого-нибудь любимца, тихого, безобидного, другими словами, какого-нибудь лентяя, которого все обижают, да и осыпает его, ни с того, ни с сего, разным добром, а он знай кушает себе да наряжается в готовое платье, а потом женится на какой-нибудь неслыханной красавице Милитрисе Кирбитьевне.

Ребенок, навострив уши и глаза, страстно впивался в рассказ.

Нянька или предание так искусно избегали в рассказе всего, что существует на самом деле, что воображение и ум, проникшись вымыслом, оставались уже у него в рабстве до старости. Нянька с добродушием повествовала сказку о Емеле-дурячке, эту злую и коварную сатири на наших предков, а, может быть, еще и на нас самих.

Взрослый Илья Ильич хотя после и знает, что нет медовых и молочных рек, нет добрых волшебниц, хотя и шутит он с улыбкой над сказаниями няни, но улыбка эта не искренняя, она сопровождается тайным вздохом: сказка у него смешалась с жизнью, и он бессознательно грустит подчас, зачем сказка не жизнь, а жизнь не сказка.

Он невольно мечтает о Милитрисе Кирбитьевне; его все тянет в ту сторону, где только и знают, что гуляют, где нет забот и печалей; у него навсегда остается расположение полежать на печи, походить в готовом, незаработанном платье и поесть насчет доброй волшебницы.

Слушая от няни сказки о *Жар-Птице*, о преградах и тайниках волшебного замка, мальчик то бодрился, воображая себя героем подвига — и мурашки бегали у него по спине, то страдал за неудачи храбреца.

Рассказ лился за рассказом. Няня повествовала с пылом, живописно, с увлечением, местами вдохновенно, потому что сама вполовину верила рассказам. Глаза старухи искрились огнем; голова дрожала от волнения; голос возвышался до непривычных нот.

Ребенок, объятый неведомым ужасом, жался к ней со слезами на глазах.

Заходила ли речь о мертвецах, поднимающихся в полночь из могил, или о жертвах, томящихся в неволе у чудовища, или о медведе с деревянной ногой, который идет по селам и деревням отыскивать отрубленную у него натуральную ногу — волосы ребенка трещали на голове от ужаса; детское воображение то застыпало, то кипело; он испытывал мучительный, сладко-болезненный процесс; нервы напрягались, как струны.

Когда нянька мрачно повторяла слова медведя: „Скрипи, скрипи, нога липовая; я по селам шел, по деревне шел, все бабы спят, одна баба не спит, на моей шкуре сидит, мое мясо варит, мою шерстку прядет” и т. д.; когда медведь входил, наконец, в избу и готовился схватить похитителя своей ноги, ребенок не выдерживал: он с трепетом и визгом бросался на руки к няне; у него брызгут слезы испуга, и вместе хохочет он от радости, что он не в когтях у зверя, а на лежанке, подле няни.

Населилось воображение мальчика странными призраками; боязнь и тоска засели надолго, может быть, навсегда в душу. Он печально озирается вокруг и все видит в жизни вред, беду, все мечтает о той волшебной стороне, где нет зла, хлопот, печалей, где живет Милитриса Кирбитьевна, где так хорошо кормят и одевают даром...

Сказка не над одними детьми в Обломовке, но и над взрослыми до конца жизни сохраняет свою власть. Все в доме и в деревне, начиная от барина, жены его и до дюжего кузнеца Тараса — все трепещут чего-то в темный вечер: всякое дерево превращается тогда в великан, всякий куст — в вертеп разбойников.

Стук ставни и завыванье ветра в трубе заставляли бледнеть и мужчин, и женщин, и детей. Никто в Крещенье не выйдет после десяти часов вечера один за ворота; всякий в ночь на Пасху побоится итти в конюшню, опасаясь застать там домового.

В Обломовке верили всему: и оборотням, и мертвецам. Расскажут ли им, что копна сена разгуливала по полю — они не задумаются и поверят; пропустит ли кто-нибудь слух, что вот это не баран, а что-то другое; или, что такая-то Марфа или Степанида — ведьма, они будут бояться и барана, и Марфы; им и в голову не придет спросить, отчего баран стал не бараном, а Марфа сделалась ведьмой, да еще накинутся и на того, кто бы вздумал усомниться в этом — так сильна вера в чудесное в Обломовке!

Илья Ильич и увидит после, что просто устроен мир, что не встают мертвецы из могил, что великанов, как только они заведутся, тотчас сажают в балаган, а разбойников — в тюрьму; но если пропадает самая вера в призраки, то остается какой-то осадок страха и безотчетной тоски.

Узнал Илья Ильич, что нет бед от чудовищ, а какие есть—едва знает, и на каждом шагу все ждет чего-то страшного и боится. И теперь еще, оставшись в темной комнате, или увидя покойника, он трепещет от зловещей, в детстве зароненной в душу, тоски; смеясь над страхами своими поутру, он опять бледнеет вечером.

Далее, Илья Ильич вдруг увидел себя мальчиком лет тринацати или четырнадцати.

Он уж учился в селе Верхлёве, верстах в пяти от Обломовки, у тамошнего управляющего, немца Штольца, который завел небольшой пансион для детей окрестных дворян.

У него был свой сын, Андрей, почти одних лет с Обломовым, да еще отдали ему одного мальчика, который почти никогда не учился, а больше страдал золотухой, все детство проходил постоянно с завязанными глазами или ушами, да плакал все втихомолку о том, что живет не у бабушки, а в чужом доме, среди злодеев, что, вот, его и приласкатель некому, и никто любимого пирожка не испечет ему.

Кроме этих детей, других еще в пансионе пока не было.

Нечего делать, отец и мать посадили баловника Илюшу за книгу. Это стоило слез, воплей, капризов. Наконец, отвезли.

Немец был человек дельный и строгий, как почти все немцы. Может быть, у него Илюша и успел бы выучиться чему-нибудь хорошенько, если б Обломовка была верстах в пятистах от Верхлёва. А то как выучиться? Обаяние обломовской атмосферы, образа жизни и привычек простирилось и на Верхлёво; ведь, оно тоже было некогда Обломовкой; там, кроме дома Штольца, все дышало тою же первобытною ленью, простотою нравов, тишиной и неподвижностью...

А бедный Илюша ездит да ездит учиться к Штольцу. Как только он проснется в понедельник, на него уж нападает тоска. Он слышит резкий голос Васьки, который кричит с крыльца:

— Антипка! Закладывай пегую: барчонка к немцу везти!

Сердце дрогнет у него. Он печальный приходит к матери. Та знает, отчего, и начинает золотить пилилю, втайне вздыхая сама о разлуке с ним на целую неделю.

Не знают чем и накормить его в то утро, напекут ему булочек и крендельков, отпустят с ним соленья, печенья, варенья, пастил разных и других всяких сухих и мокрых лакомств, и даже съестных припасов. Все это отпускалось в тех видах, что у немца нежирно кормят.

— Там не разъешься,—говорили обломовцы,—обедать-то дадут супу, да жаркого, да картофелю, к чаю масла, а ужинать-то морген фри—нос утри.

Впрочем, Илье Ильичу снятся больше такие понедельники, когда он не слышит голоса Васьки, приказывающего закладывать пегашку, и когда мать встречает его за чаем с улыбкой и с приятною новостью:

— Сегодня не поедешь; в четверг большой праздник: стоит ли ездить взад и вперед на три дня.

Или иногда вдруг объявит ему, что сегодня родительская неделя: — не до ученья: блины будем печь.

А не то, так мать посмотрит утром в понедельник пристально на него, да и скажет:

— Что-то у тебя глаза несвежи сегодня. Здоров ли ты? — и покачает головой.

Лукавый мальчишка здоровехонек, но молчит.

— Посиди-ка ты эту недельку дома, — скажет она, — а там — что бог даст.

И все в доме были проникнуты убеждением, что ученье и родительская суббота никак не должны совпадать вместе, или что праздник в четверг — неодолимая преграда к ученью во всю неделю.

Разве только иногда слуга или девка, которым достанется за барчонка, проворчат:

— У, баловень! Скоро ли провалишься к своему немцу?

В другой раз вдруг к немцу Антипка явится на знакомой пегашке среди или в начале недели за Ильей Ильичем.

— Приехала, дескать, Марья Савишина или Наталья Фадеевна гостить, или Кузовковы со своими детьми, так пожалуйте домой!

И недели три Ильюша гостит дома, а там, смотришь, до Страстной недели уж недалеко, а там и праздники, а там кто-нибудь в семействе почему-то решит, что на Фоминой неделе не учатся; до лета остается недели две — не стоит ездить, а летом и сам немец отдыхает, так уж лучше до осени отложить.

Посмотришь, Илья Ильич и отгуляется в полгода, и как вырастет он в это время! Как потолстеет! Как спит славно! Не налюбуются на него в доме, замечая, напротив, что, возвращаясь в субботу от немца, ребенок худ и бледен.

— Долго ли до греха? — говорили отец и мать. — Ученье-то не уйдет, а здоровья не купишь; здоровье дороже всего в жизни. Вишь, он из ученья как из больницы воротится: жирок весь пропадает, жиденький такой... да и шалун: все бы ему бегать!

— Да, — заметит отец, — ученье-то не свой брат: хоть кого в бараний рог свернет!

И нежные родители продолжали приискивать предлоги удерживать сына дома. За предлогами, и кроме праздников, дело не ставало. Зимой казалось им холодно, летом по жаре

тоже не годится ехать, а иногда и дождь пойдет, осенью слякоть мешает. Иногда Антипка что-то сомнителен покажется: пьян, не пьян, а как-то дико смотрит: беды бы не было, завязнет, или оборвется где-нибудь.

Обломовы старались, впрочем, придать как можно более законности этим предлогам в своих собственных глазах и особенно в глазах Штольца, который не щадил, и в глаза и за глаза, доннерверттеров за такое баловство.

Времена Простаковых и Скотининых миновались давно. Пословица: ученье свет, а неученье тьма, бродила уже по селам и деревням вместе с книгами, развозимыми букинистами.

Старики понимали выгоду просвещения, но только внешнюю его выгоду. О внутренней потребности ученья они имели еще смутное и отдаленное понятие, и оттого им хотелось уловить для своего Илюши пока некоторые блестящие преимущества.

Они мечтали и о шитом мундире для него, воображали его советником в палате, а мать даже губернатором; но всего этого хотелось бы им достигнуть как-нибудь подешевле, с разными хитростями, обойти тайком разбросанные по пути просвещения и честей камни и преграды, не трудясь перескакивать через них, то-есть, например, учиться слегка, не до изнурения души и тела, не до утраты благословленной, в детстве приобретенной полноты, а так, чтоб только соблюсти предписанную форму и добыть как-нибудь аттестат, в котором бы сказано было, что Илюша прошел все науки и искусства.

Вся эта обломовская система воспитания встретила сильную оппозицию в системе Штольца. Борьба была с обеих сторон упорная. Штольц прямо, открыто и настойчиво поражал соперников, а они уклонялись от ударов вышесказанными и другими хитростями.

Победа не решалась никак; может быть, немецкая настойчивость и преодолела бы упрямство и закоснелость обломовцев, но немец встретил затруднения на своей собственной стороне, и победе не суждено было решиться ни на ту, ни на другую сторону. Дело в том, что сын Штольца баловал Обломова, то подсказывая ему уроки, то делая за него переводы.

Илье Ильичу ясно видится и домашний быт его, и житье у Штольца.

Он только-что проснется у себя дома, как у постели его уже стоит Захарка, впоследствии знаменитый камердинер его Захар Трофимыч.

Захар, как, бывало, нянька, натягивает ему чулки, надевает башмаки, а Илюша, уже четырнадцатилетний мальчик, только и знает, что подставляет ему, лежа, то ту, то другую

ногу; а чуть-что покажется ему не так, то он поддаст Захарке ногой в нос.

Если недовольный Захарка вздумает пожаловаться, то получит еще от старших колотушку.

Потом Захарка чешет голову, натягивает куртку, осторожно продевая руки Ильи Ильича в рукава, чтобы не слишком беспокоить его, и напоминает Илье Ильичу, что надо сделать то, другое: вставши по утру, умыться и т. п.

Захочет ли чего-нибудь Илья Ильич, ему стоит только мигнуть — уж трое-четверо слуг кидаются исполнять его желание; уронит ли он что-нибудь, достать ли ему нужно вещь, да не достанет, принести ли что, сбегать ли за чем: ему иногда, как резвому мальчику, так и хочется броситься и переделать все самому, а тут вдруг отец и мать, да три тетки в пять голосов и закричат:

— Зачем? Куда? А Васька, а Ванька, а Захарка на что? Эй! Васька! Ванька! Захарка! Чего вы смотрите, разини? Вот я вас!..

И не удастся никак Илье Ильичу сделать что-нибудь самому для себя.

После он нашел, что оно и покойнее гораздо, и сам выучился покрикивать:

— Эй, Васька! Ванька! подай то, дай другое! Не хочу того, хочу этого! Сбегай, принеси!

Подчас нежная заботливость родителей и надоедала ему.

Побежит ли он с лестницы, или по двору, вдруг вслед ему раздастся в десять отчаянных голосов: — Ах, ах! Поддержите, остановите! Упадет, расшибется... стой, стой!

Задумает ли он выскочить зимой в сени, или отворить форточку — опять крики: — Ай, куда? Как можно? Не бегай, не ходи, не отворяй: убьешься, простудишься...

И Илюша с печалью оставался дома, лелеемый, как экзотический цветок в теплице, и так же, как последний под стеклом, он рос медленно и вяло. Ищущие проявления силы обращались внутрь и никли, увядая.

А иногда он проснется такой бодрый, свежий, веселый; он чувствует: в нем играет что-то, кипит, точно поселился бесенок какой-нибудь, который так и поддразнивает его, то влезть на крышу, то сесть на савраску да поскакать в луга, где сено косят, или посидеть на заборе верхом, или подразнить деревенских собак; или вдруг захочется пуститься бегом по деревне, потом в поле, по буеракам, в березняк, да в три скачка броситься на дно оврага, или увязаться за мальчишками играть в снежки, попробовать свои силы.

Бесенок так и подмывает его: он крепится, крепится, наконец, не вытерпит, и вдруг, без картуза, зимой, прыг с крыльца на двор, оттуда за ворота, захватил в обе руки по кому снега и мчится к куче мальчишек.

Свежий ветер так и режет ему лицо, за уши щиплет мороз, в рот и горло пахнуло холодом, а грудь охватило радостью — он мчится, откуда ноги взялись, сам и визжит и хохочет.

Вот и мальчишки: он бац снегом — мимо: сноровки нет; только хотел захватить еще снежку, как все лицо залепила ему целая глыба снегу: он упал; и больно ему с непривычки, и весело, и хохочет он, и слезы у него на глазах...

А в доме гвалт: — Илюши нет! Крик, шум. На двор выскочил Захарка, за ним Васька, Митька, Ванька — все бегут, растерянные, по двору.

За ними кинулись, хватая их за пятки, две собаки, которые, как известно, не могут равнодушно видеть бегущего человека.

Люди с криками, с воплями, собаки с лаем, мчатся по деревне.

Наконец, набежали на мальчишку и начали чинить правосудие: кого за волосы, кого за уши, иному подзатыльника; пригрозили и отцам их.

Потом уже овладели барчонком, окутали его в захваченный тулуп, потом в отцовскую шубу, потом в два одеяла, и торжественно принесли на руках домой.

Дома отчаялись уже видеть его, считая погибшим; но при виде его, живого и невредимого, радость родителей была неописанна. Возблагодарили господа бога, потом напоили его мяты, там бузиной, к вечеру еще малиной и продержали дня три в постели, а ему бы одно могло быть полезно: опять играть в снежки...

И. А. Гончаров.

1. Какова природа в Обломовке (небо, солнце, горы, река)?
2. Какова жизнь крестьян-обитателей этого края?
3. Что хочет сказать автор описанием избы Онисима Суслова?
4. Выберите выражения, которые отмечают самые характерные черты природы и людской жизни в Обломовке.
5. Как проводят летний день в барской усадьбе Обломовых?
6. В чем их главная жизненная забота?
7. Проследите события дня в жизни Илюши.
8. Соберите все черты, говорящие о его природной любознательности, живости, самодеятельности.
9. Могли-ли получить развитие эти черты в обстановке Обломовской жизни?
10. Как понять выражение:... „неизгладимо врезывается в душу картина домашнего быта; напитывается мягкий ум живыми примерами и бессознательно чертит программу своей жизни по жизни, его окружающей“.— Выпишите цитаты, говорящие о влиянии на мальчика окружающей его жизни (среды).
11. Как влияли нянинь сказки, и чем они отразились на последующей жизни Ильи Ильича.

12. Что мешало Илюше учиться у Штольца?
13. Отметьте черты крепостничества в домашнем быту и во всем строе жизни Обломовки.

Прочтите I гл. первой части романа „Обломов“ и ответьте на следующие четыре вопроса:

1. Каким стал Илюша в тридцатилетнем возрасте? Что говорят нам о характере Ильи Ильича его наружность, костюм, обстановка и все поведение в этой сцене?
2. Чем Захар похож на своего барина?
3. Как понять восклицание Обломова: „Трогает жизнь, везде достает!“
4. Припомните детские годы Илюши и укажите все черты, которые унаследовал Илья Ильич от своей Обломовки.

1. Сравните Илью Обломова с Сашей (в поэме Некрасова).
2. Сравните его с Мишой из повести „Ташкент—город хлебный“.
3. Сравните жизнь Обломовской усадьбы и жизнь старосветских помещиков (Гоголя).

4. Прочтите басню Крылова „Пруд и река“, примените ее к Илье Обломову и Мише.

5. Выделите самые характерные черты в жизни Обломовки и Обломовцев (приведите цитаты).

6. Что являлось главной причиной „обломовщины“?
7. Сохранилась ли обломовщина до наших дней?
8. Как понять слова В. И. Ленина: „Был такой тип в русской жизни — Обломов, который все лежал на диване и создавал планы. С тех пор прошло много времени. Россия проделала три революции, а все же Обломов остался, так как это был не только помещик, но и крестьянин, но и интеллигент, и рабочий, и коммунист“.

1. Какие сценки из „Сна Обломова“ можно бы зарисовать (в каком виде вы их себе представляете)?

2. Обратите внимание на отрывок, где рисуется „самостоятельная жизнь“ Илюши, — какая часть речи здесь преобладает и почему?
3. Почему так много восклицательных знаков на стр. 132?
4. Возьмите картину засыпания природы (от слов: „А солнце“ и кончая словами: „... стала неподвижна“), разделите на части и проследите параллелизм в построении этих частей.

5. Как узнаем мы о внутреннем мире Илюши — по его собственным действиям и словам или от автора?

6. Как течет речь автора — быстро, стремительно, торопливо или медленно, ровно, гладко?

7. В каком отношении находится этот характер речи к предмету изображения?

8. Сравните речь Гончарова с речью Неверова в пов. „Ташкент — город хлебный“, объясните разницу.

Прочтите „День в помещичьей усадьбе“ М. Е. Салтыкова.
(Из Пощеконской старины).

1. Как протекает рабочий день А. И. Затрапезной?
2. Справедливы ли ее слова: „все-то живут в покое да в холе, одна она целый день как в котле кипит“...
3. Каково живется крепостным девушкам (когда начинается их рабочий день, как барыня спрашивает работу, как кормят работниц, как расправляется с провинившимся)?
4. Почему А. П. так жестоко поступила с беглым солдатом?
5. Откуда смелость Кириши и почему барыня его побаивается?
6. Рассмотрите обращение А. П. с ее детьми.
7. Как относятся дети к поступкам матери с крестьянами?
8. Что делает в течение дня В. П. Затрапезный?
9. Соберите все черты „крепостной страды“.
10. Попробуйте представить себе, как эта „страда“ может еще усилиться зимой?
11. Сравните день в усадьбе Обломовых и Затрапезных.

Пруд и Река.

„Что это“, говорил Реке соседний Пруд: —
„как на тебя ни взглянешь,
а воды все твои текут!

Неужли-таки ты, сестрица, не устанешь?
При том же, вижу я почти всегда,
то с грузом тяжкие суда,
то долговязые плоты ты носишь;
уж я не говорю про лодки, челноки —
им счету нет! Когда такую жизнь ты бросишь?
Я, право, высох бы с тоски.

В сравнении с твоим как жребий мой приятен!
Конечно, я не знатен,
по карте не тянусь я через целый лист,
мне не бренчит похвал какой нибудь гуслист:
да это, право, все пустое!

Зато я в илистых и мягких берегах,
как барыня в пуховиках,
лежу и в неге, и в покое;
не только что судов
или плотов,
мне здесь не для чего страшиться,
не знаю даже я, каков тяжел челнок;
и много, ежели случится,
что по воде моей чуть зыблется листок,
когда его ко мне забросит ветерок.

Что беззаботную заменит жизнь такую?

За ветрами со всех сторон,
не движась, я смотрю на суету мирскую,
и философствую сквозь сон".

— А, философствуя, ты помнишь ли закон",

Река на это отвечает:
„Что свежесть лишь вода движеньем сохраняет?

И если стала я великою рекой,
так это оттого, что, кинувши покой,
последую сему уставу;

зато по всякий год,
обилием и чистотою вод
и пользу приношу, и в честь вхожу и в славу,
и буду, может-быть, еще я веки течь,
когда уже тебя не будет и в помине,
и о тебе совсем исчезнет речь".

Слова ее сбылись: она течет поныне:

а бедный Пруд год-от-году все глох,
заволочен весь тиною глубокой,
зацвел, зарос осокой
и, наконец, совсем иссох.

И. Крылов.

Крепостные песни.

І.

Уж мы сядем, посидем,
Посидим же мы, ребята,
До самого вечера,
Споем песни мы, ребята,
Да про наше про житье,
Да про горюшко свое:
Что в неволе все живем,
Крепостными век слывем.
Как и наши господа
Все немилостивые,
Нерассудливые:
На работу посылают,
Куском хлеба попрекают,
А крестьяне завидуют
Что дворовому житью:
Он и пашеньки не пашет,
Сохи в руки не берет,
В оброк денег не кладет...
Ах, вы, глупые крестьяне,

Поживите-ка с нами!
Уж и нет хуже на свете,
Как дворового житье:
Куда крикнут — беги скоро,
Чтобы дело было споро.
Обернулся назад,
А мне палкою грозят!
У нас завтра, братцы, праздник,
Надо нам погулять.
Погуляли молодцы,
Что до утра, до зари.
Пришли домой по утру,
Припас барин по кнуту!
Уж мы стали оправдаться,
А велят нам раздеваться;
Рубашечки скинем с плеч, —
Велит барин больно сечь.
„Ах ты, барская душа!
Али нет тебе суда?“

II.

* * *

Вы кудри-ль, мои кудри,
Хорошо-ль, кудри, расчесаны,
Как по плечикам лежат
И развийтись хотят,
Как завила, завила
Чужа дальня сторона,
Как плакала, тужила
Наша Обозерска слобода.
Наша Обозерска слобода,
Что нагуляться не дала.
Разорил нашу сторонку
Злодей боярин, господин,
Как повыбрал он, злодей,
Молодых наших ребят,
Молодых наших ребят
Во солдатушки,
А нас, красных девушек,

Во служаночки,
Молодых молодушек
Во кормилочки,
А матушек с батюшками
На работушку.
Собрались наши ребятушки
Что на круту горушку,
Отказали наши ребятушки
Своему боярину господинушке:
„Ты злодей, наш господин,
Мы тебе не солдатушки,
Красны девицы тебе
Не служаночки,
Молодые молодушки
Не кормилочки,
И батюшки с матушками
Не работнички“.

Д о л и н а.

(Дер. Супруновка, Воронежск. губ. Воронежского уезда).

Запев. Долина моя, долинушка,
Долинка да широкая.

Хор. Ах, да широкая!

Запев. Ах, да на этой на долинушке
Да ничто не родилось,

Хор. Ничто не родилось.

Запев. Ах как на этой на долинушке
Да вырос куст калинка,

Хор. Вырос куст калинка.

Запев. Ох, на этом на кусту да на калинке
Сухая макушка.

Хор. Сухая макушка.

Запев. Ах, как на этой на сухой да на макушке
Да сидит горькая кукушка.

Хор. Горькая кукушка.

Запев. Ах, не кукуй же ты, горькая кукушка:
Ах, да без тебя жить тошно.

Хор. Без тебя жить тошно.

Запев. Эх, как же нас да прусский царь
Загнал в ины земли.

Хор. Ах, да в ины земли.

Запев. Эх, поморил нас прусский царь
Голодною смертью.

Хор. Да голодною смертью.

Запев. Эх, да поморозил нас прусский царь
Да лютым морозом

Хор. Эх, лютым морозом.

Запевала — Марья Данильевна Петрова, еще молодая женщина, жизнь которой сложилась печально... Кроме тяжелых семейных условий, приходилось жить в большой бедности — „в избе небо через крышу видно“. Все ее песни звучали печально... Слова „Не кукуй же ты, горька кукушечка, без тебя жить тошно“ звучали особенно выразительно.

Песня „Долина“ служит ярким доказательством связи песни с жизнью. Вообще „Долина“ известна как песня речеркунская; в другом варианте, записанном в Новгородской губ., слова „прусский царь“ заменены выражением „белый царь“ и содержание песни относится повидимому к последней Турецкой войне (1877—78), когда солдатам русским пришлось вынести тяжкие лишения, которые характеризуются в песне словами: „поморил нас голодною смертью, поморозил лютым морозом“. Вариант же, записанный в Воронежской губ., относится к временам крепостного права и в нем изливается жалоба на тяжелую участь крепостных. Под именем прусского царя, как мне объяснили, подразумевается отец одного помещика, очень непопулярный в той местности, с фамилией, напоминающей слово „прусский“. Рассказывают, что при освобождении он наделил своих крестьян вместо земли болотом, в котором они голодали и мерзли.

Е. Линева (Великорусские песни. Изд. Акад. Наук).

Дедушка.

Дедушка древен годами,
Но еще бодр и красив;
Зубы у дедушки целы,
Поступь, осанка тверда,
Кудри пущисты и белы,
Как серебро борода;
Строен, высокого роста,
Но как младенец глядит,
Как-то апостольски-просто,
Ровно всегда говорит...

Выйдут на берег покатый
К русской великой реке —
Свищет кулик вороватый,
Тысячи лап на песке;
Барку ведут бечевою, —
Чу, бурлаков голоса!
Ровная гладь за рекою —
Нивы, покосы, леса.
Легкой прохладою дует
С медленных дремлющих вод...
Дедушка землю целует,

Плачет — и тихо поет...
„Дедушка! что ты роняешь
Крупные слезы, как град?..“
— Выростешь, Саша, узнаешь!
Ты не печалься — я рад...

Озими пышному всходу,
Каждому цветику рад,
Дедушка хвалит природу,
Гладит крестьянских ребят.
Первое дело у деда
Потолковать с мужиком —
Тянется долго беседа.
Дедушка скажет потом:
„Скоро вам будет не трудно,
Будете вольный народ!“
И улыбнется так чудно, —
Радостью весь расцветет,
Радость его разделяя,
Прыгало сердце у всех.
То-то улыбка святая!
То-то пленительный смех!

— Скоро дадут им свободу,
Внуку старик замечал:
— Только и нужно народу.
Чудо я, Саша, видал:
Горсточку русских сослали
В страшную глушь за раскол,
Волю да землю им дали;
Год незаметно прошел —
Едут туда комиссары,
Глядь — уж деревня стоит,
Риги, сараи, амбары!
В кузнице молот стучит,
Мельнице выстроят скоро.
Уж запаслись мужики
Зверем из темного бора,
Рыбой из вольной реки.
Вновь через год побывали, —
Новое чудо нашли:
Жители хлеб собирали
С прежде-бесплодной земли.
Дома одни лишь ребята
Да здоровенные псы,
Гуси кричат, поросята
Тычут в корыто носы...

— Так постепенно в полвека
Вырос огромный посад —
Воля и труд человека
Дивные дивы творят!
Все принялось, раздобрело!
Сколько там, Саша, свиней!
Перед селением бело
На полверсты от гусей!
Как там возделаны нивы.
Как там обильны стада!
Высокорослы, красивы
Жители, бодры всегда,
Видно, — ведется копейка!
Бабу там холит мужик:
В праздник на ней душегрейка,
Из соболей воротник!

— Дети до возраста в неге,
Конь — хоть сейчас на завод, —
В кованой, прочной телеге
Сотню пудов увезет...
Сыты там кони-то, сыты,
Каждый там сыто живет,
Тесом там избы-то крыты,
Ну, уж зато и народ!
Взросшие в нравах суровых,
Сами творят они суд,
Рекрутов ставят здоровых,
Трезво и честно живут,
Подати платят до срока,
Только ты им не мешай.
„Где ж та деревня?“ — Далеко,
Имя ей Тарбагатай,¹⁾
Страшная глушь, за Байкалом...
Так-то, голубчик ты мой!

¹⁾ Забайкалье, с. Тарбагатай или, по местному произношению Тарбатай, Верхнеудинского у. расположено на речках Куйтуне и Тарбагатайке, сливающихся у этого села. Посетивший недавно (в 1919 г.) это село ученик А. М. Селищев, несмотря на то, что село сильно пострадало от неурожая, неурядицы и в особенности от карательного отряда полковника Семенова, при виде его, невольно вспомнил стихи Некрасова „И теперь, говорит он, тут избы тесом покрыты и народ здоровый, „хрущкой“, как говорят сибиряки“...

Ты еще в возрасте малом,
Вспомнишь, как будешь боль-
шой...

— Ну... а покуда подумай,
То ли ты видишь кругом:
Вот он, наш пахарь угрюмый,
С темным, убитым лицом:
Лапти, лохмотья, шапченка,
Рваная сбруя; едва
Тянет косулю кляченка,
С голоду еле жива!
Голоден труженик вечный,
Голоден тоже, божусь!

— Эй! отдохни ка, сердечный!
Я за тебя потружусь! —
Глянул крестьянин с испугом,
Барину плуг уступил;
Дедушка долго за плугом,
Пот отирая, ходил;
Саша за ним торопился,
Не успевал догонять:
„Дедушка, где научился
Ты так отлично пахать?
Точно мужик, управляешь
Плугом, а был генерал!“
— Вырастешь, Саша, узнаешь,
Как я работником стал!

— Зрелище бедствий народных
Невыносимо, мой друг;
Счастье умов благородных —
Видеть довольство вокруг.
Нынче полегче народу:
Стих, притаился в тени
Барин, прослышиав свободу...
Ну, а как в наши-то дни!

Словно, как омут, усадьбу
Каждый мужик объезжал.
Помню ужасную свадьбу:
Поп уже кольца менял,
Да, на беду, помолиться
В церковь помещик зашел:
„Кто им позволил жениться?
Стой!“ и к попу подошел...
Остановилось венчанье!
С барином шутка плоха —
Отдал наглец приказанье
В рекруты сдать жениха,
В девицу — бедную Грушу!
И не перечил никто!..
Кто же имеющий душу
Мог это вынести?.. кто?..

— Впрочем, не то еще было!
И не одни господа, —
Сок из народа давила
Подых подъячих орда.
Что ни чиновник — стяжатель,
С целью добычи в поход
Вышел... а кто неприятель?
Войско, казна и народ!
Всем доставалось исправно.
Стачка, порука кругом:
Смелые грабили явно,
Трусы тащили тайком.
Непроницаемой ночи
Мрак над страною висел...
Видел — имеющий очи
И за отчизну болел.
Стоны рабов заглушая
Лестью да свистом бичей,
Хищников алчная стая
Гибель готовила ей...

Н. Некрасов.

- 1) Не знаете ли, за что и когда попал дедушка в Сибирь?
- 2) Где и как он научился крестьянской работе?
- 3) Какой доли желал он русской крепостной деревне?

Из записок декабриста А. Е. Розена.

От города Верхнеудинска мы свернули с большой дороги влево: через три перехода прибыли на дневку в обширное селение Тарбагатай, похожее с первого взгляда на хорошие села ярославские, приволжские, по наружному виду жителей и просторных домов.

Здесь и на протяжении пятидесяти верст кругом живут все Семейские: так поныне называются обитатели нескольких деревень, которых деды и отцы были сосланы в царствование Анны Ивановны в 1733 г. и Екатерины Великой в 1767 году за раскол; большей частью из Дорогобужа и из Гомеля. Им дозволено было продать все свое имущество движимое и переселиться в Сибирь с женами и детьми, отчего и получили наименование Семейных или Семейских. Прибыв за Байкал в Верхнеудинск, явились там комиссару, который от начальства имел повеление поселить их отдельно в пустопорожнем месте. Комиссар повел их в дремучий бор по течению реки Тарбагатай, позволил им самим выбрать и обстроиться как угодно, дав им четыре года льготы от платежей подушных податей. Каково было удивление этого чиновника, когда он посетил их через полтора года и увидел красиво выстроенную деревню, огороды и пашни в таком месте, где за два года был непрходимый лес. Это волшебство было вызвано трудолюбием, но также и деньгами и беглыми. Как семейским позволено было на родине продать все свое имущество, то прибыли в Сибирь с деньгами; лишь только соседи узнали о пребывании их, то они и много ссылочных мастеровых из окрест лежащих рудников прибежали к ним на помощь и дело пошло быстро и хорошо.

В Тарбагатай мы дневали, имели время и случай рассмотреть все подробно. Мне отведена была квартира у крестьянина, одного из братьев Чабуниных: дома в несколько горниц, с большими окнами, крыши тесовые, крыльца крытые; в одной половине дома обширная изба для рабочих, с русской печкой для стряпанья и печения; в другой половине — от трех до пяти горниц, с голландскими печками; полы все покрыты коврами собственного изделия, столы и стулья крашеные, зеркала с ирбитской ярмарки. Избы и дома у них не только красивы углами, но и пирогами: хозяйка наша, Пестимья Петровна, угостила нас на славу щами, ветчиной, осетриною, пирожками и кашицами из всех возможных круп, от гречневой до манной и рисовой. Во дворе под навесом стояли все кованые телеги, сбруя была сырьомятная, кони были дюжие и сътые, а люди, люди! Ну, право, все молодец к молодцу, — красавицы не хуже донских: рослые, белолицые и румяные. День был воскресный, муж-

чины расхаживали в суконных синих кафтанах, женщины — в душегрейках шелковых с собольими воротниками, а кошники — один лучше и богаче другого. Одним словом все у них соответствовало одно другому: от дома до плуга, от шапки до сапога, от коня до овцы, — все показывало довольство, порядок, трудолюбие...

Народ сильный и здоровый поддерживает свою крепость, свое здоровье прилежным трудом и здоровою пищею. В мясоед каждый день имеют говядину или свинину, в пост — рыбу; не только в доме и в амбарах видны довольство и обилие, но и в сундуках хранятся капиталы... Поля и обработка полей представляют совершенство, между тем как в недальнем от них расстоянии селения и пашни старожилов показывают крайнюю бедность и разорение. „Отчего соседи ваши так бедны?“ — спросил я хозяина моего. — „Как им не быть бедными, — ответил он: — когда в рабочую пору петух пропоет с зарею, то мы уже на поле и пашем в прохладе, а старожил только что просыпается да принимается варить для себя кирпичный чай; пока он дотащится до поля, солнце уж высоко; мы оканчиваем первую упряжку и отдыхаем, а он в жар мучает себя и скотину свою; ни у него, ни у коня нет сил, так и запашка жалкая“... Весь наружный вид этих людей превосходный; они блаженствуют, имеют свое общинное правление, выбирают своих старост; на мирской сходке раскладывают все подати и повинности земельные, никогда не бывают в долгу,rekрут ставят исправно. Между ними нет сословий с преимуществами, они имеют дело только с исправником и заседателем, с которыми умеют ладить.

На другой день ночевали мы также в деревне Семейской и нашли тот же быт и тот же достаток. Еще имели мы дневку в третьей обширной деревне Семейских, в Десятникове; там на квартире нашей застали 110-летнего бодрого старца, который прибыл сюда в числе первых Семейских изгнанников... Старец жил в доме своего младшего четвертого сына, которому было уже за 70 лет. Прадед хотя сам уже не работал, но имел привычку носить всегда топор за поясом, и рано утром сам будил внуков на работу. Он повел меня к трем старшим сыновьям своим и с пристательным тщеславием показал мне, где для каждого из них он выстроил особенный большой дом, с дворами и амбарами, и для каждого дома по водяной мельнице. „Для чего ты, дедушка, так много выстроил мельниц?“ — спросил я старца. — „А посмотри-ка поля-то какие у нас!“ — сказал он, показывая рукою на окрест лежащие возвышенности и горы, коих все овраги и вершины были вспаханы... По богатству и довольству поселян мне представилось, что вижу трудолюбивых русских в Америке, а не в Сибири;

но в этих местах Сибирь не хуже Америки, земля также привольная, плодородная; жители управляются сами собою, сами открыли сбыт своим произведениям и будут блаженствовать, пока люди бестолковые не станут вмешиваться в их дела, забывая, что устроенная община в продолжение века лучше всех посторонних понимает действительную выгоду свою.

1. Разработать в подробностях, как воспользовался Некрасов рассказом Розена (что взял, что опустил, что обобщил, ослабил или усилил)?
2. Какое из двух описаний сильнее волнует читателя?
3. Чем оживлено описание Некрасова? (В какую оно вставлено рамку? Для чего описание сибирской деревни сопоставлено в речи дедушки с крепостничеством в русской деревне?).
4. Чем отличается речь поэта Некрасова от речи Розена?
5. Определите размер. Как чередуются рифмы?

1. П о л я.

В телеге еду по холмам;
порой для взора нет границ...
и все поля по сторонам,
и над полями стаи птиц...

Я еду день, я еду два —
и все поля, кругом поля!
Мелькнет жилье, мелькнет
едва,

а там поля, опять поля...

Порой ручей, порой овраг,
а там поля, опять поля!
и в золотых опять волнах
с холма на холм взлетаю я...

Но где же люди? Ни души
среди безмолвных деревень...
Не верится такой глупи!
Хотя бы встреча в целый день!

Лишь утром серый четверик
передо мною пролетел...
В пыли лишь красный воротник
да черный ус я разглядел...

Бот, наконец, бредет старик...
остановился, шляпу снял,
бормочет что-то... — Стой, ям-

щик!

Эй, дядя! С чем Господь по-
слал?

— „Оsmелюсь, барин, попро-
сить —

не подвезете ль старика?“ —
— Садись! Зачем не услужить,
услуга ж так не велика!

Садись! — „Я здесь, на
облучок...“ —
— Да место есть: садись
рядком! —

Но тут уж взять никто б
не мог:
старик уперся на своем;
твердил, что в людях он
пожил

и к обращению привык,
и знает свет, иначе б был
„необразованный мужик!“

У старика был хмурый вид,
цветисто-вычурная речь;
одет был бедно, но обрит,
и бакенбард висел до плеч.

— „Я был дворовый чело-
век, —
он говорил, — у князя Б.
да вот, пришлось кончать
свой век

на воле! Сам уж по себе!“

— И слава богу! — „Как кому
и как кто разумеет свет!
А по понятью моему,
от всей их воли — толку нет!

„Еще я нонешних князей,
выходит, дедушке служил...
Князь различать умел людей:
я в доме, может, первый был.

„Да вот, настали времена!
теперь иди, хоть волком вой!
стара собака, не годна,
ест даром хлеб, — так с глаз

долой!

„Еще скажу: добры князья!
— С тебя оброку не хотим;
а хочешь землю, мол? — Так я:
— Покорно вас благодарим! —

Жаль их самих:! И тут
старик

повел рассказ, как врозь идет
весь княжий двор: шалит

мужик,
заброшен сахарный завод,
следа уж нет оранжерей;
охота, птичник и пруды,
и все забавы для гостей,
и карусели, и сады —

все взапущеньи, все гниет...
Усадьба — прежде городок
была: везде присмотр, народ, —
и пей и ешь! Все было в прок!

„Да, вспомянёшь про ста-
рину!“
он заключил; „был склад да лад!
Э, ну их с волей! Право, ну!
Да что она? Один разврат!

„Один разврат!“ он повто-
рял...

Отживший мир в его лице,

казалось, силы напрягал,
как пламя, вспыхнуть при конце...

„Вот парень ваш из молодых“,
сказал он, кинув грозный взгляд
на ямщика: „спросите их,
куда глядят? Чего хотят!“

Тот поглядел ему в лицо,
но за ответом стал втупик:
никак желанное словцо
не попадало на язык...

„Чего?“ он начал было вслух...
да вдруг как кудрями встряхнет,
да вдруг как свистнет во весь
дух, —
и тройка ринулась вперед!

Вперед — в пространство без
конца!
вперед, — не внимая ничему!
То был ответ ли молодца,
и кони ль вторили ему, —

но мы неслись, как от волков,
как из-под тучи грозовой,
как бы мучителей-бесов
погоню слыша за собой...

Неслись... А вокруг по сторонам
поля мелькали, и не раз
овечье стадо здесь и там
кидалось в сторону от нас.

Неслись... „Куда ж те дьявол
мчит!“
вдруг сорвалось у старика.
А тот летит, лишь в даль глядит,
а даль-то, даль — как широка!

А. Майков.

1. Укажите все черты „отживающего мира“ в старике.
2. Представителем какого мира (старого или нового) является ямщик? Откуда видно?

1. Какие слова чаще всего встречаются в первых трех четверостишиях (строфах)? Что достигается таким приемом повторения?

2. Какие слова повторяются в последних пяти строфах? Какой смысл имеют эти повторы?

3. Какой смысл, кроме прямого, имеет заключительный образ? Какой смысл всего стихотворения в целом?

III.

Д Е Р Е В Н Я
П О Д
В Л А С Т ЬЮ К А П И Т А Л А

Помещик.

Вдруг тройка с колокольчиком
Откуда ни взялась,
Летит! а в ней качается
Какой-то барин кругленький,
Усатенький, пузатенький,
С сигарочкой во рту.
Крестьяне разом бросились
К дороге, сняли шапочки,
Низенько поклонились,
Повыстроились в ряд,
И тройке с колокольчиком
Загородили путь...

Соседнего помещика
Гаврилу Афанасьевича
Оболта-Оболдуева
Та троечка везла.
Помещик был румяненький,
Осанистый, присадистый,
Шестидесяти лет;
Усы седые, длинные,
Ухватки молодецкие,
Венгерка с бранденбурами,
Широкие штаны.
Гаврило Афанасьевич,
Должно быть, перетрусился,
Увидев перед тройкою
Семь рослых мужиков.
Он пистолетик выхватил,
Как сам, такой же толстенький,
И дуло шестиствольное
На странников навел.
— Ни с места! Если тронетесь,
Разбойники! грабители!
На месте уложу!..

Крестьяне рассмеялись:
— „Какие мы разбойники,
Гляди — у нас ни ножика,
Ни топоров, ни вил!“
— Кто ж вы? чего вам надобно?
— „У нас забота есть:
Такая ли заботушка,
Что из домов повыжила,
С работой раздружила нас,
Отбила от еды.
Ты дай нам слово крепкое
На нашу речь мужицкую,
Без смеху и без хитрости,
По правде и по разуму,
Как должно отвечать, —
Тогда свою заботушку
Поведаем тебе...“
— Извольте; слово честное,
Дворянское даю!
— „Нет, ты нам не дворянское,
Дай слово христианское!
Дворянское с прибранкою,
С толчком да с зуботычиной! —
То непригодно нам!“
— Эге! какие новости!
А, впрочем, будь по вашему!
Ну, в чем же ваша речь?
— „Спрячь пистолетик! выслу-
шай!
Вот так! Мы не грабители, —
Мы мужики смиренные,
Из временно-обязанных
Подтянутой губернии,
Пустопорожней волости,
Из разных деревень, —
Несытова, Неелова

Заплатова, Дырявина,
Горелок, Голодухина,
Неурожайка тож.
Идя путем дорогою,
Сошлись мы невзначай,
Сошлись мы — и заспорили;
Кому живется счастливо,
Вольготно на Руси?
Роман сказал: помещику,
Демьян сказал: чиновнику,
Лука сказал: попу.
Купчине толстопузому,
Сказали братья Губины
Иван и Митрород.
Пахом сказал: светлейшему,
Вельможному боярину,
Министру государеву;
А Пров сказал: царю...
„Мужик, что бык: втемяшится
В башку какая блаж —
Колом ее оттудова
Не выбьешь. Как ни спорили,
Не согласились мы!
Поспоривши, — повздорили,
Повздоривши, — подралися,
Подравшися, удумали:
Не расходиться врарь,
В домишки не ворочаться,
Не видеться ни с женами,
Ни с малыми ребятами,
Ни с стариками старыми,
Покуда спору нашему
Решенья не найдем,
Покуда не доведаем
Как ни на есть — доподлинно,
Кому жить любо-весело,
Вольготно на Руси?
„Скажи ж ты нам по-божески,
Сладка ли жизнь помещичья?
Ты как — вольготно, счастливо,
Помещичек, живешь?“
Гаврило Афанасьевич
Из тарантаса выпрыгнул,
К крестьянам подошел:
Как лекарь, руку каждому
Пощупал, в лица глянул им,
Схватился за бока
И покатился со смеху...“

Ха-ха! ха-ха! ха-ха! ха-ха!
Здоровый смех помещичий
По утреннему воздуху
Раскатываться стал...
Нахохотавшись до-сыта,
Помещик не без горечи
Сказал: „Наденьте шапочки,
Садитесь, господа!“
— Мы господа не важные,
Перед твоюю милостью
И постоим...
— „Нет, нет!
Прошу садиться, граждане!“
Крестьяне поупрямились,
Однако, делать нечего,
Уселись на валу.
— „И мне присесть позволите?
Эй, Прошка! рюмку хересу,
Подушку и ковер!“
Расположась на коврике
И выпив рюмку хересу,
Помещик начал так:
— „Я дал вам слово честное
Ответ держать по совести, —
А не легко оно!
Хоть люди вы почтенные,
Однако — не ученыe;
Как с вами говорить?
Сперва понять вам надо бы,
Что значит слово самое:
Помещик, дворянин.
Скажите вы, любезные,
О родословном дереве
Слыхали что-нибудь?“
— Леса нам не заказаны —
Видали древо всякое!
Сказали мужики.
— „Попали пальцем в небо вы!..
Скажу вам вразумительней:
Я роду именитого:
Мой предок Оболдуй
Впервые поминается
В стариных русских грамотах
Два века с половиною
Назад тому. Гласит
Та грамота: „Татарину
„Оболту-Оболдуеву
„Дано суконце доброе,

„Ценою в два рубля:
„Волками и лисицами
„Он тешил государыню
„В день царских имений,
„Спускал медведя дикого
„С своим, и Оболдуева
„Медведь тот ободрал...“
— „Ну, поняли, любезные?“
— Как не понять! С медве-
дями

Не мало их шатается
Прохвостов и теперь.

— „Вы все свое, любезные!
Молчать! Уж лучше слушайте,
К чему я речь веду;
Тот Оболдуй, потешивший
Зверями государыню,
Был корень роду нашему,
А было то, как сказано,
С залишком двести лет.
Прародад мой по матери
Был и того древней:

„Князь Щепин с Васькой Гу-
севым“

(Гласит другая грамота)
„Пытал поджечь Москву,
„Казну пограбить думали,
„Да их казнили смертию“.
А было то, любезные,
Без мала триста лет.
Так вот оно откудова,
То дерево дворянское,
Идет, друзья мои!“

— А ты, примерно, яблочко
С того выходишь дерева?
Сказали мужики.

— Ну яблочко, так яблочко!
Согласен! Благо, поняли
Вы дело наконец.

Теперь — вы сами знаете —
Чем дерево дворянское
Древней, тем именитее,
Почетней дворянин.
Не так ли, благодетели?“
— Так отвечали странники:
— Кость белая, кость черная,
И поглядеть, так разные,—
Им разный и почет!

— „Ну, вижу, вижу: поняли!
Так вот, друзья, — и жили мы,
Как у Христа за пазухой,
И знали мы почет.
Не только люди русские,—
Сама природа русская
Покорствовала нам.
Бывало, ты в окружности
Один, как солнце на небе;
Твои — деревни скромные,
Твои — леса дремучие,
Твои — поля кругом!
Пойдешь ли деревенькою —
Крестьяне в ноги валятся;
Пойдешь лесными дачами —
Столетними деревьями
Преклоняются леса!
Пойдешь ли пашней, нивою, —
Вся нива спелым колосом
К ногам господским стелется,
Ласкает слух и взор!
Там рыба в речке плещется:
„Жирей, жирей до времени!“
Там заяц лугом крадется:
„Гуляй-гуляй до осени!“
Все веселило барина,
Любовно травка каждая
Шептала: „Я твоя!“
„Краса и гордость русская,
Белели церкви божии
По горкам, по холмам,
И с ними в славе спорили
Дворянские дома.
Дома с оранжереями,
С китайскими беседками
И с английскими парками;
На каждом флаг играл,
Играл-манил приветливо,
Гостеприимство русское
И ласку обещал.
Французу не привидится
Во сне — какие праздники,
Не день, не два — по месяцу
Мы задавали тут.
Свои индейки жирные,
Свои наливки сочные,
Свои актеры, музыка;
Прислуги — целый полк!

„Пять поваров да пекаря,
Двух кузнецов, обойщика,
Семнадцать музыкантиков
И двадцать-два охотника
Держал я... Боже мой!..“

Помещик закручинился,
Упал лицом в подушечку,
Потом привстал, поправился:

— „Эй, Прошка!“ закричал.
Лакей, по слову барскому,
Принес кувшинчик с водкою.

Гаврило Афанасьевич,
Откушав, продолжал:

— „Бывало, в осень позднюю
Леса твои, Русь-матушка,
Одушевляли громкие
Охотничьи рога.
Унылые, поблекшие,
Леса полураздетые
Жить начинали вновь;
Стояли по опушечкам
Борзовщики-разбойники,
Стоял помещик сам;
А там, в лесу, выжлятники
Ревели, сорви-головы,
Варили-варом гончие.
Чу! подзывает рог!..

Чу! стая воет! сгрудилась!
Никак по зверю красному
Погнали?.. Улю-лю!
Лисица чернобурая,
Пушистая, матерая,
Летит, хвостом метет!
Присели, притаились,
Дрожа всем телом, рьяные,
Догадливые псы:
Пожалуй, гостья жданная,
Поближе к нам, молодчикам,
Подальше от кустов;
Пора! Ну, ну! не выдай, конь!
Не выдайте, собаченъки!

Эй! улю-лю!.. родимые!
Эй — улю-лю!.. а-ту!..“
Гаврило Афанасьевич,
Вскочив с ковра персидского,
Махал рукой, подпрыгивал,
Кричал! Ему мерещилось,
Что травит он лису...

Крестьяне молча слушали
Глядели, любовались,
Посмеивались в ус...

— „Ой, ты — охота псовая!
Забудут все помещики,
Но ты, исконно русская
Потеха, не забудешься
Ни во-веки веков!
Не о себе печалимся:
Нам жаль, что ты, Русь-ма-
тушка,

С охотою утратила
Свой рыцарский, воинственный,
Величественный вид!
Бывало, нас по осени
До полусотни съедется
В отъезжие поля;
У каждого помещика
Сто гончих в напуску;
У каждого по дюжине
Борзовщиков верхом;
При каждом с кашеварами,
С провизией обоз.
Как с песнями да с музыкой
Мы двинемся вперед,—
На что кавалерийская
Дивизия твоя!
Летело время соколом,
Дышала грудь помещичья
Свободно и легко.
Во времена боярские,
В порядки древне-русские
Переносился дух!
Ни в ком противоречия:
Кого хочу — помилую,
Кого хочу — казню.
Закон — мое желание!
Кулак — моя полиция!
Удар искросяпительный,
Удар зубодробительный,
Удар сколоворррот!..“
Вдруг как струна порвалася,
Осклась речь помещичья.
Потупился, нахмурился,
— „Эй, Прошка!“ закричал.
Глонул — и мягким голосом
Сказал: „Вы сами знаете,
Нельзя же и без строгости?“

Но я карал — любя.
Порвалась цепь великая —
Теперь не бьем крестьянина,
Зато уж и отечески
Не милуем его.

Да, был я строг по времени,
А, впрочем, больше ласкою
Я привлекал сердца.

„Я в воскресенье светлое
Со всей своею вотчиной
Христосовался сам!
Бывало, накрываются
В гостиной стол огромнейший!
На нем и яйца красные,
И пасха, и кулич!
Моя супруга, бабушка,
Сынишки, даже барышни
Не презывают, целуются
С последним мужиком.
„Христос воскрес!“ —

„Во-истину!“

Крестьяне разговляются,
Пьют брагу и вино...

„Пред каждым почтаемым
Двунадесятым праздником
В моих парадных горницах
Поп всенощную служил,
И к той домашней всенощной
Крестьяне допускалися:
Молись — хоть лоб разбей!
Страдало обоняние,
Сбивали после с вотчины
Баб отмывать полы, —
Да чистота духовная
Тем самым сберегалася,
Духовное родство!
Не так ли, благодетели?“
— Так! отвечали странники,
А про себя подумали:
„Колом сбивал их, что ли, ты
Молиться в барский дом?..“
— „Зато скажу, не хвастая:
Любил меня мужик!
В моей сурминской вотчине
Крестьяне все подрядчики:
Бывало, дома скучно им, —
Все на чужую сторону
Отпросяются с весны...“

Ждешь — не дождешься осени,
Жена, детишки малые,
И те гадают, ссорятся:
„Какого им гостинчику
Крестьяне принесут?“
И точно: поверх барщины,
Холста, яиц и живности,
Всего, что на помещика
Сбирались искони, —
Гостинцы добровольные
Крестьяне нам несли!
Из Киева — с вареньями,
Из Астрахани — с рыбой,
А тот, кто подостаточней,
И с шелковой матерней:
Глядь, чмокнул руку барыне
И сверток подает!
Детям — игрушки, лакомства,
А мне, седому бражнику,
Из Питера вина!

Толк вызнали разбойники,
Небось не к Кривоногову, —
К французу забежит.

Тут с ними разгуляешься,
По-братски побеседуешь,
Жена рукою собственной
По чарке им нальет,
А детки тут же малые
Посасывают прянички,
Да слушают досужие
Рассказы мужиков —
Про трудные их промыслы,
Про чуже- дальни стороны,
Про Петербург, про Астрахань,
Про Киев, про Казань...

„Так вот как, благодетели,
Я жил с моей вотчиной.
Не правда ль, хорошо?..“

— Да, было вам, помещикам,
Житье куда завидное,
Не надо умирать!

— „И все прошло! все минуло!..
Чу! похоронный звон!..“

Прислушались странники,
И точно: из Кузминского
По утреннему воздуху
Те звуки, грудь щемящие,
Неслись. „Покой крестьянин

И царствие небесное! —
Проговорили странники
И покрестились все...

Гаврило Афанасьевич
Снял шапочку и набожно
Перекрестился тож:
„Звонят не по крестьянину:
По жизни по помещичьей
Звонят!.. Ой, жизнь широкая!
Прости-прощай навек!
Прощай и Русь помещичья!
Теперь не та уж Русь!
Эй, Прошка!“ (выпил водочки
И посвистал)...

„Невесело
Глядеть, как изменился
Лицо твое, несчастная
Родная сторона!
Сословье-благородное
Как будто все попряталось,
Повымерло! Куда
Ни едешь, попадаются
Одни крестьяне пьяные,
Акцизные чиновники,
Поляки пересыльные,
Да глупые посредники,
Да иногда пройдет
Команда. Догадаешься:
Должно быть, взбунтовался,
В избытке благодарности,
Селенье где-нибудь!
А прежде — что тут мчалось
Колясок, бричек троекных,
Дормезов шестерней!
Катит семья помещичья —
Тут маменьки солидные,
Тут дочки миловидные
И резвые сынки!
Поющих колокольчиков,
Воркующих бубенчиков
Наслушаешься вслась.
А нынче чем рассеешься?
Картиной возмутительной,
Что шаг, — ты поражен:
Кладбищем вдруг повеяло, —
Ну, значит, приближаемся
К усадьбе... Боже мой!
Разобран по кирпичику

Красивый дом помещичий,
И аккуратно сложены
В колонны кирпичи!
Обширный сад помещичий,
Столетьями взеленяный,
Под топором крестьянина
Весь лег, — мужик любуется,
Как много вышло дров;
Черства душа крестьянина:
Подумает ли он,
Что дуб, сейчас им сваленный,
Мой дед рукою собственной
Когда-то насадил?
Что вон под той рябиною
Резвились наши детушки,
И Ганичка, и Верочка
Аукались со мной?
Что тут, под этой липою,
Жена моя призналась мне,
Что тяжела она
Гаврюшей, нашим первенцом,
И спрятала на грудь мою,
Как вишня, покрасневшее
Прелестное лицо?..
Ему была бы выгода —
Радехонек помещичьи
Усадьбы изводить!
Деревней ехать совестно:
Мужик сидит — не двинется;
Не гордость благородную —
Желчь чувствуешь в груди!
В лесу не рог охотничий
Звучит — топор разбойничий:
Шалят!.. А что поделаешь?
Кем лес убережешь?..
Поля — не доработаны,
Посевы — не досеяны,
Порядку нет следа.
О матушка! о родина!
Не о себе печалимся, —
Тебя, родная, жаль.
Ты, как вдова печальная,
Стоишь с косой распущеной,
С неубранным лицом!..
Усадьбы переводятся!
Взамен их расложаются
Питейные дома!..
Поят народ распущенный,

Зовут на службы земские
Сажают, учат грамоте, —
Нужна ему она!
На всей тебе, Русь-матушка,
Как клейма на преступнике,
Как на коне тавро,
Два слова нацарапаны:
„На вынос“ и „Распивочно“.
Чтоб их читать, крестьянина
Мудреной русской грамоте
Не стоит обучать!..

„А нам земля осталася...
Ой ты, земля помещичья!
Ты нам не мать, а мачиха
Теперь... „А кто велел“ —
Кричат писаки праздные:
„Так вымогать, насиовать
Кормилицу свою!“
А я скажу: А кто же ждал?
Ох, эти проповедники!
Кричат: „Довольно барство-
вать!

Прогнись, помещик заспанный!
Вставай! — учись! трудись!..“

„Трудись!“ Кому вы вздумали
Читать такую проповедь?
Я не крестьянин-лапотник —
Я божию милостью
Российский дворянин!
Россия — не неметчина;
Нам чувства деликатные,
Нам гордость внушена!
Сословья благородные
У нас труду не учатся:
У нас чиновник плохонький,

И тот полов не выметет,
Не станет печь топить...
Скажу я вам, не хвастая,
Живу почти безвыездно
В деревне сорок лет,
А от ржаного колоса
Не отлучу ячменного,
А мне поют: „Трудись!“
„А если и действительно
Свой долг мы должно поняли,
И наше назначение
Не в том, чтоб имя древнее,
Достоинство дворянское
Поддерживать охотою,
Пирами, всякой роскошью,
И жить чужим трудом, —
Так надо было ранее
Сказать... Чему учился я?
Что видел я вокруг?..
Коптил я небо божие,
Носил ливрею царскую,
Сорил казну народную
И думал век так жить...
И вдруг... Владыко праведный!..“
Помещик зарыдал...

Крестьяне добродушные
Чуть тоже не заплакали,
Подумав про себя:
„Порвалась цепь великая,
Порвалась — расскочилася:
Одним концом по барину,
Другим по мужику!..“

Н. Некрасов.

1. О чём говорят названия губерний, волости и деревень, из которых вышли мужики-спорщики?

2. Какие общественные группы пропущены в перечне тех, „кому живется счастливо, вольготно на Руси“ и почему?

3. Как жилось помещику в крепостное время? Соберите все черты его „широкой жизни“ и сравните с картинами крепостного барства, известными вам из прежнего чтения.

4. Прочтите „Псевдую охоту“ Некрасова. Что добавляет она к зарисовке этой „потехи“ в „Помещике“?

5. В чём выражались в жизни крепостной вотчины „порядки древне-русские“ (барская „строгость“, „отеческая“ милость и любовь мужицкая)? Приведите наиболее яркие цитаты.

6. Откуда видно, что „теперь не та уж Русь“?
7. Какие требования предъявила помещику новая жизнь?
8. Как понять крестьянскую думу, выраженную в последних четырех стихах? (Ср. стих. „Свобода“).
9. Каких представителей отжившего мира вы знаете из предшествующего чтения? Сравните их и найдите общие черты.
10. Каким одним словом можно обозначить этот дворянско-крепостнический строй, на основе которой выростала определенная психология—личная и общественная?

-
1. Обратите внимание на размер стиха; есть ли рифма?
 2. Проследите чередование ударений в конце стихов.

* * *

В минуты уныния, о родина-мать!
Я мыслю вперед улетаю.
Еще суждено тебе много страдать,
Но ты не погибнешь, я знаю.
Был гуще невежества мрак над тобой,
Удушливей сон непробудный,
Была ты глубоко-несчастной страной,—
Подавленной, рабски-бессудной.
Давно ли народ твой игрушкой служил
Позорным страстям господина?
Потомок татар, как коня, выводил
На рынок раба-славянина,
И русскую деву влекли на позор, —
Свирепствовал бич без боязни,
И ужас народа при слове „набор“
Подобен был ужасу казни?
Довольно! Окончен с прошедшим расчет,
Окончен расчет с господином!
Сбирается с силами русский народ
И учится быть гражданином.

Н. Некрасов.

В пореформенной деревне.

Воскресенье был базарный день в большом селе, верстах в семнадцати от Гарденина. Не доехая до него версты три, Николай (сын управляющего) нагнал едущего верхом гарденинского мужика Андрона, среднего из трех сыновей сельского старосты. Лошадям нужно было дать немного отдохнуть и их пустили шагом. Андрон ехал сзади около самоготарантасика.

— Аль на базар, Андрон? — спросил Николай.

— Да вот батюшка наказывал три косы купить. Покос подходит.

— У вас где покос-то нынче?

— Известно где — у вас. Тоже сказывали — воля, а заместо того все на господ хрип гнем.

— Ну, как же на господ? Чай, ты за это деньги получаешь. Да и кто тебе может запретить работать, где хочешь? Нет, Андрон, ты это не толкуй... ты удивительно какой недовольный мужик.

— А когда я их, деньги-то твои, видал? Батюшка получит — батюшка отдаст куда ему следует, а наше дело одно — работай. Коё-дело придется сапоги справить — кланяешься, кланяешься, да и отъедешь ни с чем. Вот четвертый год ношу сапоги, а поди-ка, сунься, поговори, чтобы сшить... Заработка! Нет, брат, у нас не балуйся... Известно, у купцов на Графской не такие деньги, да поди-ка!

Поговорили еще о том, о сем, и тарантасик снова загремел рысцою по сухой дороге. А Андрон поехал шагом. Ехал и думал, как еще нынче заговаривал с отцом о сапогах и как старик замахнулся на него вожжами. И под стать к этому неприятному случаю думал о том, что только работаешь, работаешь, а воли никакой нету. И эти раздражающие мысли заставляли Андрона с каким-то особым чувством поглядывать в даль, в простор зеленеющих полей, лежащих окрест, в синие извины долины. „Тоись убёг, бы куда глаза глядят!“ — воскликнул он мысленно, въезжая в село. Уже при самом въезде был слышен шум от середины села, от площади, где стояла церковь и был базар. Немного погодя пошли встречаться Андрону телеги с лошадьми, с коровами, приведенными на продажу, дальше — возы с хлебом, с сеном, еще дальше — сплошная толпа баб, мужиков, разряженных девок, мещане в длинных лоснящихся сюртуках, лавки, кабаки, трактиры, лотки, балаганы, кучи колес, вороха посуды, лыки, дуги, оглобли, крендели, деготь, метлы, лопаты. Андрон точно въехал в середину огромного улья: говор походил на жужжанье, люди сновали как пчелы; ругань, божба, хлопанье по рукам, пронзительный звук брошенной в воздух пилы, звон колес, ржание и мычанье скота, песни из распахнутых настежь кабаков, залихватская музыка трактирной машины, трезвон колоколов „к достойной“, — все сливалось в один сплошной, оглушительный и веселящий шум. Андрон, забыв про свои неприятные мысли, с широкою улыбкой на лице, с разбегающимися глазами, осторожно пробирался в толпе, присматриваясь, куда бы поставить кобылу. Вдруг молодой малый, в „касандрийской“ рубахе, в сапогах-вытяжках, румяный, слегка навеселе, ухватился за узду Андроновой кобылы и закричал:

— Друг! Андрон Веденеич! Вот, брат, кстати: такие-то дела завязываются, такие-то дела... угоришь!.. Ты что шныряешь глазами — ищешь где кобылу пристроить? Валай за мной, елова голова: наш мужичок с коровой стоит... Он тебе с великим удовольствием!

— Я, признаюсь, посматриваю, нет ли из наших кого, — сказал Андрон, узнавши в молодом малом женатого на Гараськиной сестре парня из соседней барской деревни, верстах в десяти от Гарденина.

— Пойдем, чего тут толковать! Я тебе живо оборудую. Ах, братец ты мой, как я тебя опознал кстати! Такие-то дела... Ты зачем на базар?

Андрон сказал:

— Косы? Ну как раз их и надо. Слышишь? — Их и надо. Запиши, Гаврюшка сказал — их надо! Ах, еловая твоя голова!

Гаврюшка видимо был в восторге от чего-то; он ухарски заломил шапку, распахнул кафтан и, идя впереди Андрона, бойко раздвигал толпу, пересмеивался с девками и бабами, встревал на ходу в чужие разговоры, беспринужденно улыбался и радовался. Около телеги с привязанною мышастою коровой он остановился.

— Причаливай! Дядя Фрол, можешь ты вот эфто музыка кобылу соблюсти? Приятель мол, гарденинского страсты сын. Можешь, елова голова? Ты прямо говори.

— Нет, нет, нечего и толковать, и не толкуй, Гаврила, — скороговоркой забормотал дядя Фрол, маленький, щедущий мужичонко, точно с головы до ног обсыпанный толченным углем, — так он был грязен, смугл и черен.

— Корову продам, уйду от телеги — как быть?

— Дядя Фрол! Дядя Фрол! Погоди ерепёниться... Девка с тобой?

— Что ж, что со мной? Девку не привяжешь к телеге, не привяжешь, не привяжешь. Вон сидит — зубы скалит, а чуть что, подол в зубы, и поминай как звали. Что ты мне девкой суешь?

— Стой! Желаешь косушку, елова голова? Запиши, Гаврюшка сказал — косушку!

Дядя Фрол взметался:

— А ты думаешь что... ты думаешь, я твоей косушки не видал? Сделай милость, привязывай. Пущай сено жует, пущай жует. Эй, Алёнка! Уйду лыки покупать — шагу не смей отходить от телеги... шагу, шагу. Привязывай, привязывай, малый, я достаточно понимаю эфти дела.

Андрон привязал кобылу, захватил ей побольше и получше сена из вяхиря. Он был мужик хозяйственный и не любил упускать своего. Гаврюшка ударил его по плечу.

— Ну, а теперь зальемся мы, елова голова, в трактир, парочку пивца ковырнем.

Андрон так и оторопел от этих слов, даже оглянулся, не случился бы по близости кто-нибудь из гарденинских и не услыхал бы.

— Чтò ты, что ты, очумел что ли?.. — сказал он. — Батюшка узнает, он те такие трактиры покажет.

— Ловко! Ай-да сказал словечко! Стало быть, дядя Веденей за семнадцать верст видит? Ну-ка, ну-ка, нечего каяниться, пойдем...

Гаврюшка ухватил Андрона под руку и поволок к трактиру. Тот упирался, бормотал, что сроду и не был, и ходу не знает, и пива не пивал, и, Боже избавь, родитель дознается... Но, упираясь и отговариваясь, ужасно желал побывать в трактире. Он был не особенный охотник до водки, но ему хотелось поболтаться на народе, поглядеть, послушать речей, посмотреть на машину, которая отжаривала так, что ее было слышно и теперь, шагов за сто от трактира. Это было очень заманчиво и любопытно для Андрона. Кроме того от Гаврюшкой бойкости и восторга его точно подмывало, и весело ему было с таким бывалым и удалым парнем как Гаврюшка. Однако у самых дверей трактира он испугался, что надо будет платить деньги, да еще кто ее знает — сколько, и решительно остановился.

— Очумелый! — сказал он. — У меня и денег-то всего на три косы, да баба парнишке на бублики дала пятак. Из чего я тебе буду расходоваться?

— Денег? У нас, брат, завсегда хватит. Понял? Запиши, Гаврюшка сказал — денег завсегда хватит. У, елова твоя голова! — и Гаврюшка потряс карманом, где звенела мелочь.

В трактире голова закружилась у Андрона. У накрытых прилитыми скатертями столов сидели, пили, курили цыгарки, кричали, заводили песни. Проворные люди в белых рубашках сновали туда и сюда, ловко виляя между народом, звякая посудой, разнося чайники, чашки, графинчики, откупоривая бутылки с медом и пивом. И временами, покрывая весь шум, гудела машина: „Не белы-то снежки во поле забелелися...“ Гаврюшка занял стол у самой машины и спросил пару пива. Андрон уставился на медные трубы, на валы с крючечками, на колесо, которое вертел вспотевший оборванный мальчишка. Уставил глаза, вслушивался в хитрые колена музыки и блаженно улыбался, приговаривая: „Ишь, ишь, окаянная, выводит... Ах, шут те расшиби со всем с потрохом!“

— Эка невидаль, — сказал Гаврюшка, презрительно кивнув на машину, — ты бы, голова еловая, в городе Ростове поглядел. Там машины! Иная, дьявол, прямо с избу. И тут вон колесо, а там не балуйся, сама разделяет. Велишь эдак, побежит половой, сунет железною штукой в нутро, повертишь, повертишь... она и почнет откальывать.

— Сама собой?

— А то как же! Прямо поверти и уйдет, а она и громыхает в свое удовольствие. Забавно поглядеть. Ну-ка, Андрон Веденеич, действуй... ополаскивай посуду!

— Ох, малый, чтой-то кабыть не пригоже.

— Чего... не пригоже?

— Да как же: сидим мы с тобой словно на свадьбе, а человек бегает вокруг нас. Словно господа!

— У, посмотрю на тебя, какой ты мякинник... Вали; Нонче, брат, что мужик, что барин — все единственно. Эй, малый! Прислуга! Тащи-ка колбасы на закуску да крендели фунтик. Пошатывайся, елова голова!

Выпили пару, еще спросили пару и выпили. Ели колбасу, крендели, спросили чаю, в чай подливали сантуринского вина и потягивали себе не спеша. Всем распоряжался Гаврюшка. Андрон рассолодел, забивал за обе щеки крендели и колбасу, отпустил украдкой пояс, чтобы побольше вошло еды, утирался платком и пристально слушал, что говорил Гаврюшка. А Гаврюшка говорил вот что:

— Из нашей деревни трое едут, из Прокуровки — двое, один боровской обещался... Да сказать тебе на ушко — из ваших шурин Гараська, должно, надумается. Уж говорено. Коли ты соберешься, вот нас и артель, елова голова. Эй, собирайся, Андронка! Места — рай, умирать не захочешь. Запиши, Гаврюшка говорит — умирать не захочешь. Вот пойдем — все Русь, все Русь... А там хохлы попрут, что ни яр — слобода, что ни левада — хутор. Сплошной хохол с самого Коротояка. Завалимся, господи благослови, за хохлов, казак пойдет, эдакие села, станицами прозываются... а там уж гуляй до синего моря: все степь, да ковыль-трава шатается, да камыш шумит на Дону-реке. Эй, собирайся, елова голова! Я сам впервой робел. То да сё, да оборки не свиты, да лапти разбились, да онучи не высохли... Такой же был мякинник. Но вот сходил.. два раза, пàря, отзваниваю; лапти расшиб, в Ростове вытяжки сторговал: смотри сафьяном оторочены. Чего пужаться? Артелью пойдем. А до чего дело коснется — я все места-притулины знаю: где ночь ночевать, где день скротать, куда стать на работу. Сделай милость! У хохлов, может, самую малость покосимся, и то ежели прохарчимся в дороге. Да где прохарчиться! Ежели по трёшнице на рыло — смело хватит вплоть до Ростова. Ну, а как ввалимся в казаки, сейчас я вас на место ставлю. Запиши — ставлю на место. Где цена дороже, там и поставлю. И вот какие дела, братец мой: придет суббота, подставляй подол — прямо тебе казак пригоршнями серебра насыпет... У них не балуйся, у них — все серебро. А в воскресенье в станицу, на базар, а с понедельника опять идешь где лучше. И-их, сторонушка разлюбезная... Харчи ли взять...

Понимаешь ли, Веденеич, ржаного хлеба звания не слыхать. Все пирог, все пирог... каша с салом, а ежели масло в сухие дни, так невпроворот масла нальют, окромя того — ветчина, водкой поят которые... Одно слово — казак, в рот ему дышло! Ну, скажешь, стой, Гаврюшка! Ну, сошла трава, стога пометали, убрались, что тогда-то мы станем делать?.. Ах, разудалая твоя голова! А пшеничка-то, матушка? Мы траву подваливаем, а она зреет, колышется, разбегается, конца-краю не видно. Жни, коси, молоти вплоть до самого Успеня... да что до Успеня — хоть до заговенья работы найдется. Набивай кошель и шабаш!

— Ана и на Графской случается хорошие бывают заработки, — нерешительно возражал Андрон.

У, обдумал! У, елова голова, слово высыдел! Там понимаешь ты кто? Там ты прямо — барин. Ну-ка, скажи мне казак грубое слово... я прямо, господи благослови, наплюю ему в морду и пойду себе в другое место. Али хлеб не хорош, али пшено не чистое... Да за всякий пустяк я на него холоду нагоню. А что касательно, как в наших местах, в рыло залезать, да там и не слыхано такого озорства. Там прямо это считается за разбой.

— Купцы и у нас мало дерутся, — сказал Андрон, — это у господ точно есть привычка: наш управитель первым долгом по зубам норовит... А купцы не так, чтоб драчуны.

— Рассказывай! Вот ты мне будешь рассказывать, елова голова, когда у меня и посейчас рубец на спине: купца Мягкова приказчик нагайкой полыхнул. Ну, да что об этом толковать!.. Ну, ладно, будь по-твоему — выпадет урожайный год, и здесь заработка найдутся. Так? Ладно. Но вот что я тебе, пяря, скажу: и-их, да и опостылела же своя сторона! Я правду скажу: меня тянет в казаки. Воля, братец ты мой! Развязка!.. И ты смекни, запиши — правду говорит Гаврюшка. Чтò набилось народу в наших местах, чтò деревень, чтò тесноты... Куда не повернись — чужое, да не твое, да господское, да суседское... Ой, кабы кому на ногу не наступить! А какой ты есть человек в своей деревне? Захотели тебя выпороть — выпороли, захотели по морде съездить — съездили, волостной катит — пужаешься, барин мчится — поджилки трясутся со страху. Ну, что за жисть? Братни телок намедни в барском пруду напился — штраф, руп-целковый! Да провались он с целковым, — скучно, елова голова! Вот я о чём говорю. И-и, такая-то, братец мой, скуча — смерть!.. Ну, поработал ты на Графской, — ну, хорошо... Да ведь поработал неделю — опять в деревню воротишься... ну, дом проведать, хлеба взять... А тут волостные, а тут сборщики, сотские, десятские... Ах, тоска! Ах скуча! Глянешь в поле — межнички, да межнички, да кабы, сохрани господи, барский овес не потравить...

— У нас этого нету, у нас вольготно насчет кормов.

— Погоди, нажмут и вам холку? Это вот пока управитель-то бога помнит...

— Помнит он, разрази его душу! — внезапно озлобясь, сказал Андрон.

— Ну, вот! Ну, вот! О чем же я и говорю, елова твоя голова?.. Но завались ты на низы — ты и думать забыл, какой-такой барин и какая потрава. Шапки не ломаешь, колокольцев не слышишь. Ходи браво, добрый молодец, гляди весело! Коли хочешь — кланяйся, запрет не положен, — кланяйся синему морю, бойся высокой травы, опасайся, — камыш шумит, гуси, утки гогочут в низинных местах. Эй, собираясь, елова голова, уламывай родителя! Принесешь к Кузьме-Демьяне сотенный билет... Запиши — Гаврюшка сказал.

— Уломаешь его, дожидайся! У нас в дому — сапог не спровишишь, а не то что отпустить в казаки. Вот четвертый год оболонки-то ношу, — и Андрон выставил из-под стола заплатанный порыжелый сапог и презрительно поглядел на него.

— Ой ли? Строг родитель?.. Ну, уж не знаю. Мой тоже куда был строг покойник, но я по-свойски с ним разделся. Не хочешь отпускать по добру? — Нет. — Отделяй, коли так! Туда-сюда, иди, говорит, на все четыре стороны. А ну-ка, сбивай сход, — ну-ка, старики, рассудите по-божьему... Да прямо, елова голова, старикам ведро в зубы. И разсудили Гаврюшке — клеть рубленую, Гаврюшке — мерина да стрыгуну, Гаврюшке — пяток овец, ржи на посев, кладушку овса. Ничего, я по-свойски разделся с родителем.

— Ну, у нас эдак не выгорит. У нас и слухом не слыхать, чтоб от отца самовольно отделяться.

— А ты попытай. Отделишься, вот и будет слышно. Выгонит, старики не возьмут твою руку — наплевать! У тебя что: парнишка один, говоришь? — Бабу на хватеру своди, а сам — айда в казаки. Воротишься — сразу избу спровишишь. Запиши, Гаврюшка сказал — избу спровишишь. На дорогу-то наколотишь трёшницу?

— Гляди наберется, — нехотя сказал Андрон. — У меня, признаешься, с мясоеда пятищница в портках защита: от овса, признаться, утаил.

— Ну, вот и дуй, разудала голова! Развязывай свои дела, да ко мне. Только как можно скорей: в середу беспременно выходить надо. И так, шут ее дери, к поздней траве придем: заворошились у меня кое-какие дела — не поспел я вовремя артель сбить. Ну, не беда, на пшеничке зарабатаем... Так как, Андрон Веденеев, говори толком идешь?

— Ты постой. Ты мне расскажи все по порядку: как собираешься, что брать, нужно ли билет выправить из волостной...

— А первое дело, елова голова, бери ты с собой косу... — и Гаврюшка начал обстоятельно, по пальцам, перечислять Андрону, что требуется, чтобы итти „в казаки“. Андрон слушал не отводя глаз, разгоряченный пивом, чаем, едою, а еще того больше речами Гаврюшки, протяжным завыванием машины, народом, снующим туда и сюда, и неясным, но соблазнительным привольем где-то далеко, далеко... у синего моря.

Перед вечером, купивши вместо трех только одну, но зато удивительно хорошую косу, Андрон воротился домой. Хмель от вина совершенно прошел в нем, но зато хмель того, о чём он думал и что собирался делать, туманил и мутил его голову.

Веденей был поставлен сельским старостой еще с того времени, как вводилось „Положение“. Когда были крепостные, он находился в милости у Мартина Лукьяныча, случалось и тогда хаживал в старостах и барские интересы наблюдал строго. А с виду казался ласковым, добродушным старицком, шамкал хорошие слова, приятно улыбался. По старой памяти он и теперь чуть что — схватывал свой посошок и бежал торопливо рысцой за советом к управителю, и что управитель приказывал ему, то он и делал.

Подъехав к воротам, Андрон слез, ввел кобылу на двор, спутал ее и выпустил на гумно, на траву. Потом взял под мышку косу, взял связку кренделей и пошел к себе в клеть. Дверь была отворена в клети, там Андронова баба возилась в сундуке, перебирала холсты. Андрон спрятал косу, положил бублики на кровать, сел, начал болтать ногами. Баба в польборота посмотрела на него.

— Что долго ездил? — спросила она.

— Не твоего ума дело, — скалал Андрон и, помолчавши, спросил: — Где батюшка-то?

— А кто его знает. Поди, с стариками на бревнах сидит. Делов-то им не много.

— А брат Агафон?

— К сватам ушел с невесткой. Повадились, шляются каждый праздник.

— А Микита где?

— На барском выгоне, за телятами батюшка-свекор услал. Что я тебе хотела поговорить, Веденеич: ты погутарь с батюшкой-свекром. Вот только что дядя Ивлей ушел: выдумали моду два раза на неделе полы мыть. Нам это не переносно. Чтой-то на самом деле?...

— Ты вот что, — сказал Андрон, — завтра на барский двор не ходи.

Баба так и выпрямилась и большими глазами посмотрела на мужа.

— Ты очумел? — выговорила она. — А батюшка-то?

— Это уж не твое дело. Я сказал — и конечно. А там не твое дело! — и помолчав добавил: — Завтра в волостную пойду, билет надо выправить, — и еще помолчавши сказал: — в казаки уйду, на заработки.

— Да ты во хмелю, Андрошка!

— Ишь не во хмелю, а ты слушай, что говорят. Чтоб прямо к авторнику были бы чистые портки, рубаха, онучи... да лепешек напеки поболе. В середу, господи благослови, выходить надо.

— Ей-богу, ты натрескался! Да он-те батюшка-свекор такие казаки задаст — до новых веников не забудешь! Аль не знаешь его ухватку?

— Не отпустит, скажешь?

— Ну, посмотри на тебя — дурак ты, Андрон? Да какой же полуумный отпустит?

— А отчего, спросить у тебя?

— Оттого — отродясь неслыхано! — баба еще хотела привлечь, отчего не отпустит, но рассердилась. — Тьфу, да оттого, что ты дурак! — крикнула она.

— Поговори, поговори, может я тебе еще шлык-то сшибу, — и Андрон сделал вид, что приподымается. Тогда баба испугалась и опять захныкала.

— Чай-то, господи... аль я сиротинушкой на свет родилась!... На кого ж ты меня покидаешь, Андрон Веденеич?.. Ведь Акулька-то меня поедом съест. Куда мне притулиться? Куда деться?... Занесет тебя в дальнюю сторонушку — воротишься ли, нет ли... ни я — вдова, ни я — мужняя жена! Как мне будет жить-то без тебя, как мне горе-то горевать? И с мужем тошнехонько, а уж одна останусь — прямо попасться в пору.

— Овдотья, — строго сказал Андрон, — ей-богу, изволочу как собаку! Замолчи!

Авдотья, подавляя охоту поголосить, опять наклонилась к сундуку.

— Ты слушай, коли в своем уме, — продолжал Андрон, — я с тобой не токмо лаяться — совет желаю держать. Я так порешил: итти на заработки. Гараська Арсюшин идет, зять его из Тягулина — чать, знаешь Гаврилу? — двое прокурорских, боровской один, тягулинских еще трое, кроме Гаврилы, — артель человек десять. Поняла? Заработка, одно слово, вот какие: подставишь подол — казак тебе полон подол серебра насыпет. Это уж верно. Теперь что мы живем? — Не то в батраках, не то в полону у родителя... А приду я с заработка — свои деньги, свой и разговор начнется.

— Это хоть так, — сказала Авдотья и закрыла сундук, села, с оживленным и повеселевшим лицом стала слушать Андrona.

— А не отпустит — прямо отделяться. Нечего тут с ним груши околачивать!

— Ох, Андроша, непутевое ты задумал! Отделиться — это что говорить, это хорошо. С ними, чертами, жить только надорвешься... А уж страшно что-то! Ну-кося в чем мать родила выгонит?

— Ну, это еще как старики, — и Андрон рассказал ей случай с Гаврюшкой. — А иное дело наплевать. Прямо ты ступай с Игнаткой к родительнице. Лето проживешь, а я ворочусь — избу спримет.

Авдотья задумалась; мысль о том, чтобы жить своим хозяйством и ранее представлялась ей, но теперь соблазнила ее все более и более.

— Это хоть так, — роняла она по словечку, — я у мамишки сколько хочешь проживу... Брат Андрей до меня жаланен... К чему дело доведись, пожалуй и пеструю телку отдадут... Буду наниматься вязать, на жнитво, может на Графскую уйду — все, глядишь, заработаю какую копейку, — и вдруг решительно закончила: — Ох, Андрон Веденеич, и опостылела мне жисть в батюшкном дому! Авось бодаст, спримет. Все равно — ты уйдешь, мне тут не жить... загают, запрягут в работу — доймут!

— Теперь вот какое дело, — сказал Андрон, — надо будет старииков попоить. Гараська с отцом, знаю, и без водки потянет на нашу руку... Ну, батюшка-тесь... Ну, ежели положить Нечаева Сидора — он за сестру, за Василису здороно серчает на родителя. А тех беспременно надо попоить. У тебя есть деньги-то?

Авдотья потупилась.

— Какие же у меня деньги, Андрон Веденеич? Разве что за ярлыки?... Ярлыков-то, гляди, целковых на шесть наберется, да когда по ним расчет? Да ты никак был ономнись навеселе, говорил от продажного овса...

— Тсс! — цыкнул на нее Андрон и боязливо посмотрел, нет ли кого около в клети.

Заскрипели ворота, пришел младший брат Никита (еще холостой), пригнал телят.

— Невестка Авдотья!.. А невестка! — закричал он. — Иди телят поить! — и подошел к клети. — Аль приехал, — сказал он Андрону, — косы купил? Ну-кося, покажи.

Андрон лениво поднялся с места.

— Одноё купил, — сказал он, почесываясь.

— Что так?

— Да чего зря тратиться? Старые послужат.

— Ну, малый, смотри, кабы тебя батя-то того... вожжами! — Никитка присел на порог клети, оглянулся туда а сюда и закурил трубку. Авдотья пошла выносить пойло телятам

Никитка сказал: — Меня давеча ни за что, ни про что за виски отрапор. Посыкнулся¹⁾ я было про шапку ему сказать, про крымскую. Ну, сам посуди: собирается женить, а у меня крымской шапки нету. Где это видано? Ну, я и скажи. Чем бы, мол, Акулине новый полуушубок спрятать, ты бы мне крымскую шапку купил. Авось от двух целковых не пойдешь по миру... Только всего и слов моих было. Как он вцепится в виски... да ведь что — насилиу оторвался. Эка, подумаешь, счастье наше какое! Вон у Гараськи отец — пух! Иного и слова не подберешь, что пух. Чего Гараське захочется, то он и творит. А у нас поди-ка...

— Что ж Агафон-то, не вступился?

— Агафон-то? Я бы те рассказал об Агафоне, да не хочется... Агафон вилять мастер, вот что. Он тебе так запутает языком, того наплется, и не разберешь: то ли направо клонит, то ли налево... Самый скрозвьземельный человек.

— Ты говоришь — шапку, — сказал Андron и, выставив ногу, презрительно посмотрел на сапог, — вот четвертый год донашиваю... Сколько заплат! Сколько прорех на голеницах! Но у него на это один ответ — вожжи.

Никитка промолчал, крепко затянулся и сплюнул сквозь зубы.

— Ты вот что, Никитка, — вдруг решительным голосом выговорил Андron, — я отделяться хочу. Берешь мою руку, аль нет?

Но не успел Никитка опомниться от этих неожиданно ошеломивших его слов, как скрипнула дверь с улицы и старческий голос Веденея задребезжал: „Приехал что ль, Андronушка? Ну-кося, покажи косы-то!“ Никитка сунул трубку за голенище, вскочил, закричал на телят, побежал к Авдотье, стал помогать выносить пойло. Андron для чего-то подтянул пояс, медлительно переступил через высокий порог клети, остановился, не подходя близко к старику, и сказал:

— Косы я не купил.

— Как так не купил?

— Да так, не купил и все тут. Старые хороши.

— Э! Да ты никак налопался? Подь-ка сюды!

— А чего я там позабыл? Коли есть что говорить, говори: я отсюда услышу.

— Ах, идолов сын! Да ты что ж это задумал?... — Тщедушный старишишка со всех ног бросился к Андronу. Но тот только тово и ждал: он оборотился спиной к отцу и, громыхая сапожищами, мешкотно побежал в отворенные ворота на гумно. Старик позеленел от злости. „Подь, гово-

¹⁾ Посыкнулся — возымел намерение; крымская шапка — шапка из сизого курпяка.

рят, сюды! — кричал он. — Тебе говорят, аль нет? — оборотился к Никитке: — Ты чего зенкъ выпялил?... Беги, волоки его сюды!» Никитка бросил выливать из лоханки и с деловым видом отправился на гумно. Веденей накинулся на Авдотью: „Это ты, паскудница, подбила Андрошку?... Это ты все смутьянничашь, кобыла лупоглазая?... Говори, чего нашептала?... Сейчас у меня говори!...»

— Чтой-то, батюшк!... Да лопни мои глаза... да вывернись у меня утроба... да чтоб мне отца с матерью не видать...

Никитка показался в воротах.

— Разве с ним совладаешь? — сказал он, не подходя к отцу и почесывая в затылке. — Он уперся, его народом не сташишь с места, — и добавил, махнув рукою: — Э-эх, стыдобушка!

— Ты что сказал? Ты что, щенок, сказал? — заголосил старик и заметался. — Да вы что ж это, душегубцы, задумали?... Где у меня тут вожжи-то?... Дунька! Подай вожжи из амбара... Ах, ах... чего это пес Агафошка запропастился!... Веди, я тебе говорю! Сликом тащи!... Бей чем непопадя!...

— Чего меня тащить, я и сам вот он, — сказал Андрон, показываясь в воротах. — Я тебе прямо, батюшка, говорю: Авдотья мыть полы не пойдет. Шабаш!

Веденей взвизгнул и с вожжами в руках побежал к Андрону. Андрон опять поверотил спину и мешкотно загромыхал сапожищами по направлению к огородам. Никитка крякнул, еще раз почесал в затылке, насупился и стал загонять телят в закуту. „На всю деревню сраму наделаем, — прошептал он Авдотье, — какая теперь за меня пойдет?» Авдотья ничего не ответила; каждая жилка в ней дрожала; мигом она скользнула в клеть, схватила шушпан, схватила ярлыки завязанные в уголке платка, и, не оборачиваясь на пронзительный Веденеев голос, перебежала сени, выскочила на улицу, потрусила рысцою на барский двор. Веденей возвращался с гумна сам не свой, — Андрона он, конечно, не донес, и кашлял, брызгался слюнями, с трудом переводил дыхание. Никитка пасмурно, исподлобья посмотрел на него, стоя у закуты. Старик так и взбеленился от этого взгляда. Он затопал ногами, закричал на Никитку: „Ты, щенок, заодно с Андрошкой... Сговорились!... Порешить меня хотите... кхи, кхи... Не биты... не драты на барской конюшне!.. Погоди, погоди... узнаешь ужо кузькину мать... кхи, кхи... узнаешь!... Дунька!... Где Дунька? Нырнула, псица!... Ахти, живорезы окаянные... кхи, кхи, кхи...» Он совсем закашлялся и присел на опрокинутую вверх дном лохань. В это время в воротах опять показался Андрон; лицо его было озлоблено и налито кровью. „Коли на то пошло — отделяй, — заорал он грубым голосом, — подавай мою часть! Не хочу

с тобою жить... Достаточно на тебя хрюп-то гнули...
Отделяй!"

Поздно ночью Андрон с женою и парнишкой, захватив кое-какую худобишику — дерюги, зипуны, ушел к тестю.

Ночью Веденей плохо спал, кряхтел, охал и все ворочался с боку на бок. Едва рассвело, он обулся, надел полу-шубок, разбудил сноху доить коров, растолкал Никитку, чтобы гнал лошадей и телят на выгон, угрюмо посмотрел на замкнутую дверь Андроновой клети и прошел на гумно. За гумном виднелись огороды, конопляники, лозинки, речка. На речке стоял тонкий туман. Навозные кучи, сваленные на огородах, курились. Сильно пахло сыростью, свеже всаханною землей и перегнившою соломой, острым запахом навоза. По деревне кое-где скрипели ворота, в соседском дворе слышались заспанные голоса. Старик прошелся по гумну, посмотрел на капустную рассаду в приподнятом от земли деревянном срубе и подумал: „Пожалуй, постоит эдакое тепло — пора и высаживать, надо грядки готовить”, посмотрел на однья старого хлеба, сказал сам себе: „Вот этой кладушке шесть годов, этой пять, надо перемолотить в междупарье, а то кабы мыши не переточили... И откуда берется эдакая вредная тварь!” — и привалился к аккуратно сложенному омету просяной соломы, взял былинку в рот, начал задумчиво жевать ее беззубыми деснами. Прямо перед его глазами стояла большая рига с крепкими тесовыми воротами, дальше виднелся прочный плетневый двор с рублеными закутами, амбаром, клетями; между двором и ригой зеленел лужок, стоял еще амбар с навесом, желтелись высокие ометы, возвышалась круглая шапка отлично прибранного сена. Все постройки были крыты „под начес”, красиво, гладко; под навесом, оглобля к оглобле, стояли четыре сохи с сверкающими сошниками, лежали друг на дружке крепко связанные борона; ток перед ригой был выметен и утоптан, лужок зеленелся точно вымытый; нигде соринки не валялось зря, все веселило глаз чистотою, прочностью и хозяйственным порядком. Старик смотрел и думал: „Эдакая у меня строгость да аккуратность в дому... Ну-ка, у кого теперь так-то прибрано, вывершено, подметено... так-то крепко да ёмисто? Соломка-то — любо поглядеть. Ригу перекрыл, во дворе новые плетни заплел, печь избяную переклал по-белому... У кого столько одоньев старого хлеба, столько рассады, сколько лозинок на огороде? Разве у Шашловых... так те не даром богачи прозываются”. Заря разгоралась, туман с реки уползал в вышину, навоз курился тоненькими, едва заметными, струйками, свеже распаханная земля становилась все чернее и чернее.

Затопили печки; над трубами заклубился румяный дым; начали выгонять скотину в стадо; ворота точно пели на разные голоса: там хриплым басом, там пронзительно и тонко, там нежным, певучим голоском; пастухи хлопали кнутами, бабы звонко кричали: „а-рря! а-рря!... „вечь, вечь, вечь“... „тпруженъ, тпруженъ... тпруженъ, родимец тя задави!...“ мужики уводили лошадей на выгон; хрюканье, блеянье, мычание, ржанье смешивались, переплетались между собою и с необыкновенной ясностью разносились в остывшем за ночь воздухе. Немой дотоле Веденеев двор тоже встрепенулся: заревели отворяясь ворота, загоготал в конюшне трехгодовалый жеребец, закудахтали куры, слетая с насести; овцы, коровы, свиньи, толкаясь в воротах, побежали к стаду, издавая свойственные им звуки. И Веденей подумал: „Вон протяжно, тонко мычит — это Буренка, а точно захлебывается — Машка рыжая; хриплым, удавленным голосом — Машка пестрая, — давно бы продал, да к молоку хороша; переливается как в рожок — красная тёлка“. И между свиньями отлил сердитое хрюканье желторылого борова, и между овцами — наяниливо, толстоголосое блеянье черного барана с белым пятном на животе, и воскликнул про себя: „Слава богу! Слава богу! Скота хоть бы и у Шашловых“.

Привалился Веденей на солому, жевал былинку, обводил глазами свое крепкое хозяйство, думал о рассаде, об огороде, о том, как много у него скота и хлеба и все в порядке, в приборе; вслушивался, как мычали коровы, хлопали пастушки кнуты, играл звонкий рожок, выводили на разные голоса ближние и дальние ворота; разбирал носом запах дыма, соломы, парного молока, запах земли и утренней прохлады... и то, что не давало ему спать ночью, точно отошло от него, точно не выбрало себе места между приятными мыслями о хозяйстве и теми мыслями которые невольно приходят в голову, когда горит восток, просыпается трудовой деревенский день, настают неотложные заботы.

Но вот со двора на гумно отворились ворота, вышел с подбитым глазом Агафон, увидал отца на соломе, удивился и спросил:

— Батюшка, аль захворал?

Веденей, как встрепанный, вскочил с соломы.

— Выдумай, выдумай, зашамкал он, — ты вот жеребцу корму-то проворней задавай. Эка спит, эка валандается! Где Микитка-то?

— Чать, сам услал на выгон с лошадьми.

— Ну, ступай, ступай, готовь резку. Я пойду жеребца напою. Варила баба кулеш?

— Варить-то варила, да не разорваться ей. Ноне Дуняшка деньщица-то.

— Ну, ладно, ладно, ступай. Меси не дюже густо, — вчера замесили совсем словно тесто.

Когда солнце поднялось достаточно высоко, чтобы встать управителю, Веденей надел сверх полушибука зипун, подпоясался кушаком, нацепил медаль, схватил посошок и мелкою заботливой рысцой потрусили на барский двор.

Мартин Лукьяныч пил чай и все поглядывал в окно, не едет ли Николай от Рукодеева. Вдруг в передней послышалось осторожное покашливание.

— Кто там?

— Я, отец, староста Веденей. К твоей милости. Дозволь слово молвить...

— А, здравствуй, здравствуй! Входи. Что это тебе понадобилось спозаранку?

— Вот, отец, пришел... пришел... Что ж это будет такое? — Умильное лицо Веденея внезапно перекосилось и он всхлипнул.

Что такое случилось?

— Видно, отец, последние времена пришли... сыновья родителям в бороду вцепляются. Вот пришел, как твоя милость рассудит. Андрошка взбунтовался. Воротился вчера с базара, загрубил... неслыханное дело, отец, — на грудь наступает, требует, чтоб отдалить.

— Вот вздор! Я думал, бог знает что. Ты бы поучил его хорошенько.

Веденей замахал руками.

— И не подступись! Я к нему, а он от меня, я к нему, а он навастиривает лыжи в огороды. Я Микитке кричу, а Микитка с ноги на ногу переваливается. Разбой... как есть разбой, отец! Туда-сюда — ввечеру Дунькину родню привел: отдали!.. Я ему говорю: ой, Андronушка, под красную шапку попадешь... ой, господь накажет за родителя! Не внимает моим словам... А Дунькин отец подзуживает... такие слова стали говорить!.. Что ж вы, мол, озорничаете в чужом дому? А Дунька так и кидается, так и кидается. Нехорошим словом меня обозвала... Овдотьушка, говорю, потишиай, уймись, войди в разум... Куда тебе!.. Разлетелась, хвать Агафошу за бороду. И пошло!.. Ейная родня встряла, с Акулины повойник сшибли... сгрудились да на улицу!.. Пришла ночь, взял Андрошка воровским манером жену, парнишку, три дерюги, два зипуна... клеть на замок — ушли к тестю. — Веденей опять всхлипнул, развел руками и сказал: — Разсуди, отец.

— Гм... — Мартин Лукьяныч побарабанил пальцами, — да тебе чего ж хочется?

— Как ты, отец! Я на твою милость располагаюсь. Мы завсегда ваши верные слуги... — Веденей пал в ноги Мар-

тину Лукьянчу; Мартин Лукьянч допил последний глоток с блюдечка, потом велел встать Веденею и сказал:

— В землю кланяться нечего, я не бог. Говори, что нужно.

Веденей поднялся, отер слезящиеся глаза и выговорил дрожащим, плачущим голоском:

— Есть мое родительское намерение, отец, спервоначала его выпороть... а уж там, — господь с ним, — отдать в солдаты. А что касающе Овдотьи, — пущай, отец... Христос с ней!.. Пущай постегают ее при стариках и будя, — с бабы взять нечего.

Мартин Лукьянч протяжно посвистал.

— Ну, староста, эти времена прошли! В солдаты отдать никак невозможно, — нет закона.

— Как, отец, нет закона, за непокорство-то? Да давно ли ты Сёмку Власова забрил?

— То-то давно ли, — насмешливо сказал управитель, — ты уж из памяти стал выживать. Тринадцать лет, старый дурак! Да что с тобой толковать: говорю — нет закона, значит — нет. Ежели еще старики с тобой согласятся, — ну, так.

Веденей поник головою.

— Где, отец, согласиться, — сказал он грустно, — чать, я старикам-то не дюже мил. Рассуди уж ты, а с миром мне делать нечего.

— В солдаты отдумай, — нельзя. Да и глупо, — работник Андрошка хороший. Выдумай что-нибудь получше.

— Ну, а выпороть ежели — будет твоя милость?

— Это, пожалуй, можно. Напишу записку волостному писарю, он устроит там.

— Значит, уж и Дуньку?

— Не-э-эт, брат, эти времена прошли! Баб сечь не велено.

— Как, отец, не велено? Мне Дуньку никак невозможно ослобонить. Сделай такую милость.

— Чудак ты! Говорят — нельзя. Закон.

— Ну, что ж, иди. Я, брат тут ничего не могу, — сказал наконец Мартин Лукьянч, — вы теперь вольные, своим умом живете.

— Смилуйся, отец... пожалей! — заплакал стариик. — Кто себя считает вольным, тот считай... А мы завсегда рабы вашей милости... Смилуйся, рассуди, отец!

— Я уж тебе сказал, — нетерпеливо крикнул Мартин Лукьянч, — в солдаты — нельзя, бабу выпороть — нельзя. Дам записку писарю, больше ничего не могу сделать.

— Ну, а жить-то его принудишь со мной?.. Что же это будет? У твоей милости набрана работа, на своей земле посев, на барской... Ужли батрака нанимать? Он теперь, я знаю... Дунькина родня всего ему назудит. Он и не воротится.

— Ну, уж тут ничего не поделаешь. Силком никак нельзя принудить.

— Ах, ах... последние времена! Последние времена!.. Ну, коли так, господь с ним, пущай побирается!.. Не захотел есть отцовского хлеба, ну пущай... Под окно придет — корки не подам!.. Небось, не наживется у тестя!.. У тестя у самого еле до новинь хватает. А я тебя теперь буду молить об одном: отец, не давай ты ему земли... И на барщину не принимай. Пущай брюхо-то подведет.

— Ну, нашамкал ты, а слушать нечего. Да старики-то как, — потянут твою руку?

— А мне что старики? В своем добре я, чать, волен.

— А еще староста называешься. Мирской сход велит выделить, и выделишь.

Веденей растерянно выпучил глаза.

— Как, отец? — пролепетал он коснеющими губами.

— Очень просто. Велит и выделишь.

Лицо старика дрогнуло, он опять повалился в ноги управителю.

— Батюшка! Отец родной!.. Заступись!.. Что ж это будет такое?.. Сколько лет наживал... маялся... ночей не спал... Благодетели вы наши!

— Слушай, староста, — строго сказал Мартин Лукьяныч, — встань. Я тебе русским языком толкую — нельзя. Было время, я бы тебе слова не сказал. А теперь нельзя. Хорошо ли это, худо ли, нас не спрашивают. Нечего и толковать. Теперь ты говоришь — пускай побирается, а я тебе говорю — глупо. Хороший работник, баба — хорошая работница, попрежнему прямо на тягло бы посадили. И тягло было бы не в убыток помещику. А ты говоришь — пусть побираются. Но это дело твое, там уж ты со стариками как знаешь. Со своей же стороны я тебе вот что скажу... Матрена, позови конторщика!

Агей Данилыч вошел и остановился у притолки.

— Дымкин, — сказал Мартин Лукьяныч, — посмотри по книге, сколько долгу за старостой. Вот, брат, времена: сын отделяется.

Агей Данилыч посмотрел на Веденея и с сожалением почмокал губами.

— Пороть, пороть надо, сударь мой! — сказал он и пошел в контору, а спустя пять минут доложил управителю:

— Долгу за ним состоит по нонешнее число 123 рубля 17 $\frac{3}{4}$ копеек.

Веденей безучастно покосился на Агеля Данилыча.

— Вот видишь, — произнес Мартин Лукьяныч, — теперь ты помрешь, кто же мне будет платить?

— Расплатимся, отец... Бог даст, расплатимся... — вялым голосом пробормотал Веденей.

— То-то, расплатимся. Никитка твой не женат; помри ты, неизвестно, что будет.

— Бог даст, женим... женим...

— Это когда еще будет. Теперь скажи на милость, как же я не дам земли Андрошке или не велю принимать его на барщину? Жалко-то мне тебя жалко, но все же господскую копейку я должен наблюдать. Мой совет: отдели его, дай ему там, чтобы стал на ноги, а потом приходите ко мне, я между вами долг разделяю. Слышишь?

— Слышу, слышу, отец... — отозвался Веденей, но отозвался только из приличия, потому что перестал интересоваться словами управителя и едва пересиливал равнодушное и скучающее выражение, готовое пропустить на лице. Мартин Лукьяныч тотчас же заметил это.

— А если не нравится, — сказал он, — приноси долг и тогда делайте, как знаете. Из уважения к тебе могу не давать земли. То-есть... когда долг принесешь.

Веденей испуганно взметнул глазами. Правда, у него было семь одоньев старого хлеба, жеребец в полтораста целковых (кому не нужно — дадут!) и, что всего важнее, была зарыта кубышка в подполье, а в кубышке — восемнадцать золотых да десятков семь старинных рублевиков, но чтобы взять да и отдать долг в контору, ему и в голову не приходило, — это было бы ни с чем не сообразно, могло втремяшиться только в очень глупую и нехозяйственную башку. Не такова была башка у старости Веденея.

— Что ты, что ты, отец, — зашамкал он жалобным голосом, — да откуда сразу эдакие деньги?.. Да меня хоть распотроши... И так-то бьешься через пень-колоду... И так, кабы не твоя милость, не знать, что и делать... Благодетели вы наши!

— Ну, как знаешь. Я сказал. Прощай. Да! Погоди немножко... Матрена! Возьми самовар, напой старосту чаем.

Оставшись с конторщиком, управитель сказал:

— А, Дымкин... в самом деле, какие времена! Какой двор рушится! До чего дожили! Жаль. И ведь что скверно — дурной пример. Теперь и пойдут делиться, анафемы, и пойдут. Если бы еще брат с братом. Брат с братом всегда делились. Но это ведь сын с отцом... Ты подумай! Дурной пример, дурной.

— Удивительно-с, — согласился Агей Данилыч, — нарочитое помрачение умов, сударь мой. Мировые учреждения, земство, гласный суд... К чему это-с? Для какой надобности? Для мужика, если вы хотите знать, одно учреждение — конюшня-с. Отодрать его на конюшне — вот ему и учреждение. С какой стати-с?

Мартин Лукьяныч тяжко вздохнул и, подойдя к окну, стал смотреть на дорогу.

— То-то и оно-то, Агей Данилыч, что нас с тобой не спрашивают, — сказал он и, помолчавши, добавил: — Чтой-то, я смотрю, Николая не видать?.. А ты читал — в газетах пишут — холера? Как бы к нам не пожаловала.

— Все больше чернядь мрет, — равнодушно сказал Агей Данилыч, — и в сорок восьмом году, и в тридцатом — все чернядь валила. От необразования.

— Ну, не говори. Бог захочет, и образованного настигнет. Это ты не говори... Чтой-то он запропастился?.. Да! Я и забыл... Напиши, пожалуйста, записочку волостному писарю, что, мол, Мартин Лукьяныч просит, чтоб Андрона высекли. Он уж знает там... Староста, вот возьмешь тогда записку насчет Андрона, волостному писарю отдашь.

Выпив пять или шесть чашек, — впрочем больше по привычке пить чай в канторе, нежели из удовольствия, — Веденей устремился домой. Бежал он сгорбившись, мелкими шажками, высоко подымая лапотки, помахивая посошком; глаза опустил вниз, ворчал себе в бороду: „Нету правды на свете... нету... нету... Ахти-хти-хти!..“ Задами, вдоль речки и потом с гумна, подошел он к своему двору и осталбенел: с улицы, от избы ясно доносился большой говор. „Никак сходка... — прошептал он, пристальнее вникая ухом, — и впрямь сходка!.. Ахти-хти-хти!..“ — и опять задами помчался к сборной избе, где жил и посельный писарь унтер Ерофеич. Унтер Ерофеич сидел на крылечке и пил водку из только что початого полштофа. Нос у него так и краснелся над оттопыренными закуренными табаком усами.

— Отец! Что же это будя?.. — заголосил Веденей, размахивая руками. — Самовольный сход... сход самовольный собрался! Надо запрягать, надо запрягать... либо к старшине, либо к посредственнику надо ехать.

Унтер Ерофеич допил стаканчик, крякнул, пригладил усы и сказал:

— Что ж, поезжай: арестантская давно по тебе плачет.

— И поеду! И поеду! Что ты меня пужаешь? И ты собирайся.

— Нет, видно он не поедет, — ему дома хорошо...

— Как ты можешь эдакие слова? Ты — писарь. Вот она мядаль, аль не видишь?

— Возможно ли не видать. Ты не прибегал, а я уж ее видел, медаль-то твою... Где тут сучка-то была... фю! Раскепка!.. Вон твоя медаль...

Веденей и сам был не высокого мнения о своей медали, но он подумал, что Ерофеич говорит неспроста, вышел из себя и завизжал:

— Ты чью водку-то лопаешь, а?.. Ты думаешь, я не вижу, чья водка-то? Душегубы!.. Христопродавцы!.. Вот

погоди ужо — управителю скажу... Погоди, дай в контору сбегать... Он тебя рано попрет из деревни!

— Беги скорей, не опоздай, — сказал унтер Ерофеич и опять выпил стаканчик и закусил.

Староста вдруг с растерянным и утомленным видом сел и молча стал глядеть на унтера. От того места, где собралась сходка, доносился шум. Унтер набил трубку, расправил усы, закурил и внушительно поглядел на старосту.

— Глуп ты, дядя Веденей, глуп, — сказал он по-солдатски, отрывая слова, — знаешь закон? Нет, не знаешь. За что старостой поставлен? За что — неизвестно... Ерофеев знает закон. Он в полку имени его величества Фридриха Вильгельма короля прусского двадцать-пять лет отзвонил. Что ты медаль суешь? Он пять имет, шеврон, Егорий. Вздумал с кем тягаться.

— Полштоф-ат за что взял? — смирным, усталым голосом выговорил Веденей.

— А за то и взял, что знаю закон. Тебе не принесут. Ты — сиволап, тебе и не принесут. Если хочешь, скажу, кто и принес: Андрон. „Есть закон собирать стариков при семейных разделах?“ — Есть. — Может опчество понудить родителя, чтоб выделить сына? — Может. — „Получай полштоф“. — Давай. — Вот и разговор весь. Что есть выше закона, отвечай?.. Управитель? — Врешь. Старшина? — Опять врешь. Господин мировой посредник? — И опять соврешь, ежели скажешь. Выше закона — фухтелья. Понял? Но это часть военная.

— Ахти-хти-хти... Как же, Ерофеич, неушто итти мне к ним?

— А ты думал как? На то и сход, чтоб тебе там присутствовать. Ты кто? Ну, и ступай.

— Ахти-хти-хти... — с глубоким звоном проговорил Веденей, надвинул шляпенку, поправил свою медаль, понурился и тихо побрел улицей к своей избе, где на крыльце, около крыльца и на улице толпился народ. На лавочке крылечка сидели под ряд сивобородые, чинные, туго подпоясанные старики, с посошками в руках, в высоких шляпах. Между ними замешалась одна только смоляная борода Сидора Нечаева да лоснились отдутые щеки молодого богача Шашлова с рыжим клинушком пониже губы. Сам старик Шашлов в мирские дела не вмешивался. Менее почетные и которые помоложе толпились у крыльца и перед лавочкой. Агафон и Акулина с любопытством выглядывали из сеней. Андрон, намасленный и расчесанный волосок к волоску, стоял без шапки, с смиренно потупленными глазами... Он держался поближе к сивобородым. Гараська Арсюшин, в картузе, надвинутом набекрень, то урывками затягивался

из рукава цыгаркой, то будто уязвленный метался по народу и звонко, надсаживаясь, кричал, стараясь заглушить тех, с кем спорил. Одних с ним лет и тоже в картузе и с таким же оглушительно-наянившим голосом был еще домохозяин — рябой и кривоносый Аношка. Они так и держались вместе, кричали иногда слово-в-слово одно и тоже. У обоих и отцы находились здесь. Арсений сидел в почетном месте — на лавке, Аношкин отец стоял в толпе и робко озирался из-под своего рваного треуха: он был самый бедный мужик в деревне. Вообще почет распределялся не только по бороде, по одеже, по тому, чем была накрыта голова, но и по запаху: на крыльце и у самого крыльца гуще пахло дегтем от сапог, коровьим маслом от волос, Андроновой водкой, нежели за крыльцом и на улице. Вся улица перед Веденеевой избой запрудилась посторонним народом: сюда собирались рябятишки со всей деревни, парни, бабы и даже девки; девки впрочем старались не выступать наперед. Как только показался Веденей, говор стих. Вдруг Гараська оскалил зубы, усмехнулся, раздувая ноздрями, и сказал: „Вот и костяная яишица! С виду скучна, в рот — зубы сломаешь“. Аноша тотчас же подхватил: „Повадка волчина — лик-ат андельский!“ Оба выговорили так метко и похоже на старосту Веденея, что все, кто слышал, разразились хохотом. Веденей сразу догадался, что это над ним, и его сердце заныло еще больше. В хохote он ясно различил и радостный смешок Сидора Нечаева, и визгливое захлебывание молодого Шашлова, и, что всего горестнее для Веденея, солидный, с раскатцем, смех строгого старика Ларивона Власова, и сиплое хихиканье „непотатчика таким делам“ Афанасия Яклича. Еще ниже сгорбился Веденей и еще смиреннее и умильнее сделался лицом. Не доходя шагов пяти до сходки, он снял свою шляпенку, поклонился. В ответ, не спеша, размеренными движениями, по очереди, поднялись шляпы, шапки, треухи; картузы остались неподвижны. Произошло краткое молчание.

— Ну, что ж, Веденей Макарыч, — проговорил с крыльца Ларивон Власов, — полезай сюда. Кабыть не пригоже такто. Ты — хозяин, мы — гости.

— Чать, не в канторе у притолки стоять, — управителя здесь нету! — буркнул Гараська, расталкивая народ, чтобы самому взобраться на крыльце.

Веденей надвинул шляпенку и, не подымая глаз, перевывая губами, вежливенько протеснился куда ему следовало; его левую щеку едва заметно подергивало. Сивобородые подвинулись, дали ему место на лавке.

— Вот Андрон жалится миру, — сказал Ларивон, не взглядывая на Веденея и уставив бороду в землю, — жалится миру, будто обида ему от тебя...

Андрон тряхнул волосами и поспешно заговорил:

— Как же не обида, господа старики?.. Четвертый год сапоги ношу — не допросишься. Чуть что — вожжами... бабу заездил на работе...

— Твоя речь впереди! — строго сказал Ларивон.

Гараська дернул Андрона за рукав и выразительно мигнул ему. Веденей вскочил с места, обнажил голову и низко поклонился на все стороны.

— Я миру не супротивник, — прошамкал он дрожащим голосом, — глядите, отцы, вам виднее... Кажись, добро свое не проматывал, нажитое не расточал... Вот, отцы, дом — полная чаша... коровы, овцы, лошади... Вот хлеба старого семь одоньев!

— Язычком добыто! — сказал Гараська.

— Помолчи, — шепнул ему отец.

Веденей сделал вид, что это его не касается.

— Теперича он говорит — вожжами... — продолжал он, — не потаю, отцы, случалось. Но чем же дом-ат держится, коли не строгостью? Я на тебя сошлюсь, Ларивон Власыч. аль на тебя, Сидор Егорыч, аль на тебя, Афанасий Яклич. Чать, ты, Власыч, не задумался Сёмке лоб забрить (Ларивон насупил свои лохматые брови), ты, Сидор Егорыч, случалось, бывал свово Пашку не токмо вожжами, а и — прямо надо говорить — чем попадя; а уж об тебе, Афанасий Яклич, и толковать не приходится!.. Ну, и что ж, отцы, неужто плохо? У кого полны закрома хлеба? У кого гумно ломится от одоньев? У кого порядок в дому?.. Все у вас, благодетели. Отцы! Я вот что скажу: сами знаете, сколь трудно домок собирать („Да, ежели хребтом!“ — не унимался Гараська)... Там пригляды, там прикажи, там приладь... Всюду — глаз, да руки, да ноги. Молодые-то и спать горазды, и выпить, бывает, не дураки, и работу не больно любят. Кому будить? Кому постращать? Кому указать, как работают — по-нашему, отцы, по-старински? Все на родителе, все на нас, господа старики!... Что же это теперь будя? Хозяйство, что горенка: сдвинь державу — все разлезется. Ты говоришь, Андроша, вожжи... Как же тебя, друг сердечный, не поучить, коли ты вот до сего часу отчета мне в деньгах не отдал? Давал я ему, отцы, на три косы, а он привез одноё и сам — хмельной. Рассудите, благодетели!

Андрон опять тряхнул волосами и сказал:

— Провалиться, старики, в рот капли не брал! А что до денег, которые он мне давал деньги, я хоть сичас... до последнего грошика цели.

— Помолчи малость! с неудовольствием сказал Ларивон.

— Эка у тебя язык-то, малый, свербит! — гневно крикнул Афанасий Яковлев.

И Веденей ободрился, что так гневно закричали на Андрона.

— Ну, теперь ты жалишься, Андроша, про сапоги, — еще умильнее сказал он. — Точно, старики, сапог я ему не покупал. К чему? Вот они у меня вытяжки-то, — и он приподнял свою ногу в лапте, — с малых лет отзваниваю.. Хуже ли я стал с того, лучше ли — не знаю. Но все же как-никак, случается, и почитают лапотника-то... вот сколько, может, годов старостой хожу... К чему же, отцы, сапоги? Жили, работали, наживали, сапог не нашивали! („Это верно“, — выговорил Ларивон. — „Правда, правда“, — подхватили старики. Веденей оживился и приподнял голос). Встарину говаривали: на пузе-то шелк, а в пузе-то щёлк.. Ты пожалься, Андронушка — хлеба не наедался, квасу-браги не напивался, убийники во щах не видывал, овчины на плечах не нашивал, — ну, иное дело, повинен я, стоит меня, старого хрыча, на осину! Сапоги носят, что говорить... да кто-о? Либо старики степенные.. на праздник, да на сходку, либо у кого мошна звенит, денег куры не клюют, кто злато-серебро лопатой загребает. Вот Максим Естифеич носит, так ему это под стать, друг сердешный! (По губам Максима Шашлова пробежала самодовольная улыбка). Али взять удалую головушку, хвата, с лица — кровь с молоком, хоть бы, примерно, Герасима Арсеньича („Не подлаживайся, старый шут!“ — огрызнулся Гараська, однакоже с ухарским видом поправил картуз). А нам с тобой, Андронинка, куда не к рылу сапоги! (Старики засмеялись). Нет, отцы! Он жалится, пущай и я буду вам докучать. Вот воротился вчерась с базара, нагрубил, нагрубил... Что ж это будя?.. Полез в драку, родителю в бороду цепляется...

— Кто в тебя цеплялся, побойся бога, — сказал Авдотьин отец.

— Цеплялись, цеплялись! — вдруг разозлился и заголосил Веденей. — Твой же Андрюшка меня по уху съезил!.. Рассудите, старики.. Вот пришли.. вот в чужом дому драку затеяли.. С Акулины повойник сшибли, Агафону глаз испортили.. Что ж это будя? — но он тотчас же уловил, что его запальчивость не нравится старикам, что Сидор Нечаев уже готовится раскрыть рот перебить его, и тотчас же стих и прежним кротким голосом сказал: — Ты вот, Андронушка, бунтуешься, старики-отца убить собирался... А отец-то не в тебя, а отец-то сердце родительское имеет! Вот, старики, побежал я ионе к Мартину Лукьянечу.. вот побежал... как быть? А он так-то разгневался, благодетели, так-то раскрычался. „Брей лоб, ступай к посредственнику! Бери от меня бумагу!“ (Андрон переступил с ноги на ногу и побледнел). Как быть?.. Родительское сердце — не камень, отцы! Вот пал в ноги.. вот умолил. Пущай, что дальше будет. Посечь

посеку, это уж ты не обижайся, друг сердешный, вот и бумага к волостному, и Веденей бережно вынул из-за пазухи и торжественно, так, чтобы все видели, показал конверт с огромною сургучною печатью,— а лоб тебе брить покамест погожу. „Вот, говорю, отец, Андронушка мир мутит, разделу требует, водкой угощает старииков... Как быть?“ — „А вот как, говорит, ежели тебе какая обида — со мной будут иметь дело, а не с тобой. А я уж, господь даст, рано с миром справлюсь!“ — После этого Веденей вдруг опять понурился, сделал жалобное лицо, снял шляпенку, низко поклонился на все стороны и пресекающимся, слезливым голоском проговорил: — А иное дело, я миру не супротивник... Глядите, отцы, вам виднее. Рассудите дом рушить — рушьте. Укажите нажитое по ветру пустить — пушайте... Вам виднее! — всхлипнул он, отер заскорузлыми пальцами глаза, надвинул шляпу и сиротливо прислонился к стене.

Наступило гробовое молчание.

— Что ж, Андрон... — выговорил Ларивон Власов, переглянувшись с старииками, — видно, тово... покорись: проси прощенья у родителя!

Лицо Андрона дрогнуло, губы затряслись... еще мгновение, и он готов был упасть в ноги отцу, как вдруг Гараська и Аношка с остервенелыми лицами бросились к Веденею и, широко разевая рты, неистово размахивая руками, закричали, надсаживаясь, изо всей мочи. Точно волна пробежала по народу. Поднялся сплошной, неописуемый шум.

Можно было заметить — у кого седины было меньше, тот громче и язвительнее донимал Веденея и степенных старииков. Многие из седых не задевали сверстников, но не щадили Веденея. Одни высекали вперед и кричали на чистоту, что им приходило в голову; другие поступали с лукавством: крикнут, ругнут и спрячутся в толпу; третьи горланили, не обращаясь ни к кому в отдельности, не прячась и не выказываясь, мало заботясь, чтобы их услышали, бескорыстно наслаждаясь оглушительным звуком своих собственных слов; четвертые схватывались ругаться с соседом или с тем, на которого давно имели зуб, спорили, не слушая, налетали друг на друга как петухи; пятые старались говорить веско и запутанно, выбирая для этого время, когда шум около них несколько стихал. Наиболее опытные, мудрые и хладнокровные тихо переговаривались и переглядывались дожидаясь, пока наступит их очередь.

Прежний распорядок сходки — почетные и захудалые, в сапогах, смазанных дегтем, и в лаптишках, в шляпах и в рваных треухах, — все теперь сбровилось, спуталось, перемешалось. Взбегали на крыльцо, сходили оттуда, опять взбегали. Какой-нибудь голяк в заплатанном зипунишке

подскакивал к сивобородым и лаялся с непринужденною яростью. Толпу точно волновала буря. Гараська и Аношка носились как на крыльях. Одну минуту их можно было видеть у самой бородёнки Веденея; можно было подумать— вот-вот они вцепятся в него, но через мгновение их картузы чернелись уже на улице и задорные, охрипшие голоса уличали какого-нибудь нечаянного почитателя старины. Внутренно доведенный до белого каления, Веденей злобно сверкал своими красноватыми глазками, щурился, подергивался, много раз готов был заголосить тем надтреснутым визом, который был ему свойственен, но быстро спохватывался и молчал, насильственно улыбаясь, или со вздохом произносил: „Ахти-хти-хти!...“ Он тоже выжидал своей очереди. Андрон и Агафон галдели во всю глотку, налетая друг на друга с кулаками. Но никто не думал, что они подерутся, потому что наскоки делались только для вида. Драка на сходке была не в обычae.

Крики, наконец, стали ослабевать, запас попреков, острот, язвительных и ругательных слов начал истощаться, приближалось затишье. Наступало то время, когда более опытные, влиятельные и мудрые взвешивали все, наговоренное на сходке, и, сообразно с этим, провозглашали свое мнение, непременно заканчивая его вопросом: „Так что ли старички? Согласны?“ — на что следовал обыкновенный ответ: „Так, так!.. Согласны... Чего лучше!.. Мир — велиk человек... Умнее мира не будешь!“ На этой сходке чрезвычайно много было наговорено злобного, обидного, неприятного Веденею, много было наслуено ему всякой всячины, много вспомянуто его нехороших и лукавых дел и козней против мира, тем не менее насчет выдела Андрона высказывалось не более пяти человек. И эти пять человек сами понимали, что „не выгорело“. Гараська уже сел, привел в обычный порядок лицо и стал вертеть цыгарку. Аношка вяло доругивался. Андрон опять стоял, смиренно потупившись и сложа руки у пояса. Губы Веденея начинали складываться в приятную улыбку. Ларивон Власов, пошептавшись с стариками, готовился опять повторить то, что сказал сначала: „Что ж, Андрон, видно, тово... покорись: проси прощенья у родителя!“ Все понимали, что сейчас сходка кончится и чем кончится и что можно будет расходиться по домам.

Но в это время случилось внезапное событие, повернувшее весь ход дела. Дядя Ивлий трусил на своей косматой кобылке ломой обедать. Ехал Ивлий не в духе, сердитый на Веденея: Мартин Лукьяныч сказал зачем Веденей приходил к нему, пожалел, что „рушится хороший дом“, и сказал, что „не прежнее время, ничего не поделаешь с этим безобразием“, что все будет, „как захотят старики“. Увидал дядя Ивлий сход, захотелось ему узнать, чем порешили, но

вместе с тем и спешил обедать; не подъезжая к старикам, он остановил кобылу у кучки баб, среди которых заметил солдатку Василису и, подозвав ее, спросил:

— Что, Митревна, чем порешили Веденея?

— Вывернулся, беззубый паралик! — отвечала та с живейшим негодованием. — Галдели-галдели, грызли-грызли его, а, должно, придется Андрошке покориться.

— Как так покориться?

— Да так. Все толстопузый-то твой вламывается, куда ему не след (подразумевался Мартин Лукьяныч)!

— Ты угорела, девка! Чем он вламывается?

— Как же чем! Веденей такого тут страху нагнал... Да и впрямь задумаешься: ишь, управитель грозился Андрошке лоб забрить, Овдотью — выпороть. Статочное ли дело пузатый родимец, бабу бесчестить! „А ежели, говорит, тебе какая обида будет от старииков — я с миром рано управлюсь“. Небось глотку-то перехватит от таких посолов!

Ивлий так и рассмеялся от радости.

— Ну беги ж ты, девка, щепни Сидору что ль, аль Гарасиму... — сказал он, нагибаясь с седла, и рассказал, что щепнуть, а сам, внутренно помирая со смеху, потрусили далее.

Скоро самые задние в толпе, уже мирно толковавшие, что весна больно хороша для трав, что, надо быть, со дня на день погонять сеять барскую гречиху, что, говорят, в село приехал новый поп, зять отца Григория, что в Митрохине, сказывают, выгорело семь дворов, что болтали вчера в волости, будто идет холера, — эти самые задние были несказанно удивлены страшным шумом, случившимся на крыльце, новым взрывом ругани, попреков, острот и язвительных слов. Спустя минуту опять все заколыхалось, смешалось и зашумело. Но теперь уже чаще и чаще стало слышаться: „Выделить! Выделить!.. Нечего поношаться!.. Сколько над миром поношался, а теперь и сынов запрег... Будя!.. Выделить!“ Веденей, ошеломленный неожиданностью, очертя голову бросился в свалку, визжал, шамкал, брызгался слюнами, огрызаясь точно волк от наступающих собак. Гараська и Аношка ни на пядь не отставали от него, как впились. Чувствуя свою силу, они даже не злились теперь и не ругались, а только глумились над стариком. Как перед тем все были уверены, что Андрошке придется покориться, так теперь были уверены, что его дело выгорело. Об этом знала вся деревня. Даже ребятишки, бегавшие без порток позади толпы и утиравшие себе сопли спущенными рукавами, — даже эти ребятишки знали.

Вновь наступило затишье. Веденей, прислонившись к стене, тяжко переводил дыхание и поминутно покашливал. На нем лица не было.

— Значит, мир рассудил тебе, Веденей Макарыч, отдельть Андрона,— медленно выговорил Ларивон Власов и, обратившись к народу, крикнул: — Так что ль старички? Согласны?

Послышался одобрительный гул.

— Теперича как быть? Выбрать пятерых которых... чтоб, примерно, за деляжкой понаблюли, чтоб без обиды, побожьему. Так что ль? Согласны, старички?

Опять послышался одобрительный гул.

Без всяких пререканий выбрали Ларивона Власова, молодого Шашлова, Сидора Нечаева, Гараську и Афанасия Яклича.

А когда Гараська, сославшись на недосуг, отказался, заменили его Аношкой.

— Ну, когда же соберемся? — спросил Ларивон у выборных уже приватным, неофициальным голосом, — чать, не ближе воскресенья. Гляди, как бы с завтра грешиху сеять.

— Что ж, в воскресенье и в воскресенье. Андрон, тебе как?

— Что ж, господа старики, — запинаясь от радостного волнения, ответил Андрон, — как вы повблите! — но вдруг вспомнил, что идет в казаки. — Только, коли милость ваша будя, доверяю свою часть жене... аль вот батюшке-тестю. Мне, признаться, кое-куда отлучиться нужно.

— Это дело твое, — сказали старики, — пущай Овдотья получает. Муж да жена — одна сатана.

— Так вот, Веденей Макарыч, — выговорил Ларивон Власов, с сочувствием взглянув на старика, — видно, рад не рад — жди в воскресенье гостей. Мир, друг, не переспоришь.

— Да припасай полведра! — засмеявшись добавил Аношка.

Веденей открыл беззубый рот, хотел что-то сказать, — что-то горькое и угрожающее, — захлебнулся слезами, всхлипнул и, махнув рукою, пошатываясь побрел в избу.

А. И. Эртель.

1. Отметить зависимость деревни от барской усадьбы (пережитки крепостничества в пореформенной деревне).

2. Какие причины порождают недовольство своим положением у Андрона?

3. Что объединило Андрона и Гаврилу в их решении уйти из деревни?

4. Чем привлекала жизнь в „казаках“?

5. Почему Веденей не хотел раздела?

6. Кто стоял на сходке за раздел или против него и почему?

7. Что повлияло на решение сходки?

8. Что нового появилось в крестьянской жизни (ср. „Бурмистр“)?
9. Охарактеризуйте Веденея (внешний облик, роль в семье, хозяйственность, особенности личности).

1. Выберите наиболее яркие примеры крестьянской речи.
2. Попробуйте заменить их литературными выражениями. Всегда ли выигрывает выразительность от такой замены?
3. Бывали ли вы на крестьянской сходке? Расскажите о ней сохранив особенности говора участников сходки.
4. Записывайте народные речения, поразившие вас меткостью, яркой изобразительностью. Составьте словарик местных слов, неизвестных в литературном языке (провинциализмы).

Что ни год — уменьшаются силы.

Что ни год — уменьшаются силы,
Ум ленивее, кровь холоднее...
Мать-отчизна! Дойду до могилы,
не дождавшись свободы твоей!
Но желал бы я знать, умирая,
что стоишь ты на верном пути,
что твой пахарь, поля засевая,
видит ведренный день впереди;
чтобы ветер родного селенья
звук единый до слуха донес,
под которым не слышно кипенья
человеческой крови и слез.

1860 г.

Н. Некрасов.

С в о б о д а .

Родина-маты! По равнинам твоим
Я не езжал еще с чувством таким.
Вижу дитя на руках у родимой,
Сердце волнуется думой любимой:
В добрую пору дитя родилось,
Милостив бог, не узнаешь ты слез.
С детства никем не запуган, свободен,
Выберешь дело, к которому годен;
Хочешь — останешься век мужиком,
Сможешь — под небо взовьешься орлом.
В этих фантазиях много ошибок:
ум человеческий тонок и гибок;
Знаю: на место сетей крепостных
люди придумали много иных...
Так!.. но распутать их легче народу.
Муза, с надеждой приветствуя свободу!

1861 г.

Н. Некрасов.

1. Отметьте разницу в настроении поэта по первому и второму стихотворению.
2. В какой мере можно назвать „фантазиями“ мечты поэта во втором стихотворении?
3. На какие „иные сети“ указывает поэт в последних строфах второго стихотворения?
4. Раскройте смысл этих строф, читая рассказ Вольнова „В работниках“, изображающий жизнь крестьян после отмены „сетей крепостных“.

В работниках.

I.

В пастушонки.

В марте месяце, перед жаворонками, приехал к нам Созонт Максимович Шавров, скотопромышленник и богатый человек из Мокрых Выселок.

— Хозяин дома? — постучал он в двери.

— Дома, дома, — отзовались наши. — Заходите, гостем будете.

В избу вошел коренастый мужик среднего роста, широкоплечий, с небольшою лысиной, краснобородый.

Отец, как ужаленный, соскочил с голобца, оправил рубаху и, моргнув сестре, поздоровался с ним за руку. Мать спешно сдернула столешник со стола, немытые ложки и солоницу, вытерла тряпкой лавку, говоря умильно:

— Присядь, покуда что, присядь, миленочек...

Мотя побежала за водой на самовар.

Вздыхая и покашливая, Созонт Максимович неторопливо снял тулуп, оставшись в новом, романовском дубленом полушибке с вышивкой на груди и в коломенской с махрами подпояске.

— Старик, чайку бы гостю-то, — несмело вымолвила мать.

Отец весело ответил:

— Девка побежала уж. — И опять незаметно моргнул матери, щелкнув себе подбородок. Мать схватила из угла стеклянную посудину.

Гость сказал отцу:

— Я насчет должику, Лаврентьевич... Чисто смерть — расходы одолели, подати, страховка, жеребца, вот, купил... ты уж как-нибудь похлопочи, пожалуйста, я в случае чего — опять ссужу...

Отец, глядя в окно на серую, в яблоках, лошадь, запряженную в легкие козыри, проговорил, вздыхая:

— Лошадка — важная... Что твой князь, — теперь ты ездишь, Созонт Максимович.

Глаза гостя заблестели удовольствием, но сейчас спрятались под густыми бровями, и он сокрушенно ответил, оправляя бороду:

— Куда уж нам... Намедни князь-то — с колокольчиком и кучер в перьях... Не угнаться нам за ним, за князем-то...

Созонт Максимович — приблудный сын Максы Шаврова. У него — ветряная мельница, лавка, маслобойня, крупорушка и денег несметное множество. Половина Осташкова, окрестные деревни и своя — Мокрые Выселки — должники его.

Созонт Максимович безграмотен, но должников знает, хозяйство и лавку ведет — дай бог вся кому, никогда ни в чем не ошибается и сроки платежей не пропускает.

— Нынче к шестому тебе, а деньжат собрал пять красивых, ну-ко-ся подумай, — говорит он ласково отцу. — С тебя там что приходится.

— Четыре пятищицы, — кряхтит отец.

— И то никак четыре, — жмурится Шавров. — Четыре, да... Пенечку не измял еще?

Отец чешет живот и сплевывает в угол.

— Ишь ты — веник-то в пороге бросили, холерные, — согибаются он у дверей. — Места не найдут получше, так и суют под ногами...

— Бабье дело — глупое, — смеется гость, — баба... Что, овина два, чай, было или больше. Нынче, слава богу, пенька добрая: зеленая, волнистая, как шелк... Пудиков пятнадцать вышло.

Отец, вздыхая, лезет в горнушку за табаком и кричит Моте:

— Скоро, что ли, самовар-то!

Шавров зевает, крестя рот. Ему надо узнать, цела ли у нас пенька, которая обещана за долг, а отец продал ее, не мявши, еще осенью и отваливает.

Созонт чует это, но — играет. С кутника мне видно, как кривятся его губы под пушистыми усами, маленькие, сверлящие глаза иглами впиваются в спину отца, а когда тот оборачивается, тухнут, становясь невинно-добродушными, почти ребяческими.

— По знакомству я тебе копеечку на пуд надбавлю против базара, а?

— Оно коне-ешно, — говорит отец и бежит в чулан...

— У нас от праздника селедочка осталась, — ухмыляется он: — мы съедим ее за чаем-то, а то еще протухнет, грешная. — И вопросительно глядит в лицо Шаврова.

— Мо-ожно, — тянет гость, — отчего-о нельзя. С нее чаю выпьешь больше...

Обернувшись к вошедшей матери, он говорит: — Мы тут с мужиком твоим насчет пенечки толковали... Благодать у вас, Ондреевна, мочить ее в реке... Вон у Ведмедевских в копани-то желтая, куркузая, как жулик, а у вас на подбор — волокно к волокну...

Мать, поставив на скамейку ногу, подвязывает оборвавшуюся лапотную веревку.

— Кабы достатки, — говорит она, вытирая нос, — весной бы рубля по три шла, а то по два с четью ухайдакали.

Отец лезет под лавку за бруском — ножик поточить, а Шавров вздыхает.

— Ишь ты, уж прода-ли... Знамо дело — весна цену надбавляет... Жалко, что по два с четью ухайдакали.

— Разве с ними говоришь, — кричит отец, сидя на корточках. — Прода-ай, старик, прода-ай, старик. Вороны... Я им: — погодите, бабы, вот Созонт Максимович приедет — разговор у нас с ним был, а они, будье: по-одати, христово рождество... Черти драные...

Мать удивленно смотрит на отца, будто собираясь сказать: „что-ж ты брешешь, старый дьявол“ — но молчит; сестра моет чашки, я играю с дымчатым котенком Фролкой.

— Значит, та-ак, — гладит бороду Шавров: — поторопились малость: я бы много больше дал... Ну, что же делать, сами виноваты... Ишь ты и котенок-то какой веселый, — оборачивается он ко мне. — Поцарапал, поди, руки-то.

— Нет, он легонько, — отвечаю я. — Он — умный.

Созонт Максимович оправляет подпояску, пристально разглядывает меня со всех сторон, и, потягиваясь, говорит:

— Слушай-ка, Лаврентьевич: у тебя мальчионка-то никак пустопорожний, а? Отдай-ка, братец, в пастушонки, правое слово... Денег-то, чай, в доме мало — самому нужно, а я в цене не обижу...

Отец смотрит на меня и на сестру, которая пыхтит у самовара, стучит пальцами о стол и говорит раздумчиво:

— Денег, Созонушка, если по правде, совсем нету ни гроша. — Оглядев всех нас поочередно, он конфузливо смеется.

— То-то вот и дело, — разводит руками гость.

За столом, во время чая, Созонт Максимович еще раз осмотрел меня, велел подняться, потом вымолвил:

— Тринадцать цариков, хозяйские лапти, к Троице — новый картуз, служить до Покрова, до белых мух...

Отец вздохнул:

— Уж, видно, тому делу быть.

Распили магарыч, помолились богу, ударили по рукам. Созонт Максимович уехал во-свойси.

А через неделю мать уложила мне в мешок две смены рубах, суконные онучи, гребешок и шарф, надела новый крест, дала теплые варежки и, благословив, заплакала.

— Слушайся, детенычек, хозяина, не озоруй, — причитала она.

С этаких-то пор в чужие лю-юди...

Дом Шавровых — самый видный. С середины деревушки, на широкой, прямой улице желтеют новые ворота, узкое крыльце с лохматым ковылем, красные оконные наличники и просмоленная тесовая крыша. Через дорогу, около сарайя, кирпичная лавка под железом. Торговля мелкого и крупного товару. У крыльца — колодец с журавлем, левее — маслобойня.

В просторных сенях с потолком и деревянным полом нас встретила краснощекая сноха Максимыча — солдатка Павла. В руках у нее — глиняная чашка рыбьего студня, под мышкою — хрен. Скрипя полусапожками на медных подковах, она через плечо сказала, оглядев нас:

— Подождите на крыльце: мы обедаем.

— Кто там, Павленька, — спросил из теплушки Созонт Максимович.

— Не знаю, — дернула баба головою: — какой-то чужедеревенский мужик с мальчишкой.

— Это мы, Максимыч, мы-ы, — отозвался отец, снимая в дверях шапку. — Пастуха тебе привез — Ванюшку, — и полез за бабой в избу. — Что ж ты стал, пойдем, — обернулся он ко мне: — Приглядь волосья-то...

Изба — светлая, чистая, в два больших окна, с деревянными половиками от дверей по белому полу. В задней стене — полуステкленная дверь в горницу, у печки шкачик для посуды, в углу — деревянная кровать под одеялом из разных лоскутков, на косяке в проволочной клетке — пара веселых перепелов, а на шестке, у блюдечка с водою, сизый ручной голубь.

За широким крашеным столом под образами — сам Созонт Максимович, рядом с ним — брат Федор, по прозванию Тырин-длинношней, щипаный журавель; за Федором — Гавриловна, жена Созонта; на кочике — бабушка Федосья Китовна, в повойнике, слюнявый, полуумный Влас, меньшой хозяйский сын, жена его Варвара и солдатка Павла; на скамейке — девка Любка, два работника и нищий...

— Пастуха привел, — поет хозяин, глядя на сноху. — La-адно, погляди-им... Садись обедать с нами... Павла, принеси им ложечки.

У всех веселые лица, хлеб — как пшеничный, соленая рыба с квасом — век бы ел. Большие начали разговаривать о конопляном масле, а я поспешил цеплял квас.

— Ешь ты, парень, за двоих — до поту, — пошутил Созонт Максимыч, следя за мной. — Поглядим, какой будешь работничек.

Отец незаметно наступил мне на ногу и, конфузливо смеясь, ответил: — С первачка-то всегда так... Еда у вас уж очень вкусная.

— Поработавши, как следует, — добавил Шавров.

Мужики расхохотались. Я потупился.

— Что ты оговаривашь, — сказала Китовна. — Заржали, демоны. Накорми вперед, тогда спроси и работу... Ешь, милый, не гляди на дураков, — обратилась бабушка ко мне и положила новый ломоть хлеба. — Тебе годов двенадцать будет?

— Четырнадцатый.

— Мелкова-ат, — покачала головой старуха. — Ну, да ничего, поправишься, бог даст... Ты ешь получше, не гляди на дураков.

После обеда Созонт Максимович, подведя меня к дверям в горницу, ткнул пальцем.

— Видишь.

В горнице стояли кованые сундуки под ковриками, на окнах, как у попа, кисейные занавески, вдоль стены — в ряд гладко тесаные березовые стулья, на двух маленьких столах — голубые скатерти с разводами, в переднем углу, сплошь заставленном угрюмыми иконами, — тяжелые, старинные лампадки на медных цепях, с неугасимой посередине. Пахло ладаном.

— Чисто в церкви, — сказал я.

— Ходить тебе сюда нельзя, — понял, — проговорил Шавров. — В чулан тоже не смей, — ткнул он пальцем, где чулан. — И в лавку не смей... Не послушаешься, отстегаю хворостинкой и псулю домой, к отцу. Ступай теперь с Любашкою поить коров.

IV

По девяти книжкам жарит.

В Мокрых Выселках, через девять от нас дворов жил мужик — Егор Пазухин, человек необыкновенно бедный. Он имел двух дочерей на выданье и сына. В ранней молодости Егор похоронил отца и, оставшись тринацдцатилетним мальчуганом, повел хозяйство с помощью матери, старухи бойкой, голосистой, чуть-чуть с придуриью. Митрий, Овечья Лопатка, Егоров отец, умирая, оставил сыну в наследство курную избу, овцу с ягненком, полтора надела распашной земли и старую, с бельмом, кобылу Феклу, над которой все смеялись.

Подати, малоземелье, старые долги Шаврову, расход по хозяйству вечно держали семейство в тягетах, частые неурожай, жизнь впроголодь, мордобытия от грозного началь-

ства шаг за шагом обессиливали мужика, незаметно стирая жадность и задор к работе; Егор постепенно опускался, маxнув в конце концов рукой на возможность выбиться из крепких лап нужды.

К сорока годам жизни Егор не осилел даже того, чтобы переменить полусгнившую избенку. Курные выходили из моды, соседи один за другим ставили себе — по белому, у богатых появились горницы, в переднем углу — картины, святость, полотница шпалер и разный причандал; на столях на радость и ликование хозяев, запыхтели самовары, а Егор все еще коптился в старой отцовской мазанке, чай не пил, гостей с достатком не привечал и год от году становился угрюмее.

— Сына мне роди! — кричал он пьяный на жену.

Наконец, лет в сорок пять мужик-таки дождался сына.

Было лето. Возвратившийся из ночного Егор осторожно развернул пеленки, глянул из-под седеющих густых бровей на красненькое тельце, усмехнулся.

— Молодец, старуха! — Неуклюже-ласково, стыдясь своего хорошего расположения, мужик потрепал жену по высохшей спине. — Корми его теперь в порядке, ради бога.

Женщина счастливо улыбнулась посиневшими от мук губами и, поймав руку мужа, поцеловала ее.

И вот, вырос сын — Василий. Егор попрежнему терпел нужду, получал тумаки и оплеухи за недоимку, сидел в чижевке, голодал, ходил оборванным, самовара так и не залел, но жизнь ему уже не представлялась мрачной.

После того, как мальчик на восьмом году стал бегать в школу, для Егора открылся новый источник гордости и необычайной радости.

Вася был понятлив и умен: грамота, над которой большинство детишек проливают столько слез, давалась ему легко, и сын чуть ли не самого бедного мужика шел по учению первым.

Зимними вечерами, сидя возле мальчика, Егор волновался и горел, следя за тем, как тот свободно, толково одолевал склады. Стариk до того увлекался, что даже в манере сидеть, приподняв одно плечо вверх и склонив голову на левую руку — подражал ребенку.

На тяжелом склоне серых дней жизнь принесла Егору неиспытанную радость в сыне.

Вася рос, учился, летом помогал в работе.

— Беспременно надо до делов парнишку довести, — говорил Егор жене. — Пускай добром помянет, когда вырастет. По нашему жить — смерти.

Баба молчаливо соглашалась.

Обессилевшие, дряхлые, согнутые нуждой и каторжной работой, путно не кормившей, они долго-долго просижи-

вали в полутемной избе, разговаривая шепотом, чтобы не потревожить мальчика, и выцветшие глаза их ласково свелись, а сухие губы задушевно улыбались друг другу и тем светлым мыслям, что теснились в старых головах.

Весною, на одиннадцатом году, Вася окончил школу первым.

Прибежав домой, он закричал с порога.

— Меня все хвалили!.. Набольший из города гостинец дал!

— Важно? На-ко вот и от меня. — Егор развязал тряпицу и подал сыну двугривенный, деньги для мальчика невиданные. — Это тебе за труды, — улыбнулся он и, не говоря больше с домашними ни слова, побежал в училище.

Экзамены кончились. Инспектор, батюшка, учитель и еще какой-то человек в очках закусывали.

— Степан Васильич, к вашей милости, — робко отворил старик двери.

Все подняли от тарелок головы.

— Это ты, Егор, — спросил учитель, вытирая платком пот и поднимаясь из-за стола.

— Я... с докукой к вам... с нуждой... — бормотал мужик, немного оробевший от ясных инспекторских пуговиц, но подвыпивший начальник добродушно улыбался, глядя на лохматого, растерявшегося Егора, и это его приободрило. Широко шагнув к столу, он выявил:

— Хочу еще сына учить... Есть, чтоб дальше?

Все насторожились.

— Чтоб выше, — пояснил он, взмахивая грубыми руками. — Вы учили — хорошо, покорно благодарим, но только я хочу, чтобы Васю кто-нибудь учил... На земского!.. — неожиданно для самого себя выпалил Егор. — Господские ребята учатся до двадцати годов, и я хочу до двадцати. Чем я хуже? Что мужик? Хочу до двадцати! На земского! А то — на дьякона... Куда годится...

Присутствующие переглянулись, и по их улыбкам Егор догадался, что сказал что-то неладное. Его сразу бросило в озноб, а по морщинистому лбу мелкими, мутными капельками потекла испарина.

— Работником до гроба буду, помогите! — прохрипел он, опускаясь на колени. — Черви мы... Нужда заела... Пускай выбьется мальчишка. — Старик с тоской глядел в глаза инспектору и батюшке. — Все отдаю, что есть, до дела-б только довести... Причалу у нас в жизни нету никакого, собаками, которых все пинают в морду, маемся на свете. Так нельзя.

Вскочивший на ноги учитель подхватил его под мышки.

— Встань же, экий, право! Ну, зачем это? Ты говори, а на колени... Ну, к чему это! Отец он Пазухина, — обернулся учитель, красный от смущения, к инспектору.

Сбитый с толку, Егор долго и скучно жаловался на свою жизнь, боялся, что жил только сыном, для которого готов на все; ему тоже что-то говорили и хлопали по плечу, но вынес он одно: нужны деньги, без денег ничего не выйдет.

Задами, минуя свой двор, Егор отправился к Шаврову, упал и перед ним на колени, прося до осени полста.

— Пока начальник не уехал, — говорил он, склонив голову. — Пока он тут — сподручней всунуть. Без того не хочет, надо, говорит, прощенье подавать... А на кого мне подавать, на всех? На муку свою, на нужду, на маятку? Созонт Максимыч, ангел, выручи!

— Ты, старый то, заплатил бы. Тридцать рублей старого, — сказал Шавров. — Шесть лет уж жду, али забыл?

Клим Ноздрин, сосед Шаврова, первый подхалим в деревне, бывший в лавке, полюбопытствовал:

— Тебе, к примеру, для чего же этакие суммы — хату, что ли, переправить вздумал?

— Нет, Платоныч, для Васютки... В школу его надо. В городах есть школы разные, он дошлый, в город его надо отправить.

— Я думал на дело, — усмехнулся Клим, смотря на старика, как на, сумасшедшего. — Чортовуты музыку городишь, брыдло! — Злобно сплюнул Ноздрин и закричал, краснея: — В школу его надо, рвань паршивая! В городе есть школы разные? Глянул бы хоть на себя-то, да немножко постыдился: сед, как пень, в лохмотьях, изба завалилась, изыхаешь с голода, а в башке дурь непочатая! Эх, вы, — жители — одры! Гони его метлой, Созонт Максимыч!

Целую неделю Егор, забросивший хозяйство, ездил по уезду, надоедал со своими разговорами попам, помещикам, лавочникам и их детям, всем, кто носил городскую одежду и, по его разуму, мог оказать ему помощь. Бледный, худой, истосковавшийся, он трясясь по размытым весенним дорогам от деревни к деревне, робко жался на кухнях и порогах барских хором, торопливо одергивал облупленную шапку, умолял, и чуть не плакал, а получая отказ или недоумевающую улыбку, крепко поджимал бескровные губы, садился в телегу и ехал дальше.

И вот, однажды верст за 60 от Мокрых Выселок, у оконицы большого однодворского села по прозванию Городище, ему попалась на дороге нищенка-старуха.

Егор посадил ее в телегу и рассказал про свою беду.

— Да что ж ты, старый, мечешься? — сказала нищенка, прищурив правый глаз. — Эвона, гляди! — Старуха ткнула рукой влево, за овраг. — Видишь белый дом с зелеными оконками? Ну? Видишь? Это наша школа. Поезжай с Христом: там много всяких учится, там их как жита в закроме. Кати!

Егор подъехал и привязал отощавшую лошадь к палисаднику, пригладил ладонями на голове лохмы, обил с портком пыль, вздохнул, откашлялся.

— Тут что ли, пройти? — спросил он у зубастой бабы в желтом растегае, несшей на коромысле ведра воды, кивая на решетчатые дверцы.

— Тут, а где же? — Баба остановилась и, выпятив живот, с любопытством поглядела на приезжего. — Ты, дядь, чей?

— Дальний, девка, аж из-под Осташкова. — Старик скупо улыбнулся. — С полным тебя встретил; может бог пошлет удачу.

Двухэтажная школа помещалась в саду. Цвели яблони. Прямые, ровные дорожки, без одной соринки, усыпаны желтым песком. На тонких палочках, воткнутых в рыхлую землю, привязаны дощечки с надписями, в углу грядка молодняжника, куртины с высадками, вдоль ограды ряды распускающегося крыжовника, смородины, малины и акации. Егор, глядя, улыбался.

— Ишь ты, что натыкал: как у князя. Ах ты, господи помилуй.

Постучав в темнозеленые и выкрашенные масляною краскою двери, он снял по привычке шапку, незаметно перекрестился и вытер ноги.

— Ты не туда ломишься! — закричала та же баба, проходя с пустыми ведрами. — Ступай отсель! — Она, как птица переломанным крылом, неопределенно махнула свободной рукой и скрылась за вишневиком.

Егор, все так же держа шапку в руках, повернулся за угол. Навстречу выскочил беловолосый мальчик лет тринадцати, с лопатою в руках.

— Погоди-ко, эй, шустряк, чего ты так несешься? — закричал Егор.

— А что ж? — остановился тот.

— Вот то-то что «а что», где тут у вас набольший.

— Николай Захарыч?

— Какой тебе Микалай Захарыч, самый набольший?

Мальчик прыснул.

— Это же и есть Николай Захарыч, эвона, — он указал лопатой за кусты сирени, — в парниках. Ты чего, аль сына хочешь к нам приладить?

— Да, Васютку, — обрадовался Егор. — Ты тоже учишься?

— А как же. Я талызинский, на фельдшера хочу.

— Это-то мне и нужно! — просиял мужик. Слава тебе, господи, добрался!..

Осенью, после Воздвиженья, Егор привез сына в Городище, пристроил его у своей новой приятельницы — нищенки, и Вася четыре года учился у Николая Захарыча разным наукам.

Когда на шестнадцатом году Василий поехал с двумя товарищами сдавать экзамены в город и слуху не подавал недели полторы, Егор исчах, пожелтел. С утра до ночи он толокся в волостном правлении, поджиная земскую почту, вздыхая, потел, надоедал начальству. Наконец, на двенадцатый день пришла открытка, в которой сын писал, что принят на казенный счет, просил родительского благословения, чистых рубах и немного денег. Егор бросил пашню, заложил Шаврову женины холсты и шубы, благо было бабье лето, и в ту же ночь, не поужинав, укатил на станцию, оттуда — к Васе. В городе прожил четыре дня и воротился молод-молодешенек.

Первые слова его, какие он сказал старухе, перешагнув порог своей избы, были следующие:

— Ну и штука, Анна, — сам не чаял!..

После того целую неделю, праздничный и гордый, рассказывал всему околотку, что он видел в большом городе, какое у Васи высокое начальство, дорогая обувь — одежда, на радости плакал и шутил, а старуха, слушая, крестилась на иконы и шептала:

— Ты, мужик, не глазь, пожалуйста, к добру бы твои речи... Матушка-царица, есть-то им дают чего-нибудь?

Егор прищелкивал.

— С таре-елочек, лупи их кожу-мясо.

Успех Васи окрылил Егора. Сразу и навсегда замерли на душе тяжелые сомнения, растравляемые в течение четырех лет насмешками соседей: родилась уверенность, что все заботы не пропали даром.

Этот же успех заткнул глотку пустословия: куда-то спрятались ехидные улыбочки, презрительное фырканье и лицемерные сожаления о том, что старик губит сына, отрывая его от крестьянского дела; замолкли и пророчества о том, что Вася избалуется, привыкнет к легкой жизни, сладкой пище и прогулкам, старого отца с матерью забудет; наоборот, все стали завидовать Егору и всячески выхвалять сына, вспоминая, как он еще в детстве был смышен и ласков, никогда ни с кем не дрался, отцу помогал исправно, ругани не любил, а праздники сидел за книгою.

На Ивана-богослова Егор зашел как-то в лавку за керосином. Шавров поздоровался с ним за руку, чего с роду не было, расправил огненную бороду и, кивая на самовар, сказал:

— Чайку чашечку не хочешь?

В лавке толкалось много мужиков. Все вздохнули и почтительно посторонились, услыхав, как потчуют Егора, а Созонт Максимыч крикнул:

— Власик, принеси кубареточку Егору Митричу! — И наливая стакан рыжего, спитого чая, умильно спросил:

— От Васютки слушку нет?

Егор расплылся в радостную улыбку, тряхнул лохмотами, на которые теперь не обращал внимания, и с готовностью ответил:

— Как не быть, намедни получил письмишко. — Вытащив искоманный, просаленный конверт, он бережно подал его Шаврову, а тот зачем-то нацепил на нос очки, сделал лицо строгим и торжественным, поглядел по сторонам, покашлялся и вымолвил:

— Ну слушайте. Читай, Демид.

Голубоглазый мужик в поярковой шляпе, оттопырив чапельником губы, взял в руку письмо; остальные грудью налегли на стойку, послышались вздохи и шопот одобрения:

— Ай да, малый!

— Ну и Васька, будь он трижды проклят!

В письме Василий перечислял все науки, которым обучался в семинарии, и книги, какие читает. Мужики улыбались от непонятных слов и галдели:

— Могарыч бы с тебя, Митрич; этако, можно сказать, счастье!

— Ну-ко сообрази: по девяти книжкам, собака, жарит, ведь это с ума надо сойти, глаза полопайся.

— Вот тебе мужицкий сын!. Ты куда же его теперь, Егорушка, денешь-то, а? Ишь наша пропастная деревня ему теперь покажется овином, а?

— Ах, ты, ты брат мой!

— Он, поди, теперь, как барин, ходит... Слышь, Егор, как барин, мол, разгуливает?

— Да, теперь он на мужика не похож — отвечал Егор, обращаясь то в ту, то в другую сторону. — Теперь-то он — как поповский сын, как Вильямин Гаврилович.

— А у тебя, нуко-ся, хата по черному, чума ее возьми, а? Вот наказанье-то?

Шавров, играя перстнями, задумался.

— В случае чего, можно ко мне в горницу, — сказал он ласково: — пускай прохлаждается, сколько душе угодно, у нас тихо...

Мужики раскрыли рот от удивления. Кто-то затаив дыхание, прошептал:

— А ведь пра-авда!..

— Господи, ну как не правда! — в один голос подхватили все. — Больше некуда, как только к вам, Созонт Максимович, ей-богу, право... Уж вы потеснитесь как-нибудь, пожалуйста!

Шавров ответил:

— Да ведь она у меня слободная, горница-то: мне даже и тесниться незачем.

Клим Ноздрин, сосед Шаврова, тот что больше всех ругал Васю за ученье, буркнул, ковыряя ногтем стойку:

— Из курной да — в горницу, это я понимаю.

— Что же, он не стоит по-твоему, ай что? — загадали мужики: — знамо дело, ему теперь нужен чистый воздух!

Ошеломленный Егор сидел с выпущенными от непривычки глазами, а кругом кричали, как на сходке, спорили и переговаривались, чуть не хватая друг друга за воротники. Привлеченные шумом, с улицы заходили новые посетители и, узнав в чем дело и прочитав письмо, так же горячо и с той же заботливостью принимались рассуждать о том, как и где Васю устроить.

V.

Не по «дворянской линии».

Василия ждали на девятую пятницу. Станция от Мокрых Выселок — рукой подать, машина ходит в поздний завтрак, а Егор всю ночь сидел на конике, боясь проспать, и уехал когда еще чуть-чуть забрезжило в окнах. Эту неделю скотину стерег один Петя, а я с бабами очищал картофель.

— Нынче Васька-дворянин приедет — отряхивая с подола землю, вымоляв Любка. — То-то расфуфырится, мамочки мои!

— С медалью, будто, поди, как поповы дети, а избенка — курная, умора! — подхватила Павла и, весело засмеявшись, неожиданно спросила меня:

— А ты в дворянину почему не учишься?

Я сказал:

— Не всем такое счастье, я в работниках служу.

— Оно и лучше! — воскликнула баба. Эка невидаль — медаль на шапке! У нас урядник-то с медалью каждый праздник чай пьет.

Когда мы приехали домой, старуха Пазухина, мать Ваюшки, разметала перед хатой улицу. На крыльце, добродушно посмеиваясь, стоял принарядившийся Созонт Максимович, около — сновали бабы и детишки. У нас тоже мыли горницу к приезду. Дочери Егора, Пелагея с Домной, то-и-дело бегали на задворки, взглянуть, не едут ли.

— Кабы у нас лапша-то не перепрела! — кричала старуха Анна. — Поличка, милая, ткнись в печку — лапша-то, мол, кабы не перепрела!.. Она то смеялась, то, бросив метлу, садилась на дороге и от радости вопила в полный голос, а соседки ее уговаривали. Один за другим к Созонту Максимовичу подходили мужики, побросавшие работу, спрашивая:

— Ну, что — скоро, али нет еще?

— Одиннадцатый час, пора, — говорил Шавров, вертя в руках серебряные, с бублик величиною часы.

— За деревней запылило.

Вася с отцом выехали с другого переулка, откуда их не ждали, и Созонт Максимович даже немного обиделся на это.

— Словно на смех, — проворчал он. Их ждешь с большака, откуда много ближе, а они прутся с полей: тоже норовят смудрить, навыворот как-нибудь уладить.

Егор сиял, как новый самовар. На телеге, до верху для мягкости набитой сеном, рядом с ним сидел, оторопевший от такой встречи и от такого множества народа, белокурый паренек с большими синими глазами, худенький, немного бледный, коротко подстриженный. На нем суконная, господская шинель с серебряными пуговицами; темно-синий картуз при звезде и новая курточка, из-под которой выглядывает тонкий краешек белого воротничка.

— Сыночек, Васенька! — закричала мать, бросаясь к телеге. — Деточка моя ненаглядная, соколик ясный!

Парень соскочил с веретья, крепко обнимая залитую слезами старуху.

Сбоку прижались плачущие сестры, становясь на цыпочки и целуя его в щеки, в голову и суконную одежду.

Егор бережно, словно икону, держал в руках свалившийся картуз Васютки, потихоньку гладя козырек и сдувая пыль с околышка.

В толпе гудели.

— Вот это я понимаю!.. Вот это, братцы мои, ловко!

— Пуговицы-то, пуговицы-то, господи!..

„Книжка“, высокий, тощий мужик, сипел двоюродному брату, крутя головой:

— Микит, ты слышишь, гляди-ка: ну, прям, не отключишь от Винамея Гавриловича, грозой меня убей, не отключишь!..

— Экось, сучьего сына, до каких делов дотяпался, в перчатках, серые портки на улицу, — аж страшно!.. Вот так Васеньки-Васенок, вот так молодчинище — за всю деревню постарался!..

Потом, как в церкви, мужики стали в порядок, и один за другим, подходили к приезжему здороваться. Некоторые бестолковые бабы, по забывчивости, крестились, целуя его, а опомнившись, сплевывали и говорили:

— Ах, ты, чума тебя возьми, миленка, — словно к Миколай-угоднику присунулась!..

Глядя на ноги, смеялись:

— Ты, по-бабьи, в полусапожках, деточка, не холодно зимой-то? Пальчики не мерзнут?

Сзади, от дверей, раздался испуганный шепот:

— Робят, что ж вы Созонт Максимович-то, а? Вы о чем же думали? Его надо передом; вот бестолочь какая!.. Робят, пропустите, ай оглохли?.. Потеснись малость... К сторонке,

к сторонке... Ну, и наказание, ей-богу... Староста, чего ж ты пялишь бельма — доставай медаль и в шею!..

— Эй, вы, а то ж-живо! — взмахнул палкой Морозенок, брат старосты. — Чиш-ше!..

Размякший от всеобщего почета, Шавров крякнул, оправил жилетку, подойдя, троекратно поцеловался с Васей, а с Егором поздоровался за руку и, ласково улыбаясь, проговорил при гробовой тишине:

— Пойдем ко мне, Егорич, на чашечку чая: я уж бабам приказал наладить самоваришко.

Лица у всех после слов Созонта Максимыча стали такими, будто каждому положили в рот по куску сахара.

— Чаевать зовет... Самовар, бат, с самого утра фырчит, пожалуйте, грит, милости вас просим, — зашептали бабы.

Но стоящая рядом с Василием мать замахала руками:

— Нет, Созонтий, уж он нынче пусть у нас побудет, чаю у нас тоже прорва наготовлена.

Бабы дергали ее сзади, щипали за крестцы, шипели: — замолчи дуреха!.. Замолчи!.. — а она не унималась:

— Чаю у нас даже не повыхлебать!

— Ваш-то в чугунке, навозом, поди, пахнет, от него стошнит... — мягко заметил Шавров.

— Ничего, родимый, уж мы как-нибудь, по бедности своей, в чугуне... А к тебе он завтра примчится... Как только проснется, так и привалит...

— Ну, как хотите, — сказал хозяин, разобиженный. — Как вам угодно, я всем сердцем... Если в случае понадобится сахар или конпасеи, приходите в лавку... Опахал картошки? — обернулся он ко мне. — Дрова бы сложить в кучу; бегаешь по всем местам, как подоумный!.. — Выгнув хребет и как-то по особому, не по-шавровски, расставляя ноги в светлых сапогах, Созонт Максимыч побрел к себе.

Вася перепеловался со всеми, сколько у избы было народу, всем пожимал руки и приговаривал:

— Ну, здравствуйте!.. Живы — здоровы? Вот и слава богу, вот и хорошо!

Подходя ко мне спросил у Книжки:

— А это чай же такой тощенький: я его что-то не знаю?

— А это, Василий Егорович, работник Максимыча, — закричало несколько голосов. — Это Ванюшка осташковский, грамотей хороший, читарь, но только, конечно, против вас — в подметки не годится!..

Вечером подвыпивший Егор плясал на старости годов „камаринского мужика“ и называл себя удаленьким молодчиком, старуху — душой-девицей и лез к ней жировать, а у нас — Шавров, смертельно пьяный, таскал по полу окровавленную Гавриловну за волосы, а из покрасневших глаз его потоком лились слезы

— Тварь последняя ликует, а я ни к чему живу!.. У-у-у, сволочи паршивые, без ножа порежу всех!..

И там и тут, — у Пазухиных и у нас, — под окнами стояли ротозеи...

Утром по деревне прошел слух, что Васька-дворянин обулся в лапти, надел синюю, посконную рубаху, такие же портки, и стоя по колена в луже, помогает отцу чистить хлев. Первыми на такое чудо, как и всегда, сбежались ребятишки, черномазыми чертами облепившие забор, потом у соседок оказалась недохватка по хозяйству, и все побежали к Пазухиным.

— Что, Василий Егорович, не хотите нашей крестьянской работушки забыть? — участливо спрашивали они, пересматриваясь между собой и любопытно заглядывали парню в лицо. — Тянет к земле - матушке? Уж это беспременно так!..

А бабы ныли:

— Ну ко-ся: руки-то как сахарные, а он вилами-тройчатками копает!.. Егор, ты постыдился бы маленько, а? Ведь этак ты его испортить можешь, ты над этим думал, пес?

Сконфуженный старик ворчал:

— Господи, помилуй, разве я его неволю; он сам охотится... Я уж говорил: бросьте, мол, а он — свое... Какой же я ему теперь указчик, у него мозги пошире...

Вскоре из двора во двор стали ползать сплетни и ехидные усмешки: Васька-то, дескать, одну зиму подворянился, а к лету не годился, — вытурили, но только он куражится и никому о том не сказывает. Другие же не верили, что парень выгнан из училища, но тем не менее ругали его еще пуще, говоря, что раз дошел до господской линии, лезть в черную, крестьянскую работу — срам и чванство, и смотреть на это даже со стороны обидно, а Егор — дурак плешикий, если позволяет сыну куралесить.

— Читал бы под окошком книги или на гармонии зажигал, а то — наво-оз!.. Мы знаем эту моду, нас, брат, не объедешь, даром что не учены! Гляньте, мол, ребята: грамота мне — словно тьфу, а окромя того работать понимаю, одно слово — золотых дел мастер!

— Га, пугать задумал, мы и так пужливы!.. Сел за книжки, значит, и сиди, как черт, а то — гуляй, по холодочку, это — твое дело, это мы можем понимать, а навоз мой прашур чистил!.. Бает: нечего орясничать, работать надо, ну, и гнись, козел глумной, потей, смеши деревню!..

Багровый от злости Ноздрин, стоя без шапки, как собака, тякал на всю улицу:

— Ты — муж-жик? Ты до причалу доволокся? Теберича ты — господин в серых штанах и при медали? Ты покажи мне форс господский, чтоб поглядел я и сказал: как будто

наш, простой, а куралесит лучше барина!.. А посконная рубаха? А лохматые портки? Рубаха ребра мне истерла, а тройчатки вымотали силу!

Когда об этом происшествии узнал Созонт Максимович, то весь перекосился; он был встрепанный и красноглазый, говорил осипшим голосом, пил квас со льдом, через все лицо имел багровую царапину и с постели на полу не поднимался.

— Ну-ко, слышишь, пан Твардовский, сбегай за Егоршей! — крикнул он мне через дверь, грузно приподнимаясь на локте. — Сей секунд чтобы! — и припал сухими, ярко красными, с налетом шелухи, губами к медной объемистой кружке, до верху наполненной молодым, пенистым квасом.

Егор пришел без шапки, босиком, прямо оторванный от работы.

Ноги его выше щиколоток были вымазаны коричневым навозом, между пальцами торчала прелая солома, а на лбу еще не высохли крупные капли пота.

Одернув вздувшуюся на боках пузырями рубаху, он перекрестился на иконы, поздоровался с Китовной, вопросительно уставившись в лицо ей.

— В горницу пройди, Егорушка, он там, — не поднимая головы, промолвила старуха, сидя на залавке и вытирая рукавом слезинки.

Весело ухмыльнувшись, Егор отворил стеклянные двери в горницу и, увидя на полу, на пестром самодельном ковре, Созонта Максимовича Шаврова, подмигнул:

— Али голова болит? Вставай, вставай, невесты у ворот заждались; ах ты — соня! Вот дрыхнуть-то здоровый, батюшки мои, — замотал он головою.

— Ты мне сколько должен? — скаля зубы, злобно перебил его Созонт Максимович, и лицо его сразу налилось кровью, а губы побелели.

Егор оторопел.

— Да как тебе сказать, чтоб не сбrehнуть, — уже наильно улыбаясь, хотя втайне и думая, что Шавров шутит, пролепетал старик: — ковша три опохмелки что? Это можно в один миг сварганить, баб-то нету, хе-хе! — Заглядывая хозяину в глаза, Егор тряс длинной бородой и хлипал. — Мы, не хуже твоего, вчерась тоже порядочно клюкнули, а нынче с самого утра, вот тут, шурум-бурум. — Егор дотронулся до лба и до висков. — Квас-то у тебя никак свежий? Глотну маленько, может, отойдет от сердца.

Но Шавров порывисто дернул кружку из-под носа Егора, и квас расплескался по ковру и полу.

— В дворяне записался, чортова паскуда? — схватив себя за грудь, прохрипел Созонт Максимович, трясясь и пучка красные глаза. — Заплати долги сначала, а потом дворянься

а покамест я в деревне дворянин, а ты и твой щенок — холопы мне! Перчатки, бляху на картуз, ошейники, в дворяне? Деньги дай! Зарежу, твари безживотные!

Шавров вскочил с постели, покружился, как разъяренный бык по горнице и, отыскав за большим стенным зеркалом, с краев облепленным конфетными бумажками и водочными ярлыками, связку акациевых бирок, вытащил одну из них и, насмешливо, с ненавистью глядя на перепуганного старика, прошипел:

— Шесть красных и семь гравен, чуешь? Через неделю я у тебя последние портки продам... Пошел, лярва, вон!

Пришибленный Егор, виновато улыбаясь, потный, с трясущимися от стыда и гнева руками, как-то боком, пряча в сторону слезящиеся глаза, прошел через теплушку, долго шарил руками у притолоки, хотя дверь была настежь отворена, и беззвучно, как по мягкой овчине, спустился с крыльца... Почему-то было жалко и смешно смотреть на его круглую, загорелую лысину, похожую на новый, хорошо выжженный горшок, еще мало побывавший на печке и не обкоптившийся, на седые спутанные волосы, узенькой полоской идущие по затылку от уха до уха, в которых торчал старый ржаной колос, на длинную, тонкую, морщинистую как неудойное коровье вымя, шею и на грязные, в заплатах, пестрядильные штаны, мешком свисавшую мотню, на синюю рубаху, от лопаток до крестцов.

VI.

Кулак гуляет.

Пьяный Шавров, одетый в желтую, полушелковую рубаху и плисовые шаровары, сидел в тарантасе. Жирно политые лампадным маслом волосы его блестели, расстегнутый ворот рубахи обнажал широкую грудь в рыжей шерсти; померкнувшие оловянные глаза бессмысленно таращились. Рядом с ним, по правую руку, вертлся дьячок-приятель, где-то с ног до головы выделавшийся в навозе; по левую — работник, Вася-батюшка, — чинный и благообразный, в вышитой темно-красной бордовой рубахе и полосатой, с хозяйствского плеча, жилетке, а на козлах, в сарафане и розовом платке, успевший уже перерядиться Пахом. В тарантас, пестро украшенный лентами, было запряжено штук двенадцать пьяных баб. У каждой наискось — через плечо под мышку — лямка. Бабы — молодые, лучшие из Мокрых Выселок. Впереди их парами, под предводительством того замухрышки, который нам играл с Петрушкой на дудках, стояли музыканты, держа наготове балалайки, косы, бубны, старые ведра

и заслонки из печей; за ними — девки, переряженные парнями, и парни, переряженные девками; лица парней были вымазаны сажей, а на головах — высокие соломенные колпаки. Сзади тарантаса, меж полукольца нарядных мужиков и баб, на привязанной к оси корове, сидел счастливо улыбающийся Влас, закутанный в голубое байковое одеяло.

И над всем этим, как кошмар, стоял неистовый хохот, ругань, свист и песни. А по задворкам, где на картофельных полосах ходила беспризорная скотина, прятались между пучков соломы перепуганные дети и старухи. С голубого неба радостно светило ласковое солнышко, плыли шапочками облака, на крышах мирно ворковали голуби и щебетали ласточки.

Сзади меня, забыв о недавнем огорчении, взвизгивая и закрывая ладонями лица, хохотали Пронька и Алеша. Недалеко от них, став на четвереньки, Клим Ноздрин, одетый в вывороченную шубу, лаял на жеребенка-сосунка, а жена его, хватая Клима за ноги, кричала:

— Встань, дворной, а то штаны похвешь, — они три гривны за аршин!..

— Не лай, а то ударю чем-нибудь!

Жеребенок пятился от Клима и предостерегающе стучал точеной ножкой. А Шавров, склонив на грудь голову, сидел в тарантасе неподвижно, временами лишь устало поднимая руку и прикладывая ее, словно силясь что-то вспомнить, к бледному, потному лбу. Это что-то, очевидно, было очень важное, нужное, спешное, потому что либо лицо его мучительно кривилось, глаза еще глубже уходили под щетинистые брови, широкая спина сутулилась, а плечи низко, безнадежно опускались...

Вдруг с улицы, очевидно, по данному сигналу, раздался оглушительный треск и звон заслонок, а за ними сотни пьяных глоток застонали и завыли что-то.

Я вышел за ворота.

Вытянувшись пестрым холстом, с тарантасом по средине, толпа неслась, как сумасшедшая, вдоль улицы. Недавней задумчивости Шаврова будто не было: привстав, держась рукою за дьячка, он гикал, грубо ругался, подбрасывал картуз; ему подобострастно подражали; Пахом хлестал вожжами по вспотевшим бабам, Вася-батюшка скромно хихикал, а впереди, сплетаясь в круг, отступая и сходясь, танцевали ряженые, дребезжали косы, ведра, прозонки и колокольчики.

Взметя мусор, орава вихрем пронеслась по улице на другой конец деревни, оставляя за собой груды пьяных, ползавших в пыли на четвереньках.

На обратном пути, против наглоухо закрытого дома Пазухиных, Шавров велел остановиться.

— Почему Егорши нет? — спросил он, глядя на толпу. — Приказ мой был, нет?

Музыка ударила „камаринского“.

— Помолчите! — ощетинился хозяин. — Где Егорша с дворянином?

— Не знаем, — сказал за всех Игнашка Смерд: — спрятался, должно быть...

— Стучи в дверь!

Шавров потен, зол, глаза полуприкрыты.

Клим Ноздрин стал колотить щеколдой.

— Не слышишь, старый дьявол, — тебя требует Созонт Максимыч! Отворяй живее!

Дом словно вымер. Ноздрин ударили в дверь ногою. К нему подскочили на подмогу, и шаткие стены задрожали как живые.

— Молчит, рвань, — приспичило! — ухмыльнулся Влас: — Ужо-ка слезу я.

Скромный Вася-батюшка, достав из кармана вчетверо сложенный кубовый платочек, аккуратно вытерся и поглядел на Шаврова.

— Пойти, что ли, мне? — вздохнул он и, соскочив с тарантаса, обошел вокруг избенки.

— Все закрыто — со двора и с улицы, — развел он руками. — Что за народ!

Он неторопливо выдернул из стоявшей поблизости мельницы дубовое било, попробовал в руке его, и подойдя к окну, с размаху ударил в раму. Стекла взвизгнули, рассыпавшись слезами, внутри кто-то ахнул, толпа заржала и засвистала.

Также спокойно, степенно улыбаясь, работник подошел ко второму окну, поднял било, приловчясь, но двери из сеней раскрылись настежь, и на пороге появился бледный, трясящийся Егор, с водоносом в руках.

— Разбойник! Побойтесь бога! Братцы! Где же ваша совесть? Уб-бью, сволочи!

Егор рванулся за порог, подняв над головою водонос, толпа шарахнулась и отступила.

— Тю-лю! Эй-эй! Га-га.

— Бери его, лохматого!

— Цель в морду билом! Швыряй билом!

Тяжело дыша, растрепанный Егор, как зверь среди борзых, метался у дверей, отбиваясь от градом сыпавшихся на него палок и кирпичей, но соскочивший с козел Пахом бросился старику под ноги и повалил его на спину. Выпуская из рук водонос, Егор заплакал, а соседи, с которыми еще только вчера он беседовал, шутил, рассказывал про сына, схватили его за ноги и за руки, с песнями и хохотом поволокли по улице.

Другая же часть мужиков, под предводительством Пахома и Власа, ворвавшись в сени, отшвырнула бросившуюся к ним навстречу старуху Анну, хватая Васютку.

Еще как только Егор отворял уличные двери, выбегая на улицу с водоносом, Вася взял из-под лавки топор, становясь за спиной отца, но когда Егора повалили и поволокли по улице, а в сени вскочили Пахом и Влас, руки его не поднялись на убийство: не то со страхом, не то жалостью забилось его сердце, топор сам собою выпал.

Две руки схватили его за плечи, другие две рванули назад. Он впился пальцами в скамейку и замер, бледный, будто не живой.

— Тащи купать! — скомандовал Шавров.

И когда Васю, вместе со скамейкою, которую, так и не могли оторвать от него, волокли по выгону от сарая к реке, хватая за живот, хохотал до слез урядник, только что приехавший к Шаврову.

— Дьяволы! Что вы делаете, дьяволы? Ох, я умру сейчас, Максимыч, шутоломный! Что ты выдумал?

Он повалился в бричку и задергался, а белая фуражка его со звездою откатилась в подворотню.

Раскачав, Васю бросили в реку. Он выпустил скамейку и, барахтаясь, подплыл к мосткам. Его вытащили за рубаху.

— Бросай еще! — сказал Шавров.

Его снова бросили и снова — до шести-семи раз; до тех пор, пока не посинел и не стал падать от слабости. За все время Вася ни разу не крикнул, не сказал ни слова, крепко-крепко сцепив зубы; одни глаза огнем горели, но и те к концу стали тухнуть, лицо — млечь, а губы вянуть и дрожать.

Когда брошенный в последний раз, он не мог уже выплыть, Пахому пришлось доставать его.

„Будет, что ли?“ — вопросительно посмотрел Пахом на хозяина, держа Васю на руках.

— Будет, — ответил за Шаврова Влас.

Его положили на траву.

— Очухайся маленько. Это, брат, тебе не серые портки на улицу! Вспотевшие, достаточно усталые, мужики неторопливо поплелись в деревню, к нашему крыльцу.

А там толпились дети, все еще хохочущий урядник, Павла и обходник Севастьянов.

— Поглядика-ка на подпаска! — крикнул мне Алеша Маслов, когда я, шатаясь, шел к себе в избушку.

Скуля, в грязи и рвоте, у фундамента барахтался Петрушка. Скотины он не пас сегодня: на „пиршестве“ его споили, и он где-то спал.

— Эй-ты, Жилины! — увидел он меня: — подыми меня, а то я нынче пьян, — и скверно выругался, высунув язык, и передразнил меня.

— Севастьянов, дай ему за меня в рыло! Дай!.. — Сквозь икоту, пролепетал он.

Урядник присел на карабки, раскрыв рот; улыбаясь, Павла скромно опустила длинные ресницы; ребятишки, как галки, закружились от восторга и захлопали в ладости.

Схватившись за голову, я закричал:

— Ты знаешь, что сделали с Васей! — и помчался куда-то вдоль деревни, а товарищ, приподнявшись на колени, под неистовый хохот и визг, опять стал ругать меня последними словами и грозить кулаком.

VII.

Хрустальный город.

Тогда я думал, что за всю жизнь не прощу Шаврову издевательства над Васей, не прошу его работникам и всем Мокрым Выселкам — жалким, бессовестным людям, работягами унижающимся перед разжиревшей мразью.

Я знал, что вся деревня по уши должна хозяину; знал, что всякого, осмелившегося идти наперекор ему, Шавров способен пустить по миру; знал, что грозная для бедняков полиция — правая рука его; знал и то, что слова его: „Я им страшнее бога“ — не бахвальство! И тем не менее жгучая ненависть терзала мое сердце, и на глазах навертывались слезы при одном воспоминании о только что пережитом позоре. В первый раз, сознательно, я понял, какая громадная сила — богатство, как из-за денег, из-за страха быть разоренным, мирные, неглупые и безусловно не злые люди становятся собаками, которых толстая мошна науськивает на других — хороших, добрых людей, на семейство Пазухиных, в частности на Васю, которого в душе они любили и гордились им, — науськивает только потому, что неумышленно было задето самолюбие. Я ни на минуту не сомневался в том, что если бы Шаврову пришла в голову шальная мысль приказать мужикам выпороть среди улицы собственных жен или стариков-отцов, многие из них спяна, из угодства, подчинились бы ему и — высекли. Хозяин вырос в моих глазах в громадную, всемогущую, злую силу денег, перед которой все преклоняются, с готовностью исполняя его капризы и самодурства.

В этот вечер мне стала понятною прославленность Шаврова, его ум, сноровка, необыкновенные качества характера, о чем так много и так громко говорили по волости его прихвостни и подлокотники. И мне думалось: умри Шавров, завтра же прославят умным, добросовестным, рубахой-мужиком слоняя Власа.

И первое сознание такой несправедливости было мучительно, как тяжкая болезнь: вместе с ним въедались в мои

кости злоба к непорядку, отвращение к двоедушным людям, и я чуть не рвал на себе волосы, съедаемый стыдом, бес-сильем и обидой...

Давно уже спустился вечер, вызвездилось небо, на деревне примолк шум и песни, а я все еще сидел за околицей, в хлебах, погруженный в поток новый, горьких мыслей. Бесконечно было жалко Васю. Представлялось, как теперь терзается он злобой и желанием отомстить своим обидчикам и как сознание бессилия надрывает его сердце.

„Может быть, вдвоем придумаем? Спалить их разве, сволочей? За одну беду — семь бед на их проклятые головы!“

Эта мысль окрылила меня.

„Пускай потом острог, Сибирь, пускай рвут тело на куски, зато злодейство втуне не останется“.

И когда решение созрело, я поспешил пошел к Пазухиным.

Ночь была тихая, душная, безросая. Серые избы почернели и разбухли. В грудах щебня курлыкали жабы, дрались кошки, под поветями пищали и возились воробы.

Обычно Вася спал в сенях, на двух приложенных к стене скамейках, и я направился туда. Осторожно стукнул. Двери сами собой отворились.

— Вася!

На соломе кто-то завозился.

— Что ж ты, где лежишь? На постель бы шел... Это я-я.

Я наклонился и сейчас же отскочил: в лицо меня лизнула Дамка, их собака, а постель была пуста. Я обшарил сени и чулан, постоял на крыльце и хотел было уже итти домой, как услышал странный шорох и хрюп со двора.

Закутанный в тулуп, под навесом, на кострике, лежал Вася, а в ногах, обняв колени и прижавшись головою к ним, — Шавров, шепча:

— Детка моя... Вася! Детка моя. Детонька умильная!

Детонька умильная!

Высвободив из-под тулупа тонкую, худую руку, Вася молча глядил его волосы, а Шавров ползал, бился и хрюпал, обливаясь слезами.

Хватаясь за забор, чтоб не упасть, я опустился рядом с ним...

В разгар страды, в августе мне пришлось вторично пережить такое же состояние, как и в детстве, когда в нашей волости открылась земская библиотека — состояние великой радости и необычайного душевного подъема.

Работники попрежнему с утра до поздней ночи проводили в поле, Петя пас скотину, а я приучался косить рожь. Ни бесчеловечное глумление над Пазухиным, ни смерть младшей снохи Шаврова, этой бесконечно доброй, тихой

и застенчивой женщины, никого за всю жизнь не обидевшей, ни горе ее матери — ополоумевшей от неожиданной беды, ни моя ненависть к хозяину — не могли заглушить в душе моей первой беседы Васи в ночном, его чарующих слов о жизни земли, о небе, о далеких людях и больших городах. Нестерпимо хотелось самому обо всем знать, так же много и подробно, как Вася, хотелось видеть города, измерить вдоль и поперек землю, поглядеть на мир. Что бы я ни делал, о чем бы ни заходила речь, с Петрушей ли, с работниками или с Китовной, которая теперь осела, как ощипанная галка, — я мысленно переносился в город. Невиданный, он представлялся мне хрустальным, часто золотым, сияющим, где по прямым, чистым дорожкам ходят старцы с книгами в руках, читая их без перерыва, а вокруг — маршируют солдаты, свистят паровозы, гуляют в форменной одежде товарищи Васи, гремит музыка, воюют с неприятелем.

Грубая брань работника, затрешина или хохот товарища приводили меня в себя, я поспешно хватался за работу, а если это было во время обеда, уходил от телеги под копны и там сызнова старался вызвать в своем разгоряченном воображении страшный, непонятный, обольстительный, хрустальный город.

Петруша, несмотря на то, что речь Васютки в ночном произвела на него не меньшее впечатление, был гораздо хладнокровнее меня: он знал доподлинно, что кончив срок службы, он поедет в Городищенскую школу, и если беспокоился, то только лишь о том, где и как ему за это время поучиться, чтобы его принял к себе Николай Захарович. Как и я, он понимал, что больше как к Васютке обратиться некуда, но мы оба, несмотря на обещание его, стыдились приставать с докукой, и товарищ втихомолку плакал.

Наконец, не хватило терпения, и мы вечером, убравшись со скотиной, тайком от домашних, побежали к Васе. Пазухины ужинали.

— От хозяина зачем-нибудь? — хмуря брови и подозрительно осматривая нас, спросил Егор. — Скажите: дома нет.

— Нет, дяденька, мы к Василию Егорычу, — потупившись, промолвил Петя: — по своей нужде.

— К Василию? Ну, это ваше дело.

Тот проворно выскоцил из-за стола.

— Пойдемте на крыльце, там лучше разговаривать, — сказал он.

— Каши-то поел бы! — закричала мать: — она нынче с копченым маслом. Ах, ты, господи, ну, что с ним станешь делать?

— Ладно, ладно, когда-нибудь в другой раз поем, — смеялся Вася. От купальца он уже оправился и попрежнему был весел.

Усадив нас на снопы старновки, он до поздних петухов, когда уже порозовело небо, беседовал с нами.

Анна, мать, то и дело выбегала из чулана, упрашивая сына отдохнуть, так как завтра опять косовица; парень любовно гладил ее, как маленькую, по волосам, говоря:

— Сейчас, мама. Ты пока ступай, приляг, а я скоро приду. Ступай, ступай, старушка! — и снова толковал нам о том, как лучше, сподручнее устроиться с ученьем, а мать, счастливая от ласки, плотно прижималась к нему, шепча.

Пьяными поднялись мы с крыльца, крепко держа в руках данные Васюткой книги. Уже скрипели ворота, из труб вился дым, у колодцев и амбаров мелькали серые женские фигуры — и скрип ворот, и лай проснувшихся собак, и шелест босых ног по мягкой пыли звонко раздавались в чистом предутреннем, еще не встрихнувшем ночной дремоты, сырватом августовском воздухе.

Мокрые, продрогшие от росы, но счастливые вниманием и ласкою Васи, его разговором, открывавшим нам дорогу в жизни, мы бесшумно прошли в избушку, переменили рубахи и, обнявшись, легли на палатах.

С той поры настало удивительное время, которое я и теперь с любовью вспоминаю, — время необычайной напряженности в труде и глубокой веры в будущее, — веры, окропившей нас и подававшей силы и терпение. Как и прежде, я вставал вместе с работниками задолго до восхода солнца, отправляясь на работу. Было житво. Часов до восьми, не разгибая спины, мы косили рожь. Непокрытую голову палило солнце, тело ели комары и мошки, на лице от пота выступала соль, слепившая глаза, руки покрывались подушками сплошных мозолей, которые под косьем прорывались, и из них сочилась липкая белая жидкость вперемежку с кровью; на раны садилась пыль, разъедавшая их, но я не обращал на это внимания, с нетерпением поджидая завтрака, когда можно было сесть за книгу.

Чтобы я исправнее работал, батраки становили меня между Пахомом — впереди и Власом — сзади. Приноровившийся к косьбе и более сильный, чем я, Пахом гнал без передышки из конца в конец, а мне косившему впервые, надо было поспевать за ним, так как сзади, по пятам моим, шел Влас.

— Веселее, жилы подрежу! — гоготал он, и я выбивался из последних сил, пока однажды надо мной не сжались Вася-батюшка и не показал, как надо держать косу, для того, чтобы она шла плавнее и легче.

Самое трудное время было с завтрака до обеда: от жары тогда болела голова, и занятия мои не так были успешны. Тотчас же после еды мужики ложились спать, а я ехал с лошадьми на водопой. Истомившиеся от зноя и жажды, искусанные оводами и мухами, лошади еще издали, только

чутьем услышав воду, неслась вскачь, а когда с откоса от Каменных Глыб, как лезвие, блестела речка, они вихрем проносились по крутым взлобью, бултыхаясь в воду и разбрызгивая миллионы брильянтовых искр. Я едва успевал бросить в сторону книги и вместе с ними погружался в чистую, как слезы, прохладную воду. Лошади фыркали и ржали от удовольствия, а я ныряя вокруг них, плескался и кричал, сам не зная что. Потом, теплые, отяжелевшие, с алмазными капельками в гривах, они медленно плелись в гору, я же, сев на Мухторчика, у которого была хорошая привычка итти сзади всех, учил уроки. Когда мерин останавливался, — значило, что кто-нибудь отстал. Я подгонял и так тихонько, шаг за шагом, не отрываясь от книги, добрел до телеги.

Но лучшею порою в занятиях была все-таки ночь. Дождавшись, когда работники уходили из избушки под навес, где меньше было насекомых, мы с Петей зажигали небольшую лампочку, подаренную Китовной, и чуть не до самого рассвета корпели над задачами, писали сочинения, диктант, выспрашивали друг у друга басни и стихотворения.

На первых порах хозяин нас преследовал, боясь что мы нечаянно можем спалить его избушку, так что нам приходилось завешивать окна, чтоб не видно было света. Но потом, приглядевшись к нашему учению и заинтересовавшись им, Шавров предложил нам вечерами сидеть в горнице. Мы отказались, находя это стеснительным и для него, и для себя. Тогда он сам стал приходить в избушку; заставляя нас читать про старину. Ему очень нравились рассказы о Петре Великом, он весь кипел от удивления и радости, слушая, как царь простым работником учился строить корабли в чужой земле.

— Вот — хозяин! Вот — башка! — твердил он. — Вот домоучитель, батюшко! Еще бы нам такого сокола! — Созонт так разошелся, что однажды дал нам полную бутылку керосина без денег.

— Читайте, — говорил он: — может быть из вас ни черта из обоих не выйдет, но учитесь, я от бутылки не обеднею.

Так прошли спожинки, август, кончилось житво, убрали хлеб с полей, засеяли озимое. Вася Пазухин уехал в город. Так доживал я у Шаврова осень.

В последних числах октября я ушел с артелью плотников на железную дорогу — учиться ремеслу и деньги зарабатывать. Мысль о городищенском училище, о городе о новой жизни пришлось бросить: дома не было ни хлеба, ни денег, ни одежды.

— Ты теперь не маленький, — сказали мне: — пора кормить семью, пускай, кто жирен, учится, нам впору издыхать...

И. Вольнов.

1. Опишите дом Шаврова и дом Егора Пазухина.
2. Охарактеризуйте семейство Шавровых и семью Пазухиных.
3. Охарактеризуйте и сопоставьте Ваню и Петю, Ваню и Васю Пазухина.

4. Охарактеризуйте труд подростков — „работников“ — Вани и Пети. Отметьте те места рассказа, которые рисуют жуткие картины эксплоатации труда подростков.

5. Как понять душевное состояние Созонта Максимовича и его отношение к Васе Пазухину (см. главу „Кулак гуляет“)?

1. Вернитесь к стихотворениям Некрасова („Что ни год“ и „Свобода“) и примените то и другое стихотворение к содержанию прочитанного произведения.

2. Какие строки стихотворения Некрасова и к кому можно применить?

3. Примените содержание стихотворения к действующим лицам рассказа — к самому автору рассказа — Ване, к Васе Пазухину и к Пете.

4. Какие строфы могут быть применены к Созонту Максимовичу?

5. Сопоставьте Созонта Максимовича с крепостным помещиком: сравните их в отношении к мужикам, к слугам (работникам).

Почему Созонт Максимович мог сказать о себе: „Я им (мужикам) страшнее бога“.

Темы:

1. Как стал учиться Ваня.
2. Кем стал Вася Пазухин.
3. Вася Пазухин и Ваня (Вольнов).

Под властью капитала.

I.

Четверть века назад Житницкий уезд считался богатейшим уездом Старомирской губернии. Уездный город Житница, окруженный кольцом хлебных амбаров, где денно и нощно ссыпался и выгружался хлеб, напоминал вечную ярмарку: гул и гам нескончаемого базара стоял над грязью улиц, над сутолкой пристани, над взбаломученной гладью затона, кишащего барками, буксирами, расшивами и баржами. Грязь улиц казалась золотою грязью, так густо было в ней замешано зерно. Поэтому город напоминал обширный птичник: стаи голубей носились в воздухе прожорливой саранчей, деля богатую добычу с курами, воробьями и галками. Мужики из ближних и дальних деревень придавали городу оживленный вид непрекращающегося праздника. Обыватель издалека узнавал мужиков по одежде, по говору, — по упряжке их коней, по манере держать себя.

— Вот завидовцы едут! — говорил он, выходя к воротам, увенчанным пучком сена: — ишь, как громко гуторят... Богатый народ! Хуторок-то у них махонький, а пузатый!

И, сняв шапку, выходил он на середину улицы и кланялся:

— К нам милости просим! У нас дворик просторный!

Утром, на заре, заслышав тягучую музыку телег и лепет бубенчиков, обыватель торопливо распахивал ворота постоянного двора своего или спешил растворить окна и двери „бакалейной торговли“.

— Поемщина ползет! — бормотал он: — богомиловцы с васильевцами!

Этих узнавал он по солидности их вида и некоторой угрюмости характера. Около возов своих они шли важно, на коней никогда не кричали, выпивали в меру и терпеть не могли зрячных разговоров; когда же заставал их в городе праздник, чинно шли в церковь, солидные и нарядные, становились поближе к иконостасу, истово крестились и подавали рубли на поминаньях. И если дьякон Кряков выносил просфору, то непременно кому-нибудь из васильевцев или богомиловцев. Обыватель любил с ними советоваться о делах своих и говорил:

— Поёмщина нам первые друзья!

Если же слышалась гармоника или балалайка и где-нибудь влажным вечером усердно выстукивали кованые подошвы, обыватель ухмылялся:

— Гнездовцы гуляют... У них нони урожай!

С ярко-цветными покупками под мышкой, то горланя песни, то наполняя воздух звуками спорного говора, хохота и браны, мужики, — эти желанные житницкие гости, — походили на трудовую армию, мирно завоевавшую город, купившую его миллионами золотистых зерен.

Редактор-издатель „Старомирского листка“, — газеты, издававшейся в губернском городе, — г. Веселуха-Миропольский не без гордости отмечал в передовицах, говоря о Житницком уезде:

— Мы — кормим Россию!..

— Мы — народ землепашцев, — говорил он на одном съезде, — мы — пахари! Мы вспашем ниву мира под посев „разумного, доброго, вечного“...

Г. Веселуха-Миропольский ничего не вспахал...

С течением времени все неуверенное звучал его голос, пока однажды „Старомирский листок“ не купил с аукциона купец Чугунников.

С этих пор местоимение „мы“ мало-по-малу уходило со сцены, возвращаясь в ту мглу, из которой не на долго вышло, благодаря общественному движению. Его сменило местоимение „наше“. Оно звучало властно и самоуверенно.

„Наша политика“, „наше хозяйство“, „наша торговля“, „наша молодая промышленность“...

Город Житница изменился за последние двадцать пять лет.

В нем гордо вырос элеватор, сооруженный по системе инженер-механика Березина. От главной линии к городу протянулась ветка. Он украсился постройками, мостовыми, электричеством и новой колокольней при женском монастыре по образцу Киевопечерской. Позади амбаров выросли слободки и пригороды, правда темные, грязные, уже при возникновении своем имевшие вымороченный и опустошенный вид, но увеличившие население города с пятнадцати до тридцати тысяч. Попрежнему денно и нощно скрипят в Житнице хлебные возы, кричат буксиры, конкурируя с басовым гудком завода братьев Кандауровых. Но уже нет прежнего количества голубей и мужики не придают городу вид бесконечного праздника. У возов идут истощенные, грязные люди в рваных армяках, унылые и голодные. И обыватель уж забыл свою к ним прежнюю дружбу. Стоя у ворот с надвинутым на нос картузом и думою о плохих временах, он провожает их угрюмым взглядом, нередко крича негодующе:

— Куда ты, с-волочь!!

А они все тянутся, бесконечно тянутся около разбитых на колеса тележонок своих, гневно и раздраженно кричат на тощих кляч, смиренно стаскивают с голов картузы и лохматые шапки при виде почтенных людей в синих кафтанах, в сапогах бутылками.

— Ваша степенство... Куды хлебушко ссыпать?

Хлеб „мужицкий“ сменился хлебом „купецким“ и „арендательским“. Город, как в зеркале, отразил хозяйственную эволюцию уезда.

Новые завоеватели покорили город.

Житницкий обыватель, непостоянный в своих симпатиях, с чувством самоудовлетворённой гордости показывает заезжему человеку новые достопримечательности города: захватившие целые кварталы неуклюжие и угрюмые, но вычурные дома, — создание тупой и тяжелой архитекторской фантазии, состоящей на купеческой службе.

— А наша-то большая деревенька совсем городом стала! — говорит он, сладостно хихикая: — уж поговаривают об образовании Житницкой губернии... губернские будем-с! Извольте-ка полюбопытствовать, какие сооружения повсюду произросли-с! Воистину, можно сказать... до-ма-а!

Но это даже не дома!

Это цитадели российского капитализма, как паук жадного, но лишенного широты и фантазии: они напоминают крепости, в которых твердо засела новоявленная аристокра-

тия, полчище новых аргонавтов, сменивших прежних рыцарей узаконенного разбоя и жадно цепкими руками рвущих на части все то же старое золотое руно.

Вот дом купца Шаповалова. Тридцать окон по переднему фасаду, — в четыре этажа, окон то больших, то маленьких, то круглых. Внизу ряд складов с железными дверями, где хранятся десятки тысяч пудов хлеба. Крестьянские тележонки запружают улицу перед этими дверями; ветер крутит вокруг дома сено и солому, — корм тощих кляч.

Вот дом купца Стрижикозина.

Он еще только строится, но огромные леса уже заставляют обывателя говорить почтительно, с мучительной завистью:

— Стрижикозин-то! Давно ли спичками торговал... Семиэтажное воздвигает!

Вот еще „достопримечательность“ — широкозаводский дом: нелепая смесь мавританского и русского стилей. Колонки, стрельчатые окна, резные карнизы, башенки по углам, поддерживающие балкон центавры, похожие на утопленников, и в то же время во всей наружности дома что-то распухшее, как от водянки, что-то придавленное, как тяжелая, во мраке бродящая мысль.

И что ни улица — новый такой дом!

Владельцев их знает наперечет каждый босоногий мальчишка; истории обогащения этих „завоевателей земли“ составляют устную летопись не только города, но всего уезда, всей губернии.

Русские биографии складываются под особым углом.

Шаповалов начал свою карьеру в житницкой ночлежке. Это было давно. Никто не знает, откуда появился он на житницком горизонте. Никто им тогда не интересовался. И, быть может, в предчувствии его, грядущего из тьмы истории с горящими глазами, обыватель спускал на ночь с цепи волкодавов на защиту крестьянских возов. Только впоследствии, когда Шаповалов завел свору собственных собак, яростно лающих у его амбаров, — вспоминали смутную историю приказчика, прокутившего „по молодому делу“ хозяйские деньги. Без дела, без средств, без знакомства, в чужом городе, побитый, потрепанный, в брюках, украшенных бахромой, в развалившихся ботинках, — служил он даже одно время при полиции, исполняя должность часового на углах улиц, где с неудачным видом фланера рассматривал проходящих, а порою принимал на себя обязанности дипломата по внутренней политике. Но эта служба ему претила. По натуре он был делец. Мало-по-малу, — маклачеством, — мелкой торговлей, потом биржевым маклерством, — он успел сколотить небольшие деньги. Так жил он до голодного года. В голодный год, — вместе со стаей других хищников,

как коршун, ринулся в уезд. Там у распухшей от голода деревни скупил землю по одному мешку муки за десятину. Как на походном бивуаке в завоеванной местности, он жил все лето в холщевой палатке, зорко сторожа добычу, пока вся земля не очутилась в его руках. На другое лето он переехал в другую часть уезда, но уже поселился в старой господской даче. Теперь у него пятнадцать тысяч собственной и арендованной земли, свои хутора, „свои“ мужики и „цитадель“ в городе.

Стрижикозин — вчерашний крестьянин.

Он еще сохранил мужичий тип свой и деревенское добродушие, хотя дети его ходят уже в котелках и ярких галстуках. Он еще любит вспоминать те годы, когда он, босой, ходил в школу, где поп поучал его терпению, смиреннию и упнованию на помощь божию. Эти уроки дали своеобразные плоды, как все фарисейское.

— И с помощью божиего все я претерпел-с! — мягко смеялся Стрижикозин воспоминанию, играя массивной золотой цепью на жилете: — бывало о. Иона... Уповай, говорит, токмо на единого творца в делах своих, а во всем прочем подчиняйся начальству, богом над тобою поставленному... Во веки не постыдишься. И подчинялся! И уповал-с! И если есть у меня землишки малая толика, никогда не забываю, кем я не по заслугам награжден-с...

Он поднимал к носу белый палец, унизанный перстнями, говоря с выражением благочестивого смирения:

— Богом-с!

И вчерашний босоногий мальчишка, волею сильной природы очутившийся в городе, — начав с торговли спичками, Стрижикозин делил с Шаповаловым уезд, разрывая в клочки богатую добычу. Точно пятна проказы пестреют их владения по карте уезда.

А за ними тянутся еще сотни.

Эти черные сотни вышли на широкую арену бессознательного творчества истории и общими силами взялись за ее гигантское колесо, не подозревая, что колесо это вертится только в одну сторону: к их фатальной гибели. Экономическая драма, в которой они играли свою жестокую роль, разрасталась в драму социальную, в великую драму пробуждающегося среди крови и слез сознания веками угнетаемой личности.

Но среди этих новоявленных лэнлордов и королей земли первое место в истории Житницкого уезда принадлежит Широкозадову. С тяжелой поступью, с мутным взглядом, угрожающим призраком встал он над уездом, далеко бросясь зловещую тень.

Сын разорившегося старомирского купца, Порфирий Власич Широкозадов вырос и воспитался в суровой обстановке

деспотизма семьи; деспотизм отца заставил его уединиться в себя; базар дал содержание его уму и направление его воле. Он докончил воспитание на степных ярмарках, где хищническая торговля с киргизами дала ему богатую практику обманных приемов стяжания и наметила программу жизни. Женившись, после ряда беспутных лет, по приказу отца, разлучившего его в свое время с любимой девушкой, — на больших капиталах, — он, после бурной ссоры с отцом, оставил его и начал самостоятельное дело. Поселившись в Житнице с молодою женой и дочерью Александрой, Широкозадов мутным взглядом оглядел мир и тяжелым, грузно хлюпающим шагом направился на его завоевание.

Он нутром понял тактику земельного хищения, — умел использовать каждый недочет мужичьего хозяйства, умел выбрать момент, чтобы прийти и закабалить.

Наступали у мужиков сроки платежей в земельный банк, — он умел дать деньги на таких условиях, что земли в конце концов переходили к нему. Была нехватка у мужиков в посевном хлебе, — он гостеприимно раскрывал амбары, урожай же переходил к нему. А неурожай отдавал мужиков в его полную власть и, разоренные, часто они, совсем без борьбы, уступали ему земли, чтобы потом голодным потоком наполнить житницкие пригороды и слободки.

Позади него, где он прошел, слышались стоны и проклятия закабаленных, а он шел дальше и дальше по уезду с своим загадочно-тупым мутным взглядом, тая планы захвата, пугавшие даже крупных землевладельцев своей тонко-продуманной неожиданностью. Точно сытый, но жадный коршун медленно кружил он по уезду, и участок за участком оставались в его руках. При этом он не останавливался даже перед мошенничеством, если оно было легально обставлено, делая этим только шаг вперед по скользкой, разворачивающей почве изжившего закона. Одним ударом он раздавил Завидовку. Арендовав у завидовских крестьян землю на двенадцать лет, по контракту с огромной неустойкой, он убедил их продать ему землю навечно. Но купчая крепость составлена была на чужое имя. И Широкозадов взыскал с крестьян неустойку, совершенно их разорившую. Потом, присоединив к земле поле соседних хуторян, скжал Завидовку железным кольцом. И теперь прежняя милая Завидовка официально превращена в Широкозадово, со станцией того же имени, вечно заваленной широкозадовским хлебом.

И мужики стали — мужики широкозадовские.

Широкозадовца сразу узнаешь: он оборван, грязен, лохмат, принжен или буен, смотря по тому — трезв или пьян, — а пьян он как только представится случай. Если вы увидите на станции сцену: пьяный мужик в разорванной рубахе безобразно ругает кого-то, потрясая одною рукой в воз-

духе по направлению к вагонам, как трагический актер, а другою тщетно придерживая полуславшие штаны, наивно открывающие наготу Адама, не спрашивайте бравого жандарма, кого он „препроводил“ с перрона.. Это широкозадовец! Не спрашивайте и самого широкозадовца, как из крестьянина он стал пропойцей, бродягой, травимым собаками, вором, которого веселые лавочники колотят на потеху базара? Тусклым взглядом посмотрит он на вас, не поймет вас.. Хорошо, если не обругает! Никто так не умеет ругаться, как широкозадовец. Он ругает на особицу мать, на особицу отца, и теток, и дядей, и братьев, и сестер.. Он умеет только проклинаять! И проклинает все: жену, детей, бесплодную землю, бездождное небо, утро и вечер, и ночь и день! Он уже начинает налитым кровью глазом угрожающе смотреть в самое небо и, быть может, завтра проклянет самого бога. Ведь услали же одного широкозадовца в Сибирь за то, что он рубил иконы, исступленно крича:

— Ступайте мою скотину кормить!

Собственные дети покидают широкозадовца, оставляя его на свободе бушевать среди чужих полей, валяться пьяным в чужих канавах, умирать истощенным на чужой меже: они уже прониклись уважением к победителю. Сыновья поступают в приказчики к Широкозадову, грозно покрикивают на мужиков, обмеривают и обсчитывают их. А дочери.. меняют красный деревенский платок на городскую шляпку, румянец полей, залитых солнцем, на парфюмерные румяна, которые пьяными и властным поцелуем расслоняют Широкозадов

В описываемый момент владения Широкозадова уже мертвого петлей сдавили и Поёмщину.

Богатые когда-то богомиловцы сдались. Только васильевцы были на стороже. Васильевцы мешали Широкозадову. Владения их прорезывала Поёма. По ту сторону Поёмы у них была обширная полоса земли, сжатая владениями богомиловцев, давно уже перешедшими в аренду к Широкозадову. Полоса эта клином врезывалась в земли Широкозадова, была одною из лучших земель по округе, кроме того, она прилегала к берегу Поёмы, где было очень удобно поставить паровую мельницу.

Долго и упорно ходил Широкозадов около этой земли.

Но упорны были и васильевцы.

— У нас эта полоса, как приданое у невесты! — говорили они: — лучшая земля... Как можно сдать ее! разве мы себе враги? Что у нас останется?!

Не раз с гиком налетал на село становой, требуя не в обычное время недоимки. Не раз староста убеждал сход отдать землю, чтобы покрыть общественные долги, а писарь читал сходу уже составленный приговор с соблазнительными условиями, который надо было только подписать.

— Смерть свою подписать? — говорили васильевцы: — у Широкозадова назад не возьмешь!

На сходе происходили бурные сцены.

Временами, после долгих споров, сторонники Широкозадова начинали брать верх, рисуя соблазнительные перспективы. Но это было торжество временное, пока не появлялся Назаров. Молодой, красивый мужик, которого учитель звал „Садко-кулец“, а становой „висельник“, Назаров был человек страсти и пламенного красноречия, один из тех «идейных» крестьян и народных ораторов, которые будут увлекать массы с трибун будущего. Он кончил земскую школу, глубоко любил книгу, хорошую, умную беседу, много раз подвергался штрафам и арестам со стороны земского, отсидел за устройство на дому чтения для крестьян.. Являясь на сход, он разбивал все хитросплетения широкозадовских союзников.

Широкозадов решил на отчаянное средство.

При посредстве писаря, старосты и их единомышленников, купленных милостями Широкозадова, была составлена бумага об уступке Широкозадову заречной земли на 12 лет, а так как в этот год бродившая по селу эпидемия унесла много мужиков, — все умершие были внесены в приговор, — их подписи крестами красовались на сером листе и были скреплены удостоверениями грамотных, подписью писаря и печатью старости.

Васильевцы ахнули.

Поднялось судебное дело, но процесс был проигран: вся формальная правда оказалась на стороне Широкозадова.

Тогда в обществе поднялось броженье, беспримерное в истории Васильевки, Васильевцы ходили как пьяные от гневного возбуждения при виде такого наглого торжества неправды! Перед ними рушились самые устои жизни, все, во что они привыкли верить и от чего чаяли защиты. Сначала растерянные, они уже стали говорить:

— Нам не на кого надеяться! Надо самим за себя стоять!

Это были слова Назарова.

Их стали все повторять, даже женщины.

Село разделилось на партии: партия старосты и партия Назарова. К первой примыкали „тузы“. Ко второй — все бедное, все молодое, все возмущенное неправдой. Здесь и там у мужиков собирались сходки, на которых часто ораторствовали женщины. И в то время, как мужики еще искали легальных выходов, женщины предлагали радикальные меры. Перед окнами богачей молодежь проходила с песнями и не раз в стекла летел камень при криках:

— Предатели!!

Всю зиму продолжалось возмущение, а к весне водворилось упорное, но зловещее молчанье.

Мужики дали Широкозадову вспахать землю и засеять.

Но когда пришла пора уборки, шумной и многочисленной толпой двинулись они под предводительством Назарова, с серпами и косами, на спорную землю и в одну ночь сквали, выкосили и вывезли хлеб. Налетело начальство, началось расследование, пошли описи, обыски, аресты, возбудилось „дело о самовольной потраве“. Мужики молчали, никого не выдавали. Но их возбуждение выразилось в по-громе. За зиму сожгли избу у старосты, попалили скирды у двух богатеев, которых молва всего более обвиняла в предательстве. Становой все чаще и чаще шнырял по стану, собирая всякие слухи.

Нарочито по его просьбе приезжал в Васильевку крестовский священник, о. Матвей, и, собравши сход у часовни, говорил:

— Всяка душа властям предержащим да повинуется! Братие! Почто восстаете, яко сатана на господа, противу благополечительного начальства своего!

Дальше привлекался к делу злополучный, всю жизнь пересылавшийся под конвоем солдат из тюрьмы в тюрьму апостол-идеолог, и шли тексты о происхождении властей.

Кто-то засмеялся.

Прочие упорно молчали.

Опять мужики дали Широкозадову вспахать и засеять землю. Опять перед уборкой шумной толпой, с песнями, привалили на спорную землю.

Но тут они нашли солдат.

Молчаливо и сумрачно стояли солдаты под ружьем.

Перед ними остановились крестьяне.

Налетел из вечернего сумрака становой, стоя в тарантасе.

— Зачем вы пришли сюда? Уходите с миром! Добром!

Выступил Назаров.

— Это наша земля. И мы пришли убирать свой хлеб!

— Это широкозадовская земля! — закричал становой.

— Наша земля! — тоже крикнул Назаров: — у нас обманом ее взяли! Не отдадим ее!

Тогда все возбужденно закричали:

— Наша земля! Широкозадов обокрал нас! Это наш хлеб! Уходите отсюда сами! Или мы прогоним вас!

— Молчать! — налетал становой: — Эй! десятские! Взять Назарова! Я тебе пок-кажу, мерзавец... бунтовщик!

Вокруг Назарова сгрудились.

Мужики до хрипоты кричали что-то возбужденное, бабы тянули к становому крепко сжатые кулаки, обзывали его „широкозадовской собакой“. Старуха Повалихина, раскольница, бросила в него серпом и поранила руку.

Становой поднял окровавленную руку.

— Прикажите стрелять! — кричал он, обращаясь к офицеру: — разгоните эту сволочь!

Раздалась команда, солдаты двинулись со штыками на перевес.

— Солдаты! — кричал Назаров: — вы такие же мужики, как мы! Вы вернетесь завтра на свои нищие пашни, а на место ваше встанем мы под ружье и придем стрелять в вас, когда вы встанете за правое дело! Солдаты! Братья! Подумайте, кому служите, на кого идете!

— Молчать, негодяй, молчать! Осторожник! — хрипло кричал становой.

Он махал офицеру руками:

— Стреляйте... По инструкции! Бунтовщики! Я отвечаю!

Молодой офицер взволнованно говорил:

— Господа! Господа! Уходите, ради бога! Мы стрелять будем! Мы должны стрелять.

— Стреляйте! — кричал Назаров: — стреляйте, коли вы свои души богачам продали! Стреляйте! Мы стоим за правое дело! Умрем, а с места не двинемся!

— Ну, ну! Стреляйте! — кричали женщины, пробиваясь вперед.

При свете фонарей блестели серпы и косы; навстречу им неумолимо надвигались штыки.

— Вася! Внучек! — закричал вдруг старик Повалихин: — и ты против нас!

Толпа в ужасе зашумела.

— Василий! Повалихин! На нас идет!

Молодой солдат бросил ружье, оставшись на месте, нарушив строй.

Строй сомкнулся.

Штыки почти коснулись толпы, неподвижной и мрачной...

Молодой офицер взволнованно закричал:

— Стой!!

Солдаты мгновенно встали.

— Командуйте стрелять! — кричал становой.

— Не могу же я расстреливать безоружных! — нервно сказал офицер и скомандовал: — ружья составь! Взять всех! Связать всех.

Солдаты бросились на крестьян. В них полетели косы, серпы, котелки, мешки с припасами. Мужичьи и бабьи кулаки отчаянно работали.

К утру восемь человек, и в их числе Назаров, сидели в темной каталажке при правлении в селе Крестах.

С. Гусев-Оренбургский.

Октябрь
1904 г.

1. Как изменился внешний вид города Житницы?
 2. Как обрисовано в повести отношение между городом и деревней до появления в уезде „хищников“ - капиталистов и за последние годы?
 3. В чем основная причина этой перемены?
 4. Разберитесь в биографиях новых „завоевателей земли“, выделите характерные черты (классовые и личные).
 5. Как и почему „завидовцы“ стали „широкозадовцами“? Сравните их прежнее положение и новое, в „железном кольце“ Широкозадова.
 6. Проследите борьбу васильевцев с Широкозадовым: а) какие силы были на стороне Широкозадова? б) на какие партии разделилось село? в) роль Назарова в этой борьбе? г) какие слова Назарова стали лозунгом крестьянской борьбы?
 7. Какую роль играли солдаты в борьбе васильевцев с Широкозадовыми? Сопоставьте с ролью солдат в революции 1917 года.
-

К а с ь я н.

Поемный низ порос крапивою;
Где выше, суще — сплошь бурьян.
Пропало все! Как ночь над нивою
Стоит Касьян.
В хозяйстве тоже из рук все валится:
Здесь недохваток, там изъян...
Ревут детишки, мать печалится...
Ох, брат Касьян!
Строчит урядник донесение:
— „Так што Нееловских селян,
Ваш — бродь, на сходе в воскресение
Мутил Касьян!
Сам становой примчал в Неелово,
Рвал и метал: — „Где? Кто смутьян?
Сгною... Сведу со свету белого!“
Ох, брат Касьян!
„Мутить народ? Вперед закаётся!
Связать его! Отправить в стан!
Узнаешь там, что полагается!“
Ась, брат — Касьян!
Стал барин чваниться, куражиться:
„Мужик! Хамье! Злодей! Буян!“
Буян!.. Аль не стерпеть, отважиться?
Ну-ж, брат-Касьян!..

1909 г.

Демьян Бедный.

IV.

ДЕРЕВНЯ
и ОКТЯБРЬ

Федякин¹⁾.

Жил Федякин в трехоконной избе с лысым запрокинутым карнизом, помнит ее с раннего детства. По зимам в ней толкались ягнятешки, грелись сухие овцы, бродили обмороженные куры. На дворе топталась пара коней с отвислыми ртами. Сначала были гнедые с длинными перепутанными гривами, потом появились сивые. Одну сивую отец променял на буланую. Буланая оказалась больной. Отец променял ее на чалую. Чалая пришла не ко двору — околела. Когда Федякину исполнилось семнадцать лет, на дворе опять появилась пара гнедых, но чтобы вместо двух на дворе очутилось четыре — до этого не дожить. Отец шел под гору, заметно слабел. На левом виске у него среди черных волос появились седые. Шаги были мелкие, воробышные. Он часто говорил, поглядывая на сына:

— Эх, Трошка, лошадей бы хороших купить нам с тобой!

Сытые кругозадые лошади в начищенной сбре были его излюбленным разговором. Одному ему не под силу спрятаться с этой задачей и все надежды он возлагал на молодого подрастающего сына. Хотелось и его заразить погоней за новой избой, в которую так трудно попасть. В добрые минуты отец разворачивал перед Трошкой счастливое будущее, похожее на короб, наполненный разными удачами, и, увлекаясь, тряс этот короб, как яблоню со спелыми яблоками. Перед глазами скакала хорошая жизнь на хороших лошадях, целым стадом проходили овцы, весело смотрела пятистенная изба, со двора выглядывал новый тарантас на шинованных колесах. Отец от радости прыгал, хорохорился, точно воробей над рассыпанным просом, готов был работать без хлеба, без отдыха, лишь бы только разбогатеть. Пыльные нерасчесанные волосы на голове у него торчали сосульками, вместо бороды примазан свалившийся клок волос. Непромытые, помутившиеся глаза, замученные бессонными ночами, беспрестанно слезились. Спал он по-заяччи с при-

¹⁾ Из романа „Гуси-лебеди“. Изд. „Земля и фабрика“ 1924.

поднятым ухом, был исцарапан, изодран непосильной работой. Но ничто не могло остановить его в погоне за новой избой, и отец походил на ошалевшую гончую, ничего не видящую, бегущую за утекающим зайцем. Он тоже всю жизнь ловил какого-то зайца и не мог поймать. Бегал, кружился, замученный возвращался с заячьей шерстью в зубах.

Когда молодой Федякин останавливался подумать, отец раздраженно кричал:

— Не стой, Трохим, не стой! Хватайся обеими руками.

От досады на отца Федякин делался покорным, послушным, набрасывался на работу, выливая из себя молодую нерастроченную силу, как лишнюю, ненужную воду.

С осени у отца появились болезни. Жаловался он на ноги, на поясницу и, заворотив рубашку, лежал на печи вниз животом. Позывало на чай, на распластанную рыбу, на белую капусту с солеными огурцами — как раз на то, чего не было. От досады, что ничего этого нет, отец лежал, как и настоящий больной, не поднимая головы. Вместе с холодом осень вела недоимки, повинности, старую надоевшую нужду с разинутым ртом, и сердце у отца сжималось мучительной болью. Заходя в амбарушку, где собрано было собранное летом зерно, подолгу стоял он над сусеками, свесив голову, мысленно раскладывал зерно на маленькие кучки: одна — на подати, одна — на рубашки ребятам, одна — на уплату долгов. Себе не оставалось, и отец шатался по двору, словно барский приказчик, ни до чего не дотрагиваясь. Сердился на лошадей, утонувших в грязи, уныло смотрел на осенне небо, подавленный бедностью, снова тащился на печку.

Вечером заходил дядя Игнаш, смирный, ощипанный мужиченка с гнойными, часто мигающими глазами, молча садился на приступок около лохани. Отец, свесив босые ноги, сидел на печи, помятый, растрепанный, выкладывал недостатки. Мать сидела за гребнем, скудно освещенная маленькой керосиновой лампой. В полутемной избенке, наполненной отцовскими вздохами, как-то особенно жалобно пело деревянное веретено. По целым ночам пело, а мать с поджатыми губами по целым ночам плевала себе на руки скручивая нитки, и все-таки одеваться Федякину с отцом приходилось в худые штаны и рубахи. Так была устроена жизнь. В одну дыру сыпали, наливали, в другую — текло обратно.

Насидевшись на приступе, дядя Игнаш говорил отцу:

— Почем теперь цены на хлеб?

— Болтают — дороже на копейку.

— Ну, слава богу! Двадцать пудов — двадцать копеек.

Смотрел Федякин на безмолвно погибающих в жизни, чувствовал, что голодная, несытая жизнь подомнет и его,

если он будет сидеть, уронив отупевшую голову. Уйти бы отсюда. Взять палку потолще, перекинуть суму и уйти. Видел город зовущий. Видел дворником себя в белом фартуке, и кучером на высоких купеческих дрожках с малиновыми вожжами в руках, и лабазным услужливым парнем, торгающим солью. Думал:

— Уйду!

На девятнадцатом году Федякина женили. Продали двух овец, выгрузили хлебишко из амбара, залезли в долги. Во время свадьбы, когда гоняли лошадей в „поездах“, испортилась гнедая — отцовская надежда. Дали Федякину пожить с молодой женой только два месяца, а на третьем за ужином отец сказал, поглядывая на молодожена:

— Чего будем делать? Пустырь! Хочу — на гору, съезжаю под гору.

Глаза у отца заволоклись серой слезящейся пленкой.

— В работники придется пойти тебе, Трофим! Можа, поднимемся.

Уперся Федякин глазами в глиняное блюдо, налитое постными зелеными щами, и просидел, не разговаривая, весь ужин.

Утром пришел Прохор Иваныч, богатый старик, ударил с отцом по рукам. Прощай, молодая жена! Тридцать пять рублей до весны, шесть пудов хлеба на выручку и хозяйские рукавицы с лаптями. Поставил могорыч. Прохор Иваныч, в растегнутой поддевке, чувствовал себя хозяином за батрацким столом. Путаные отцовские речи не задевали, не трогали его, и смотрел он на отца, как на старую, поломанную телегу, выброшенную под сарай. Матери тоже поднесли. Раскрыла она подобранные губы, перекрестилась, выпила в простоте своей за здоровье Прохора Иваныча. Федякин вышел на двор, со двора — на улицу и шатался по избам до самого вечера.

Отец не то с радости, не то с горя пропил в этот вечер своих два полтинника, не мог успокоиться. Пробовал петь песни, плакал, жаловался, стучал кулаками. Поздно ночью зашел в свою избенку на согнутых растопыренных ногах, низко кланяясь перепачканной головой, на счастливом лице играла самая счастливая улыбка.

— Ей, вы, милки мои! Живы ли вы тут? Троша, сынок! Я немножко загулял. Мать, Оганя, я немножко загулял! Не ругайте меня, я немножко загулял. Сердце у меня не вытерпело. Очень вода у нас нехорошая. Горькую воду мы пьем, утешиться нечем.

Федякин понимал отца. Верно, вода у них нехорошая.

Уже женатый, связанный ребятишками, решил он выпрыгнуть из отцовского лукошка, отправиться в город, но на пути встал Николай Иваныч, школьный учитель.

— Большой ты, парень, борода полезла, а умом не вырос. Куда пойдешь? За купцами ухаживать? Думаешь, на другую планету посадят тебя? Все мы вот такие. Как плохо, так и бежать. Никто не догадается ковырнуть под ногами у себя. Очень уж на стороне кисели текут.

Разговоры с учителем перетаскивали Федякина на другую дорогу. Не было на ней случайного счастья, в которое верил отец, не было и случайной удачи. Требовала она напряженной борьбы. Не знал Федякин как нужно бороться, и, захлеснутый новыми мыслями, чувствовал себя разбитым. Учитель подсовывал красные книжки.

— На-ка, почитай. Интересная!

— Про кого?

— Про хороших людей.

Дружба продолжалась недолго.

В темный весенний вечер улицей проскакали стражники на взмыленных лошадях, прогремели колокольчики почтовых, везущих усатого пристава. Николай Иванович с Федякиным вели задушевые разговоры о будущем, о справедливо устроенной жизни. Как были двое, так двое и сели в приготовленную телегу. Прибежали отец с матерью, жена с ребенчишком на руках, сгрудилась целая улица. Стражники, вооруженные винтовками, крикнули:

— Разойдись!

Толпа расступилась. Телега с арестованными рванула вперед. За ней в прыжку бежали отец с матерью, жена с ребенчишком, испуганно звали в три голоса:

— Трохим! Трохим!

Шесть месяцев просидел он в тюрьме. Когда вышел, сказал мужикам:

— Теперь я понял!

Шесть месяцев тюрьмой жизни превратились в тюремную школу, и выявил Федякин за это время особую правду, которой не было раньше: да, правда эта состояла в том, что мужикам надо бороться самим, надеяться не на кого. Говорил он об этом чуть не каждый день: и утром и вечером, и в поле и на улице. Мужики крякали, стояли с робко вытянутыми бороденками, мигая глазами. Сам Федякин не падал духом. Когда мужики, выгнув ноги, лежали на печи от безделья, он сидел над книжками. В чулане под печкой у него хранился целый сундучок. Были там толстые и тонкие, понятные и мало понятные — огромный волнующий мир, которого не видел безглазый отец.

Вынимая сундучок из-под печки становился он перед ним на колени, как перед источником в жаркий полдень. На поднятых страницах проходили другие лица, слышались другие голоса и все говорили ему:

— Борись!

Два с половиной года пробыл Федякин на фронте в ожидании смерти. Проносились она и в ревущих снарядах над землянками и в маленьких свищущих пулях, пронизывающих товарищеский, караулила в грязных окопах, прыгала на лезвиях штыков, выставленных немецкими солдатами, сыпалась сверху, выглядывала из-за кустов. Страшным неразрывным кольцом окружила, и люди, загнанные в этот круг, метались, как сумасшедшие, как стадо быков, подготовленных на убой, и не было силы разорвать кольцо. Когда мирно сидели по окопам, выворачивали вшивые рубашки, сушились около жарничков, говорили о женах, о детях, жалели недомогающих лошадей из обоза. Потом с ревом бросались вперед, с ненавистью убивали немецких, австрийских солдат — безвольные, кому-то подчиненные. Жгли целые села, деревни, выгоняли плачущих баб с ребятишками, пристреливали убегающих, разбивали прикладами головы тем, кто попадался под руку. Жили люди в этом ужасе по несколько месяцев, уничтожали друг друга, как стравленные собаки, но кто стравил — не могли понять. Были тут и границы государства, и русский Николай с немецким Вильгельмом, и культура, и религия, и патриотические чувства, — целый клубок человеческой лжи, опутавшей разум и сердце.

Лгала церковь со своими молитвами о победе, лгало черное и белое духовенство, призывающее благословение божие на победителей, лгали ученые, писатели, поэты, лгала последняя газетная строчка, разъясняющая кровавое дело.

Лгали все.

Все обманывали тех, кто с отчаянием в сердце и с проклятием на устах поднимали руки на таких же зачумленных покорных людей.

И когда миллионы измученных, обманутых людей услышали о революции, уронившей трон — в окопах появились „безумные“, „сумасшедшие“ большевики, призывающие к миру с немецкими и австрийскими солдатами.

Федякин первый бросил винтовку из разжавшихся рук, начал кричать остальным:

— Братцы! Товарищи!

В несколько дней миллионы солдат тоже сделались „сумасшедшими“, сказали друг другу:

— Больше воевать не хотим!

Генералы расстреливали непокорных, солдаты расстреливали генералов. Шли в окопы к немецким, австрийским солдатам, находили в сердце друг у друга теплое человеческое чувство, протягивали руку примирения. Каждым движением, улыбкой, словами и голосом говорили:

— Больше воевать не хотим!

Понял Федякин: трехлетнее истребление друг друга нужно было не родине, не отечеству, а жадному капиталу, перед которым покорно плясали цари и министры, попы и епископы, ученые и неученые.

Домой вернулся с другими мыслями.

Словно из купели вышел, оставив многолетнюю коросту, заглушившую разум и сердце. Не было уже ни жадности, ни корысти, ни желания строить себе пятистенную избу.

Одно стремление было — устроить неустроенную жизнь, налить ее светом неумирающей радости, вывести людей на другую дорогу и проклятия на устах заменить улыбкой светлого человеческого счастья.

В полдень зашел Алексей Ильич Перекатов — большой человек. Некогда бегал он по людям, работал поденно, потом сумел перевернуться, нахватал отрубов, пропитых слабо-сильными мужиками, крепко осел в пятистенке под жестью. Сына, окончившего реальное училище, направил в технологический институт, чтобы сделать из него хорошего человека, сам ходил в городском пиджаке, в низко подпоясанной рубахе, с бабьим, туга перетянутым животом. Сыл умницей, „золотой“ головой и правил мужиками как парой взнужденных лошадей в крепко натянутых вожжах. Про мужиков презрительно говорил:

— Русский крестьянин дурак! Он не умеет жить.

Сам Перекатов умел жить, но пришла Октябрьская революция, вырвала из рук крепко натянутые вожжи, мужики пошли вразброс. После февральского переворота все-таки сдерживал их. Появились всевозможные комитеты, нужны были „достойные“ люди, „честные“ работники, как говорилось в бумагах из города. Алексей Ильич, опытный баласник, сел председателем в волостной комитет народной власти. Лавочника Стратона втискал в земельный, племяша в продовольственный, а делегатом в уездный комитет направил бестолкового Моисея Кондрашина, любящего говорить про „суглас“. Сам Перекатов, разъезжая по волости, тоже говорил про „суглас“, упрашивал мужиков жить по божьи, по совести, никого не трогать, никого не обижать.

— Не прыгайте сразу! Все ваше будет. Нам ничего не надо. Присудит закон — возьмете...

Когда не хватало силы сдерживать вешины воды, прорывающие плотины, выпускал на помощь дьякона, работавшего секретарем в продовольственном комитете. Дьякон выступал с длинной ораторской речью, украшенной поговорками.

— Старики! Семь раз отмерьте — серьезное дело. Мы вот грамотные, книжки разные читаем и то, скажу про себя. ничего не понимаю в политике. Сущность никак не уловлю,

Вообще, как говорится, в Англии двести лет занимаются этой самой политикой, парламенты разные, конституции, а у нас в диковинку подвалило. Лучше повремените, старики, там видно будет, никуда не уйдет, теперь уж капут буржуазному капиталу.

Марья Кондратьевна по праздникам затаскивала старииков в школу, доводила до одури. Из тоненьких книжек, которые прочитывала она вслух, лезло на них неслыханное, стукало по вискам, утомляло, укачивало, но в голову не попадало. В ушах звенели новые пугающие слова: „социализация“, „национализация“, „социализм“, „капитализм“, „утвердительное собрание“.

— Вот Сибирь-то! — ругались мужики. — Эдак и от слободы откажешься, ежели все в голову забирать, истинный господь! Какая у нас голова? Решето! Наскрозь течет.

Особенно мучали партии. Остановятся на одной — текут слухи про другую. Эта хороша, эта еще лучше.

— Да сколько их? Али полсотня?

Марья Кондратьевна попугивала. Ежели, говорит, зайдете не в ту — пропало ваше дело.

— А на кой наделали этих партиев? — кричали мужики. — То ли дело одна — крестьянская. Сбиться всем в одну кучу и поднять на уру всю Расею. Пра! Это все буржуя выдумали, каянные. Тошно им, бесовым ребрам, давайте, мол, мужиков разобъем на партии, пускай аукаются...

— Ну, так как же? — опять кричали мужики. — Чагринские стоят за социал-риоцнерную. Думайте!

— Чего думать-то! — сердился стариик Лизунов. — Чагринские в эту, как ее, и мы туда.

— Все равно залезем по уши в воду, мы не понимаем.

Несколько дней партия социалистов-революционеров стояла над Заливановым, как вешняя тучка над обожженными полями. На нее смотрели с любовью, с надеждой, жались к ней, как молодые цыплята к опытной наследке.

— Эта не выдаст. Голову оторвет любому буржую, в Сибирь за нас шла...

Первая радость короткой была. Патрин солдат Сергунька прислал письмо с фронта, строго-настрого наказал землякам, чтобы они не держались за партию социалистов-революционеров, потому что та стакнулась с помещиками, хочет воевать еще четыре года. Сам Сергунька и Сергунькина рота стоят за большевиков. Но что за большевики, какие большевики, ничего неизвестно. Василий Гаврилов из Саратова тоже наказывал держаться за большевиков, а Прохор Попков наказывал, чтобы держались за социалистов-революционеров.

— Слободушка! — говорили мужики. — Сын — за эту, я — за эту. Наделаем делов!..

Сергунькино письмо словно крючком зацепило наложенные мысли, Прохорово — опять укладывало на прежнее место, получалась путаница, неразбериха.

— Серьезное дело, подумать надо! — сердились мужики.

— Да чорт ли думать-то! — ругался старик Лизунов. — И то голова на колесо похожа. Дает ежели земли бесплатной, за ней и пойдем, чтобы от солдат не отбиваться.

Но дает ли новая партия земли и сколько — об этом никто не знал. Некоторые советовали сходить к Марье Кондратьевне.

Итти не пришлось. Приехал Федякин с фронта и в первый же вечер разрубил все сомненья, опутавшие мужиков. Федякин был большевик, сеял вокруг большевистские зерна, а главный козырь, с которого выхаживал он против Марьи Кондратьевны с дьяконом — это мир, заключенный большевиками с Германией. Слово это ловили, подхватывали, готовы были поднять на руки, если бы можно было поднять его. Оно отражалось в глазах, чувствовалось в улыбках, звенело в приподнятых голосах. Трехлетняя война, выпившая лучшую кровь, замучила страхом, слезами, отравила жизнь хромыми, безрукими, и каждому хотелось прижаться к той партии, которая несет на своем знамени скорый, немедленный мир.

Осенью явились солдаты, атаковали Алексея Ильича, выбили из волостного комитета. Дьякона, вешающего сахар в продовольственном комитете, заставили отчитаться. Притащил он на собрание целый архив: ведомости на людей, ведомости на пуды с фунтами, расписки, накладные, оправдательные документы. Запутался в цифрах, в золотниках, в прибывших, выбывших душах. Насчитал на самого себя восемьсот рублей перебору, чуть не расплакался и мысленно поклялся никогда не ввязываться в народное дело. В новом волостном учреждении — в совете рабочих, солдатских и батрацких депутатов засели беспорошники, недавно еще стоявшие перед Алексеем Ильичом без шапок, повели дело по-своему. Перекатов посмеивался.

— Пусть побалуются.

Но баловство заходило далеко, добиралось до амбаров, наполненных хлебом, до лошадей с коровами, до всего, чем хороша была перекатовская жизнь.

Жизнь, крепко наложенная, с каждым часом разваливалась на мелкие кусочки, и склеить ее не было силы. Бешено прискакал курносый Милок верхом на своей кобылке, моло-децки спрыгнул у крыльца, испуганно крикнул:

— В Ливенках чехов разбили!.. Все село поднялось!.. От Уральска казаки двигаются...

Большевики, гонимые чехами, вдруг преобразились в сознании бедноты, как люди, несущие новую правду, и говорили о них с теплым вздохом:

— Шибко орудуют ребята!

— Эти не поддадутся, на ножи полезут...

— Как же им поддаваться, если такая программа у них?..

В серой городской рубашке, высоко подпоясанный черной лентой, выступил Алексей Перекатов — умница, „золотая голова“, строго и веско сказал мужикам, толпившимся около волостной земской управы:

— Что мы теперь думаем делать? У нас имеется приказ членов самарского комитета учредительного собрания о мобилизации в народную армию для борьбы с преступными элементами, нарушающими свободу и порядок в стране, а мобилизованные наши, подлежащие отправке, спокойно сидят по домам. Хотим иль не хотим мы поддерживать учредительное собрание?

Задние крикнули:

— К чорту!

— Значит, погибнуть должна наша Россия?

— Ну, и чорт с ней, пускай погибает, своя башка дороже...

— Кто это там произносит?

Наступила тишина.

Уже никто ничего не произносил, но глаза у всех горели враждебным огнем, мрачно двигались скулы, потаенно сжимались кулаки. Новая бойня на родных полях со своими мужиками, которых знали в лицо, казалась невозможной, ошеломляющей...

После Перекатова вылез на крыльце управы Суров-отец, подкрепив себя кружечкой самогонки, и весело, дружелюбно заговорил, бросая в толпу мягкие, тревогой налитые слова:

— Слушайте мою речь! Я, к примеру, скажу вам немного. Ежели мы не будем подчиняться властям — нас расстреляют. А ежели будем жить недружно — останемся без лошадей. Почему в нашем селе такой порядок? Все идут на подмогу, а мы не хотим. Вот поэтому, к примеру сказать, и глядим мы в разные стороны и нет промежуточной согласия, как у прочих сел. Правильно я говорю?

Но и ему крикнули в ответ:

— Воюй иди!

— А вы не будете?

— Не за что!

Спорила каждая улица, каждая изба, у всех болели головы от долгого крика, и никто не мог понять, какая сила движется на них и кто посыпает ее. Брали большевиков,

злобной руганью, накаливали чехов, самарских комитетчиков, купцов, помещиков, кадетов, и все эти люди, посылающие мужиков на войну, свертывались в огромный много-головый клубок, и страшный, уродливый клубок не давал покою. Каждая голова высматривала своими глазами, нащупывала своими руками и негде было спрятаться, негде было скрыться от надвигающегося ужаса. Каждая пядь родной земли казалась разгороженной на тысячи клеток, друг другу враждебных, и в каждой клетке таилась мужицкая западня, мужицкая смерть. Страшно было ходить по этим клеткам и никто не знал, куда наступить, какой стороной держаться. Никому не хотелось воевать: позывало к миру, отдыху, к тихой, спокойной жизни после много-летнего германского фронта, но самарский комитет учредительного собрания от имени „всего народа“, от имени попранных большевиками прав, призывал на защиту демократической республики, на защиту земли и воли. В комитете сидели социалисты-революционеры, а социалисты-революционеры всю жизнь боролись с царским правительством, шли на каторгу, в ссылку, томились по тюрьмам за народ, за мужика, за крестьянина. И теперь своими возвзываниями, газетами, приказами, они кричали в мирно настроенную, трудовую черноземную степь:

- Берегитесь большевиков!
- Поднимайся на большевиков!
- Они — не социалисты!
- Они подкуплены немцами!
- Они...
- Они...
- Они...

И возвзвания, и газеты с приказами, и горячие речи наезжающих в степь ораторов били в головы тупыми ударами, вызывали бесконечные ссоры, мелкие драки, слезы, жалобы, ненужные, неосмыслиенные страдания. Большевиков мужики не знали, большевики казались страшными выходцами из неведомой земли, и всякий раз при напоминании о большевиках перед глазами вставал страшный черноволосый китаец с косыми глазами; неведомый латыш с отточенным ножем, бессердечный немец в железной шапке — и все двигались в степь непрошеными, нежеланными, топтали мужицкие поля, разоряли мужицкую жизнь, плевали в иконы.

Так казалось мужикам, напуганным газетами, приказами, возвзваниями и горячими речами наезжающих в степь ораторов. Это вызывало звериную злобу к большевикам, огромную человеческую боль. Хотелось опрокинуться на них десятком сел и деревень, растоптать тысячью ног, разгрызть тысячью зубов, и разорванных на тысячу мелких кусочков

выбросить в поле, в ветер, чтобы не осталось следа. А когда думали о своих большевиках, убежавших в степь, мысль, зажженная гневом, попадала в тупик, в мертвую петлю. Разве Федякин разбойник? Разве Синьков разбойник? Разве не они говорили против войны? Кто кричал за бедных, чтобы выдать им дешевого хлеба? Кто живет в темных слепых избенках с ободранными крышами? Как же это так? Почему Перекатов за чехов стоит, а Федякин с Синьковым против чехов пошли? И если слушать приказы с воззваниями, — значит, нужно против Федякина с Синьковым становиться, против тех, кто живет в темных слепых избенках, и быть, по-волчьи гоняться за ними, чтобы защитить дедушку Лизунова, Алексея Перекатова, Суровых, Лизаровых и демократическую республику. А какая она? Кому чего даст? Кому чего дают Лизуновы, Перекатовы, Суровы и Лизаровы?

Билась мужицкая жизнь в мертвой захлестнутой петле, искала ненайденное. И когда пришел приказ о мобилизации в народную армию на борьбу против большевиков, заливновская, упаковская, лозихинская, чернореченская, поддубовская, проталинская беднота сделалась вдруг сама большевистской. Все затаили в себе сокровенное, злое, упрямое, крепче стиснули зубы. Каждая избенка смотрела на прибывающих чехов сухим враждебным глазом, каждый газетный обрывок, призывающий на войну с большевиками, казался насилием над честью и совестью мужика, и каждую ночь в одиночку гибли молодые веселые чехи от руки невидимых большевиков, ибо каждая ночь выбрасывала в степь все больше и больше бегущих от войны с большевиками. Маленькие разрозненные кучки беглецов сливались в огромные партии, двигались пешими и конными, в лаптях, чулках и босоножками. Без ружей и пушек, без пулеметных лент и револьверов, только с ненавистно горящими глазами, с верой в неосознанную еще большевистскую правду, колесили по степным оврагам люди, не желающие войны, и бросались в воду хитрыми звериными прыжками, жадно вырывали у чехов бойцов, стаскивали с убитых ботинки, штаны, гимнастерки, патронные сумки, винтовки, обували разутых, одевали раздетых, вооружались чешскими винтовками и чешскими пулями, настойчиво и упорно били чехов...

А. Неверов.

1. Как бился с нуждой отец Трофима?
2. Какая жизнь предстояла Трофиму в деревне?
3. Что „понял“ о крестьянской жизни Трофим по выходе из тюрьмы?

4. Что „понял“ он на войне и ради чего забыл о пятистенной избе?
5. Почему так трудно было деревне разбираться в партиях?
6. Объясните, как и почему деревенская „беднота“ сделалась вдруг большевистской?

Вопросы к проработке повести Всеволода Иванова „Партизаны“.

1. Что вы знаете о гражданской войне в первые годы революции, а в частности о партизанском движении в Сибири?
Что знаете о Колчаке и его замыслах?
2. Выделите группу лиц в повести Иванова, ставших во главе партизанского движения.
3. Как эти лица рисуются в первой половине рассказа — до их ухода на Смольную гору — и во второй половине, когда они стали во главе партизанского отряда?
4. Однороден ли состав этой группы?
5. Соберите все черты, характеризующие Кубдю и его товарищей плотников, как людей бесхозяйственных, неоседлых, вольнолюбивых. С какой стороны характеризуют Кубдю его слова о себе? — «Люблю артельную работу» — и его разговор с Антоном Селезневым в гостях у последнего на празднике?
6. Соберите все черты, характеризующие Антона Селезнева, как мужика хозяйственного.
7. Какие качества этих разнохарактерных лиц сделали их главарями партизанского отряда?
8. Что толкало крестьянство в отряд Кубди и Селезнева? Охарактеризуйте действия колчаковцев по отношению к крестьянскому населению Сибири.
- Как оправдывается в рассказе следующее объяснение Лениным перехода крестьян в годы гражданской войны на сторону власти рабочих: „Когда крестьяне испытали в Сибири и на Украине власть Колчака и Деникина, они узнали, что крестьянину выбора нет: либо итти к капиталисту, и он отдаст тебя в рабство помещику, либо итти за рабочим, который, правда, молочные реки в кисельных берегах не обещает, который требует от тебя железной дисциплины и твердости в тяжелой борьбе, но который выводит тебя из рабства у капиталистов и помещиков“. (Из речи Ленина на 3-м Всероссийском съезде РКСМ).
9. Нельзя ли сопоставить отряд Кубди и Антона Селезнева с отрядом, сгруппировавшимся около Дубровского?
- Найдите слова Емolina, относящиеся к характеристике отряда в этом отношении.
10. Какую роль играет в рассказе Емолин?
11. Как очерчена в рассказе фигура учителя Кобелева-Малишевского?

1. Что своеобразного в языке, каким написана повесть Иванова?
 2. Попробуйте выписать все непонятные для вас слова: мало ли их окажется?
 3. Откуда и зачем автор заимствует эти слова?
 4. Что интересного в таких словах, как „местины“, „глядень“, „палы“, „затин“? Разберитесь в строении этих форм слов.
 5. Чем интересны такие формы слов, как „пропадат“, „покупат“, „значи“, „работат“, „хочут“ и т. д. (отыщите сами слова в подобных формах в повести Иванова)?
- Не встречали ли вы сами в простонародном говоре такие формы?
6. Разберитесь в таких формах слов, как „не шумли“, „шалел“.
 7. Отыщите в повести необычные сравнения, красочные образы, к которым прибегает автор.— В чем их необычность, иногда и неожиданность?
 8. Какую роль играет в этих образах зрительное, иногда обонятельное ощущение?

Софронова коммуна ¹⁾.

Сход начался по новому порядку, который Софрон с солдатами установил. Чисто молебен сходки начинали. Пеньем... Запели „Вставай, проклятым заклейменный“. Шапки все поснимали, но пели только Софрон, солдаты отпускные, да ребятишки, везде поспевающие. Несмотря на увесистые подзатыльники и цыканья, всегда на сходках терлись. И самой большой угрозой старикам было их неверное, ломкое, но всегда радостное пенье... Мужики постарше, даже из буйных заовражинских, пенья этого стыдились. Головы в тулупы прятали. Нехорошо. На селе зубоскалы дразнятся:

— Как-есь чортова обедня! „Проклятому“ молитву поют!

Небесновцы все светские песни бесовским игрищем считали. Пели только свои псалмы на голос песенный. Оттого их хмурое молчание было привычным.

Нынче Софрон праздничный, радостный. Изнутри в глаза бьют свет и ласка. Оттого зорок и чуток. Как спели, без ругани, по-доброму сказал:

— Пошто стеснились, старики? Голосу в песню не даете?
Отозвался смущенно Артамон Пегих.

— Ладно уж! Свое отпели. Молодых послухам!

Софрон весь в его сторону подался, трепетный и радостный.

— Товарищ Артамон Петрович, как мы партейные, понимать должны. Песня эта для пролетарию складена. Интернационал значит: всякий, который неимущий, жид ли, хре-

¹⁾ Из повести „Перегной“.

стяинин — все вмestях. Понимашь? И как раньше нас проклятым обзываи, мы им для ответу! Покажем, дескать, каки мы прокляты! Понимашь?

Прямо в рот Артамону лез, старался. А тот подальше подался и совсем сникшим голосом сказал:

— Сомнительно. Слово черное, а между прочим дозволям! Все одно уж...

Фронтовик Семен Головин вступился.

— А что касательно слову интернационал... Это слово большевистское. Большевицкий язык трудный, но ежели в корень дела взглянуть, обстоятельный. Хлесткий!

Артамон Пегих деловито, без улыбки, подтвердил:

— Куды хлеще.

Небесновцы засмеялись. Но Кочеров, мучаясь нетерпением, не выдержал, крикнул из толпы:

— Довольно бы, братья, обученья-то этого! Дела разобрать надо. Зачем скликали народ?

Толпа задвигалась, загудела:

— Дело... Дело изъясняй.

Всегда мучимый болью и злостью, Редькин надрывно прокричал:

— А это не дело? Слова городски надо знать! Штоб не омманули.

И крик его был близок и понятен многим из Софоновской партии. Приняли гнет новизны. Отшиблись от своих учителей-стариков. Городу передались, а исконного недоверья к нему еще не изжили.

Вдруг толпа закачалась, раздвинулась в удивлении.

Пятнадцать человек фронтовиков и молодых безусых парней с винтовками за плечами пробирались к столу. Сразу тихо стало. И четко, торжественно прозвучали слова Софона:

— Революционна охрана!

Минутное жуткое молчание толпы подчеркнуло для всех: наступает новый час. Борьба здесь вот, в своей деревне. Оттого твердый, спокойный голос Софонов отозвался, как бранный клич:

— Вся земля в волости общая. Мир — хозяин! Отдельных хозяев нету. Разобьем на участки. Всех людей в нашей Тамбовско-Небесновской, по-теперешнему Интернациональной, волости тоже разобьем на коммуны. Каждой коммуне по участку. Миром сеять и убирать. Кто в коммуне не желает, пушай на печи лежит. Ни хлебу, ни сена не дадим!

Вздох или стон в толпе, и опять миг молчания, потом дрогнувший голос Артамонов:

— А машины как?

В годы войны по всем деревням затосковали по машине. Увидали, как справлялись легко богатые с ее помощью. Наслушались от военнопленных о царствах, где машины

кормят и спине передышку дают. Но купить их могли только многоземельные, сильные. Разом подхватили Артамонов вопрос:

— Машины... Машины как? Машины?

— Из городу дадут?

Софрон опять твердо и победно:

— Приказ есь. Все машины у хозяев реквизированы!

Мало-ль у нас богатеев? По коммунам разделим.

Радостное, тревожное, протестующее в гуле. Неподвижные, хмурые мужики с винтовками у стола. Волной толпа к столу, но через миг сникла, от стола подалась. Будто спрятаться хотели. Только Кочеров, забыв всякую осторожность, не своим, резким крикливым голосом прямо с места заговорил:

— Это грабежу подобно! Небесновцы миром землю покупали. Последнюю лапотину за ее отдавали! У господ отбирать ладно! А мы как трудящие? Над трудящими изгиляетесь? Свово брата-мужика зорите? Небесновцы допреж вас коммуной жили! Сообра землю покупали. Всей Небесновской обчиной. Грабители вы, а не устроители! Свово брата-мужика!..

Зарычал многоголосый зверь.

— Верно говорит!

— Не дадим!

— Потом, кровью наживали!

Разобрать слов уже нельзя стало. Все слилось в одно грозное: а-а-а-а! Но торжествующий крик Софонов все услышали:

— Силой отберем!

Если бы „революционная охрана“, разорвали бы Софрана. Двинулись Небесновцы к столу, а парни ружья на изготовку, сзади Заовражненские и Тамбовские мужики с грозным ревом. Кочеров зубами заскрипел, но понял: да, сегодня сила Софронова. Гурьбой, будто сговорившись, многоземельные повалили к выходу. Оставшимся в школе Софон горячо объяснял:

— Брешут Небесновцы, что их неправильно. „И у нас тоже коммуна“. Брешут. Что ни дом, то разна секста. Бога-то свово на клочки разорвали. Добролюбовцы, субботники, баптисты, евангельски хрестьяне. Грызутся, как собаки. Теперь за-одно как за свой кус испугались. „Землю всем обществом покупали“!

— А разделили как? Кто сколь денег дал! Маломочны, так и есь маломочны! А у Жиганова четыреста десятин. У Кочерова триста пятьдесят. „Трудящие“. Пузо-то не больно натрудили! Все работниками! Кочеров-то за попа галдит, да портняжит и не нюхат землю-то! Жиганов на нас сидел! Пертрясем! Всех пертрясем! Нашего дню дождались!

Среди оставшихся была половина Небесновки. В первый раз властное требование земли и хлеба слило вместе «православных» и «молокан».

Расходились опять за полночь. Софрон дольше всех в школе топтался. Охрану отпустил. Большебородый фронтовик остерегал:

— Изобают на улице!

Но Софрон успокоил:

— Седни не тронут! Напужались!..

Приказала земля мужикам Интернационаловки, Тамбовско-Небесновки тож, готовиться к сенокосу. Загудели, заворожились, высыпали на улицу из домов своих, приспособленных, как у зверя, только для зимней спячки, не для наслаждения уютом и домашним покоем. Мужики в будничных портках и рубахах, но живой говорливой, как и в праздник, толпой шли, собирались у большой артельной кузницы на выезде из Небесновки. Пряный густой аромат распаренной солнцем земли, приносимый ветром с полей, и здоровый звериный запах навоза с дворов, как вино, тревожили кровь, радостным, пьянящим ударяли в голову, омолаживали глухие голоса стариков, крепили нутряным, грудным звуком звонкие выкрики молодых, серебром переливали детские слова-колокольчики. Во хмель нынешней радости было новое. Заовражинские, которым в прошлые годы было положено только отраженный от хозяев свет радости принимать и супиться от мысли: чего косами начиркаешь, гудели нынче густо, как сильные. Оттого, что длинной ратью выстроились у кузницы машины и для их покоса. Солнце и радость сделали морщины на лице Артамона Пегих лучами, грязно-серые волосы серебристыми. Маленький и сухонький, сегодня он, будто, распрямил батрацкой работой согнутую спину и повыше, казалось, стал. Как хозяин заботливый кричал:

— Софрон, а Софрон! Слышь ты, Артамоныч, сколь кузнецов-то у нас?

— Деся-ать!

— Хватит ли по машинам-те?

И тревожным перекатом по заовражинским:

— А и то, хватит ли?

Втянув черную лохматую голову в плечи, Редькин острые скулы свои и ямы худых щек к солнышку поднял. Будто тепла просил. И блики радостные лицо оживили, оттого и голос с меньшей натугой, чем всегда, прохрипел:

— Савоська... это нашинский.. Постарается. Его для надзора поставим. А надо, так все мы закузнечим. Было б над чем!..

Сектант Глебов — с него солнышко хмару сегодня не сголило — угрюмо отозвался:

— Кузнецы!.. Над машиной-то споровку надо. Эндаки, как Пегих да Редькин, накузнечут... Каки целы зубья-то и те переломают.

Софрон насмешливо оборвал:

— Ничо, не сокрушайся об нас, не труди печенку. Переломам, новы наварим. Сами не сумем, тебя приспособим. Потрудись, мол, товарищ Глебов, для черноты крестьянской! Э-э-х, табачком побалуюсь. Весело!

И непривычными пальцами начал свертывать папиросу. Живя бок-о-бок с сектантами, мало курили интернационаловские мужики.

Криквшей Савоська от дверей кузницы крикнул:

— А ты, Софрон, махры-то из городу для кузнецов расстарайся. Уважим! А энти, псы-то, гавкают, знамо, со зла. Мы свое справим, вы поспевайте. Вот к слову, сказано лобогрейка. А почему? А потому — лоб греет. За ей поспевай в ногу. Как под музыку, паря!

— Махорка запасена. Айда, музыку только готовь, поспем. Мужицки раскоряки подладливы, только поучи. На войне не под эдаку музыку поспевали! Штой-та, Жиганов Алексей Иваныч ионче смирен. Мир радуется, а он рота не раскрыват.

— Ха-ха-ха-ха!

— Го-го-го!..

— Подавишись! Прятал, прятал машины для себя, а теперь айда-ка к Софрону наймайся.

— Наймем ли чо ли, братцы, Жиганова-то в работники? А?

Жиганов сплюнул, белками синими сверкнул, но ответил спокойно:

— Не было б нас, и машинов-то взять негде было бы. А от работы мы не отлыним. Как, Софрон, нас в коммуны-то примате?

— А, реготали, а теперь учゅяли?

Редькин завопил:

— Эдаки коммунщики только за машинами за своими тянутся. Чтоб не выпустить! По шеям их!..

— Знамо без их!.. Пущай сено у нас покупают.

— Не примать!

— А что не примать? Пущай идут в долю. Слошадями они.

Софрон прекратил:

— Пущай в ровнях с нами побатрачат. Примам. Главно дело, лошадны.

— Правильно-о!..

Артамон Пегих справился:

— Сено-то как, на душу делить? А на душу, дак примай, каки охотятся.

— Айда в школу, в коммуны записывать!

— Что и во сне не мстилось, увидать привелось. Ко-ом-му-ны! Ну, ну!.. Ну поглядим. Либо волосья клоками, либо сено стогами.

Повалили к школе. В кузнице началась жаркая музыка работы. Редькин около машин остался. Все ему казалось, что отнимут их. Надо сторожить верным глазом. Деревня жила переливами взвужденных человеческих голосов.

За кузницей на лужайке дети звенели:

— Которы машины Жигановски, теперь нашински!

— Как раз! Вашински! А нашински?

— И вшински!

— А Жигановски?

— „Вставай, проклятьем заклюменный, своею собствен-ной рукой“...

— Ах, ты, холера тебя задави! Семой год, а туды же „вставай, проклятый“. Иди в избу, пока не взгрела!

— А ты, тетка, не лайся на его. Старый прижим-то отошел.

Весь день хлопотливый, горячий, ароматом с поля об-веянный, был суматошно радостен. В одно утро выборные от коммун выехали луга делить. Шумной, говорливой толпой провожали их мужики и бабы. Выстроились верховые с де-ревянными саженями в руках.

— Ну, инженеры, не подгадывайте мерялкой-то своей.

— Что остерегаешь? Сажени-то, знаешь, стары, меряны.

Гикнул передний верховой, отозвались остальные: мужики, выборные от коммун и ребятишки-добровольцы. Из-за радости буйной степной с мужиками выпросившиеся. Взбрьнули ногами сивки, каурки, бурки и понеслись шум-ным отрядом в степь.

А степь разнотравая ластится. Белым ковылем кланяется. Мигает несчетными белыми, красными, голубыми глазами — цветами. Богатство свое показывает. И жужжит, и звенит в воздухе голос ее: в птичьих трелях, в трескотне кузне-чиков, в шуршанье букашек. Будто не умирала зимой. И все в ней пахнет сладостно. Цветы ароматны, травы ароматны, и русское небо бледноватое, кажется, пахнет солнцем. Ветер дымок донесет, а он в степи горяч, пряян и ароматен. Полянь, трава горькая, и та на расцвете острый, до боли сладостный запах дарит. Степь вся гулкая и отзывная. О-го-го-го! А-а-а-а! Гулом далеко-далеко. Слуш-а-ай! Степь голос человеческий передает. Слушай зверушка, птица, бу-кашка, слушай голос человеческий! А-а-а!.. Грудь сама для крика ширится.

Спешились с коней. Зашагали с деревянными саженями своими.

— Стой, стой!.. Ты как шагашь? Стой!

— „Шагаш!“ Каке ноги есь, тоими и шагаю!

— Ге-ге-ге! Нет, браток, надувательско время отошло!
Начинай отседова!

А степь отзыается: а-а-а!...

Ребятишки перепелок шарили по кустам. Орали будто подряд на крик взяли. Ванька Софонов всю ученость свою в траве растерял. Прыгал на одной ножке и пел звонко заливисто:

— Этта сама-д-перепелка,
Этта сама-д-перепелка,
Перепе-е-лка-а!...

— Дедушка Артамон, перепелку не пытал?

Артамон похвалиться захотел: увидал в траве и схватил... вместо перепелки змею. Кинул сразмаху.

— Ах ты, тварюга проклята! И очень просто, вот така обжалит.

Глебов густо захохотал. И он в степи попростел и по-веселел.

Вот оно, дед Артамон, как чужу-то землю размерять! Заместо птицы — змея в руку!

Ванька за Артамона задорно ответ прокричал:

— Ничо, змеев-то мы назад вам вернем. Пользуйтесь, вы с ими родня.

Глебов звонко, увесисто, выругался, но больше не язвил. Хоть и не смолкал в разговоре. Целый день луга оглашались меткими мужицкими словами. Для того, что знали, видели и понимали, был у них язык ярок и хваток, переливался образами, как степь цветами.

Косить, обычно, начинали после Петрова дня. В этот год порядок нарушили. Выехали на целую неделю раньше. Старики ругались:

— Обычай рушите! Не зря установ: сыра земля.

— Ничо, мы горячие, высушим!

Первыми двинулись машины. За ними уемистые рыдваны с бабами, детскими зыбками, бочками, палатками, ведрами, одеждой, котелками и чашками. Когда приехали, закачалась степь от разногласья. Замелькали по степи бабы головы, повязанные платками с красным по желтому, с белым по красному, разноцветными.

Участок Артамоновской коммуны у леска начинался. Лесок кудрявый маленький. Издали был в степи, как букет небольшой на столе. А подъехали, увидели: тенистый и приютный, с родником студеным.

Завозились на стану бабы, заплакали ребятишки. Двинули мужики машины на луг. Демьян Колосов, заовражинский, на лобогрейке выехал. И вид у него был встревоженно-радостный, такой же, как в детстве, когда мальчишкой в первый раз на поезд попал.

Скоро на стану одна Царья Софронова кашеварить осталась. Далеко-далеко, куда хватал глаз, все двигались по степи люди. Ванька Софронов пересчитывал:

— Нашиńska коммуна — восемь семей. Мужиков с мальчишками — тринадцать, баб — семнадцать. Пантелеевска коммуна — девять семей... Ничо, на луга силу двинули...

— Ва-а-нька! Вань! Чо растопырился, иди!

— А-а!

— Но-но-но! Но-о! Пантелей, поспе-в-аешь?

— Поспем!.. Уля-а, ровне греби!..

У Аксиньи солдатки голос из груди сам вырвался.

— И э-эх да травушка под косы-ыньку лягла.

Прилипли к телу потные рубахи, красным цветом прожгла кровь лицо, устали ноздри втягивать запах ароматной смерти травы, налились тяжестью натуги спины, а передышку ни одна коммуна не объявляла. Не захотели сдавать, вытягивая свое тягло. Наконец, прокричал своим Артамон, что шабашить пора. Стали замолкать машины и на других участках.

— Мамк-а-а! Пошевелив-ай! Обедать идем!

— Айда-те-е! Три раза кликала!

Пить! Прежде всего пить студеную оживляющую влагу. Холодом неожит пересмякшие губы. У родника долго мылись, плескались, ухали от холодной воды, потом также долго, деловито, старательно, как работали, ели из общего котла Дарьино варево, запивали с густым кряканьем кислым деревенским квасом. После обеда затихла степь. Впоясалку в коммунах полегли отдыхать люди и спали, не тревожимые бьющими в голову лучами жаркого солнца. Когда надо телу спать, спит, ничего не боится. Но недолго разливался в траве густой переливчатый храп мужиков и подхрапыванье баб. Поднялась коммуна, и снова шум и треск и гомон работы. В рабочей старой одежде ловко и согласно двигался на общей работе Глебов. В пылу ее забыл, что не один хозяин над полем. Вспомнил только ночью и долго заснуть не мог, хоть и устал от работы. Ворочался и кряхтел.

Из леска доносился зовущий смех девичий, переливы гармошки и удалая частушка парней. Когда спустился на землю ласковый полог ночи, молодежь от станов подальше ушла. Переливами будоражливых голосов своих полог этот колыхала. Но когда обвевал холодком зари и прогонял со станов истому сна и вставали старшие, молодые не запаздывали. Шли на тягло и хмелем криков и песни, молодостью согретую ушедшую ночь славили. Ссоры в коммунах во время работы были редки. Слишком ценил выгоду свою каждый, чтобы отстать, потерять лишнюю копну сена. Один раз Софрон поскандалил. Он на покос только

наезжал, и как раз в его приезд в их коммуне лобогрейка сломалась. Поехал верхом к Савоське — кузнецу.

— Айда, парень, в кузницу!

— Ишь ты, ласковый! Поди-ка, в коммуне раздел на душу. Не сработашь, не прогневайся.

— Так нашей-то коммуне, как без машины?

— Ну, косами косите!

— Я те покажу „косами“!

Разъярился, а потом смекнул: прав Савоська. Как работу пропускать? И вышел приказ от Исполкома: кузнецов с косьбы снять, положив сено на их долю. Каждый день новый случай учил, направлял порядок, и все уверенней становились Софрон и с ним согласные. День за днем, к концу косьбы. Праздников не справляли, хоть иногда и тосковали по ним. Но отказывались: на себя работали.

Передряги начались только, когда стали сено возить. Глебов на своих лошадях воз за возом, а Артамоновская лошаденка притомилась. Он чесал затылок, поглядывал на затуманившееся небо и ахал:

— Што ты станешь делать? Подкузьмила лошаденка! Везде бедному заковыка!

Ванька Софрону сказал:

— Мы чо-же сено-то сгребали, сгребали, а теперь облизываться станем? Дожди пойдут, сгниет. На своей спине не вывезешь.

— Тебя не спросили! Знам, сделам.

Новый приказ прорвал затаенный гнев богатых. Долго гадели у волости, когда объявили, что лошади в коммунах тоже общие, сено возить по всем дворам коммуны по-очереди.

Софрон на крыльце вышел:

— Ну, а вы хотите по-старому? Наработали, да все на вас? Нет, ушло времячко. Палка-то в наших руках!

И лицом двинул на красногвардейцев приезжих. Сдались. Только Панкратов, мужик богатый из Тамбовки, двух лошадей своих испортил. Захворали. Аксинья солдатка доглядела. Коновала к лошадям привели, а Панкратово семейство сена лишили. Старались и другие: и ночью копны к себе в коммуну с поля других перетаскивали. Но хорошо следили подростки. Уличали. Ванька Софронов, загоревший и радостный, в своей коммуне за чередом смотрел:

— Эй, эй, Глебов гражданин, не мухлуй! Нынче нам лошади. Куды заворачиваш?

— Без тебя знаю, мозгляк!

— На мозги теперича спрос. А вот по брюху только революционный трибунал плачет! Как кто в пигит, сейчас сгребет-

— Ты гляди, нарвешься когда... не охнешь! Больно ловкий да шустрой стал!

— Нам нельзя не шустрым-то быть. Сказано, Российска Федеративна Социалистическая Республика. Вот и понимай!

У Глебова кулак зачесался, но только сплюнул. А в голове подивился: язык у молодых острый. Как перец в их смачной русской речи иностранные слова.

С утра до вечера скрипят полные сеном рыдваны по дороге. Мотают головами лошади, мерным шагом таща их к дворам заовражинских. Будто удивляются, что гумна, годами по стогам тоскующие, теперь полны. Богатые сено заработанное встречают не радостью. Новая мера обиды за покос на душу налегла. Зато радостно треплет коровенку жена Редькина.

— С сенцом, рыжуха, нынче! Н-но, стой! С сенцом...

Лидия Сейфуллина.

1. На какие группы раскололась сибирская деревня под влиянием Октября?
2. Какие чувства и мысли вызывала в разных группах Софронова коммуна?
3. Почему и на каких условиях приняли в коммуну богатеев?
4. Нарисуйте картину коммунального труда (первые шаги, неналаженность, новые навыки, успешный исход).
5. Выделите картину степи, разберитесь в ее словесных образах (краски, звуки, запахи, общее жизнеощущение).
6. Как понять выражение: „Приказала земля мужикам.. готовиться к сенокосу“? (Используйте для ответа следующий за этой фразой текст).
7. Найдите своеобразные формы и слова крестьянской речи и сопоставьте с соответствующими формами и словами речи литературной.
8. Разберитесь в особенностях повествовательной речи Л. Сейфуллиной. Сравните язык с речью прежних писателей, напр., Гончарова (см. текст в хрестоматии).
9. Не наблюдали ли вы расслоения в современной деревне?

Коммунары.

Ни достатка, ни порядка;
Ходит сам не свой Касьян:
У Касьяна есть лошадка,
Нету плуга и семян.

У Емели дует в щели.
С горя, бедный, будто пьян:
Плуг есть старый у Емели,
Нет лошадки и семян.

Злая грусть берет Нефеда,
Дед клянет весь белый свет:
Семена нашлись у деда,
Нет лошадки, плуга нет.

Повстречал Касьян Нефеда,
Подошел к нему Емельян.
Слово за слово — беседа
Завязалась у крестьян.

— Ох-ти, брат, не жизнь, а горе.
Я вот стал совсем мосца. —
Все на том сошлись вскоре:
С горем биться сообща.

Что у всех имелось втуне,
То теперь слилось в одно:
Есть коммуна, а в коммуне, —
Плуг, лошадка и зерно.

Дед с Касьяном поле пашет,
С ними спаянный трудом,
Молотком Емеля машет,
Подновляя общий дом.

Труд не в труд, одна утеша,
Стал милее божий свет.

— Братья, счастья и успеха!
Коммунарам мой привет!

Демьян Бедный.

На гумне.

Поле, поле, соломенный скит.
Пляшет в руках развесистый цеп.
Дед седовласый тут-же сидит,
Дед толстоносый древен и слеп.

Внуки на смену деду пришли,
Внуки свободны в родном краю.
Внуки достали себе земли.
Кровью добыли свободу свою.

Собрано в кучу ржаное зерно.
Новые в поле скрипят возы.
В радуге песен горит гумно,
Дома ребята твердят азы.

Диву дается дед-седовлас:
Песен таких не слыхивал я.
Не было песен таких у нас,
Барщиной плакалась песнь моя.

Эй, веселей золотись копна,
Солнцем вспытай в синеве полей
Весело лезут горсти зерна
В бороду деду — снегов белей.

Солнце вошло в соломенный круг,
Налито силой мое плечо.
— Бей, не жалей здоровенных рук,
Куй железо, пока горячо!

1917 г.

П. Орешин.

Конец старой сказки.

Батюшка-водяной совсем прижился в Бел-озере, так прижился, что завел там полное хозяйство: и пахал, и сеял, и скотину держал. Ежели по осени, когда еще не начинались дожди, и вода в озере светлая-присветлая, ежели отъедешь от берега на две, на три сажени и приглядишься к глубине, то заметишь высокие водоросли, красивые, расчесанные, будто кто нарочно их сеял да выхаживал.

А кто сеял? Кто выхаживал? Конечно, сам водяной. У него там, на дне Бел-озера, такие нивы, каких мужики и во сне не видали.

Вольготно водяному живется. У него под водой и дворец хрустальный, украшенный червонным золотом, серебром и камнем-самоцветом; а от камня такой ярь-свет идет, что во всем дворце светлее, чем среди солнечного дня на дворе. И конюшни там из красивой меди выстроены, двери у них серебряные, а на крышах вертятся золотые петушки с алмазными глазами.

Сам водяной — седой-преседой старик, а жен у него больше десятка: все девушки, которые утонули когда-либо в Бел-озере, все его женами стали.

Ездит он в большой карете, запряженной голыми рыбами-налимами, сомами, угрями. (Оттого вот православный народ и не любит есть налима и сома: как-никак, а все-таки это чортовы лошади).

Водяной в Бел-озере был этакий добрый. В других озерах водяные-то озорники: народ часто топят. Чуть человек в непоказанный уповод пойдет купаться — в полдень, в полночь, или после заката солнца, или начнет купаться, не перекрестившись, — глядишь, водяной его цап-царап и тащит на дно. Ну, а там уж делает таких людей своими работниками, — заставляет пасти рыбью стада, переливать воду, пересыпать песок...

А водяной с Бел-озера не таковский был. Он добрее. Знамо, он тоже топил людей и делал разные пакости, ну, только мало, меньше, чем другие. И мужики в полном согласии жили с ним.

Одно только было нехорошо: частенько собирал батюшка-водяной скот для своего стада; как какая корова или овца ему понравится, глядишь, он ее и высматривает и выслеживает. Тут уж нипочем не спасешь скотину. Водяной увидит ее в прибрежной грязи или в озере потопит, а уж она будет у него. Собрал он целое стадо, а пасти-то ему и негде. Что тут будешь делать?

Конечно, у него и пастища на дне были хорошие, но скотина к ним непривычна: ни коровы, ни овцы не едят водорослей.

Вот водяной и придумал.

Все стадо свое он перекрасил в черный цвет и в темные летние ночи стал выгонять его на берег, на луг, пастьись. Только вечерняя заря погаснет, водяной уже гонит стадо из озера — палкой по воде похлопывает, глухим голосом покривикает:

— Идите, коровушки, на луг пастьись. Идите, овечки, мураву-траву жевать...

Коровы и овцы выходят из травы, фыркают, порой ревут и пасутся на берегу до самых третьих петухов... А чуть трети петухи затрубят, и вся нечисть в испуге замечется, водяной, как заботливый хозяин, опять гонит свое стадо в Бел-озеро.

Лет этак шестьдесят тому назад, — мой дед об этом отлично помнит, — один ловкий человек из Власовки ночью подкрался к стаду и отбил лучшую корову. Эх, и корова же была! Черная, гладкая, вымя, как боченок... И сейчас — побывай-те во Власовке — там коровы, — как на подбор: справные да молочные. Все они пошли от той коровы, что была отбита у водяного.

Водяной тогда, говорят, сильно рассердился, проведал, кто украл у него корову, и наказал вора: этак перед самым жнитвом пришел тот человек в поле на ниву посмотреть, а нива-то вся в лоск потоптана. Хоть бы колосок какой остался.

Так-то.

С водяным надо жить в мире. Вот наши мужики в мире с ним живут: пчеляки первый фунтик спасова меда в озеро бросают — батюшке-водяному. Особенно стараются рыбаки... В наших местах каждый рыбак носит на гайтане с травой Петров крест, чтобы водяной не портил рыбачьего дела; а из первого улова самую лучшую рыбу опять в озеро бросают ему, водяному. Ежели наш рыбак на ловлю идет, он никому не скажет, куда идет. Спрашивай не спрашивай, не ответит.

— Куда идешь?

— Ну, закудыкал, пути не будет.

Знает рыбак, что водяной тайну любит и уважает тех, кто умеет держать язык за зубами. Сеть у нашего рыбака всегда подкурена душистой богословской травой, чтобы водяному приятно было. Опять же там охотники, мельники... Всяк водяному дар несет.

Ну, он и ничего. Не очень обижает.

Если вы выйдете на берег Бел-озера, то справа увидите широкий зеленый луг с травой изумрудной. Такого луга в других местах и найти трудно.

Это и есть тот самый луг, на котором водяной по ночам свою скотину пасет.

Прежде, лет этак двадцать тому назад, луг никогда не косился. Думали мужики, что так лучше для водяного: он хозяин, он и распоряжается.

Но вот в село приехал новый батюшко, отец Григорий... Про него говорят, будто он хитренький человек. Ну, да на чужой роток не накинешь платок. Священник хороший, правильный. Деньгу-то, правда, он любит, да и кто из поповской братии деньгу не любит?

Приехал он этак, все разузнал, разведал, как мужики живут, как в господа бога веруют, посмотрел на луг, принаследлежащий водяному, и раз говорит мужикам на сходе:

— Православные христиане! Надо бы лужочек-то скосить.

Мужики просто остынули.

— Как скосить? А водяной-то?

— А я думаю, православные, что водяной будет только рад. По вашему крестьянскому делу вы сами знаете, что луг только тогда хорош, когда его очищаешь ежегодно. А если траву оставить на нем, луг засаривается. Вы посмотрите-ка: на лугу теперь и лопух растет, и репейник, и щавель лошадиный. Это не годится. Очищать надо луг, выкашивать.

— Нет, батюшка, так нельзя. Мы выкосим луг, а водяной-то наш разобидится и все стадо потопит. Или хворь на село пустит...

— Не согласны. Не согласны! — гадели мужики.

А отец Григорий выждал и говорит:

— Вы сами-то не косите. А вы в церковь этот покос жертвуйте. Богу это будет угодно.

— Нет, все одно, не согласны.

Батюшка нахмурился.

— Кто же, — спрашивает, — вам дороже: бог или водяной? Кого вы должны больше бояться: бога или водяного?

Мужики опешили. Глядят друг на друга с недоумением, будто их по головам кто дубиной удар

— Ну, так как же? Решайте. Кто вам больше по душе?
Кого вы больше боитесь?..

Вот было дело-то! И бога-то, конечно, боязно, и водяного-то...

Он ведь тоже сила не последняя... Главное, спокон веков так дело велось: на лугу водяной хозяин. Как же теперь быть?

А батюшка подзуживает:

— Не бойтесь, православные. Вы положитесь на меня, жертвуйте луг в пользу церкви. Я уже все дело обделаю. И водяной будет доволен, и богу будет приятно...

Наконец, дед Вавила нашелся:

— Где же будет водяной пасти свое стадо, когда мы луг скосим? — спрашивает батюшку.

— А отава на что?

— Отава не скоро вырастет. Недели две или три надо.

— Так это можно сделать, — усмехнулся хитренько батюшка, — я для такого случая копны три сена оставил. Пока не выросла отава, пусть сеном из копен кормит...

Почесали мужики в затылке, согласились. Что ж там? Батюшка — человек грамотный и к богу близко. Ему все дела известны...

* * *

И с той поры так повелось: лучший луг на берегу Бел-озера шел в пользу церкви — то-есть, просто сено с луга свозилось на батюшкин двор: церковь — ведь это то же, что батюшка.

Сами же мужики и скашивали его. Как сенокос, так батюшка с амвона речь:

— Православные, потрудитесь во славу божию.

И трудились мужики, косили. А чтобы не обидеть водяного, оставляли копны три до отавы...

Так шло много лет.

Мужики порой сильно завидовали.

— Ишь, попу-то — самый лучший луг, самая, что ни есть, лучшая трава.

Втихомолку ругались. Особенно те, кто помоложе. Забывали, что этот луг не батюшки-попа, а батюшки-водяного. Ну, да мужику не разобраться, где чорт кончается, а бог начинается. Хотя и то сказать: и бог и чорт для мужика одинаково могут добро и зло учинить. С ними вообще подоброму надо жить. Сердить не надо. Обругается в завидах какой-нибудь мужик и сейчас:

— Прости меня, господи, многогрешного... Тьфу, тьфу, тьфу...

И поплюет через левое плечо три раза. Тут тебе сразу и молитва господу и честь чорту. Ругались-то, впрочем, редко и больше в зависти.

Да как и не ругаться?

В засушливое лето, смотришь, на мужичьих лугах не трава, — охвостье какое-то, а на поповом лугу пырей до пояса. Так-то...

* * *

Идет-ползет себе деревенская жизнь. Глядеть бы — недавно в селе народу немного было, а теперь что ни год, то новые семьи объявляются. Там отец сына выделил, там братья поделились, там новый надел, здесь новый участок... Ровно грибы в дождевое лето.

Протянулось село за дальний ерик...

И то сказать: народ по Бел-озеру кряжистый да плодовитый живет... Глядь-поглядь — тесненько стало жить. Народу много, а земля та же. В поле или там, скажем, на лугу мужик мужику на ногу наступает. Спор, крики.

Старики на завалинках сидят, седые бороды поглаживают, слушают, как молодые на тесноту ворчат, вздыхают самодовольно:

— Не-ет, в наше время куда вольготнее было. И земли, и рыбы, и травы, и зверья... Чего хошь, то и бери. А теперь что? Скоро курице, и той будет тесно.

Да, все это верно. Тесно стало.

Только одному водяному просторно было попрежнему.

Попрежнему засевает он ниву на дне Бел-озера, пасет коров на берегу, попрежнему живет со своими женами-утопленницами в хрустальном дворце, украшенном и золотом, и серебром, и камнем-самоцветом, от которого такой ярь свет идет, что даже ночью во дворце светло, как у мужика во дворе середь бела дня.

И еще отцу Григорию вольготно. Ему что? Родился человек — доход; женился — доход; умер — доход... А ни попова земля, ни поповы луга не уменьшались.

И частенько на сходе молодые мужики крик поднимали:

— Давайте делить попов луг. Он наш. Поп занапрасно им владеет.

А старики на них палками замашут, так и зашипят:

— Что вы, нечестивцы? Разве это попов луг? Это батюшки-водяного. А поп только в сделку с водяным вошел...

— Почему же нам самим в сделку с водяным не войти? Сено-то теперь, сами знаете — полтина пуд...

— Са-ами! — передразнивают старики. — Самее вас свиньи одни... Разве вы понимаете, что в этих делах? Отец Григорий, прежде, чем кормить корову этим сеном, сорок молебнов служит да каждую былинку святой водой кропит. А вы что? Штанами, что ль, потрясете над сеном-то?

Крикуны немного этак опешили. Раз поп молебны служит и святой водой кропит, тут уж ничего не поделаешь. При-

умолкли было. Ну, только вырвался тут один: Николай Плотников — знаете? Кривого плотника Семена сын, так вот он и кричит:

— А по-нашему, все едино: что штанами над сеном потрясти, что молебен отслужить...

Вот ведь какие отлетые головы пошли... А? Что ты тут будешь делать? Сход прямо ахнул. Хотели бить этого богохульника; спасибо, сам Семен был на сходе, подошел к сыну, да как ахнет его палкой по башке... А сход кричит:

— Прибавь, прибавь ему! Мы подможем...

Месяц этак или даже больше не могли в себя притти люди. Узнал отец Григорий об этом и с амвона речь:

— Вот, православные, до чего мы дожили... Последние времена приходят...

Так говорил, так говорил, все старухи навзрыд плакали...

Ну, знамо дело, от Николая Плотникова, как от дьявола, зачали бегать. С этаким заговоришь, сам согрешиши.

А Николай ни в едином глазе. Будто и не случилось ничего. Ходит, работает, песни поет. Убрали поле, отпраздновали бабье лето, — потом Покров, через неделю после Покрова Николай с отцом и братом ящики с инструментом за спину, топоры за пояса, пилы в руки — и айда по селам и деревням плотничать — здесь избу поставят, там сарай починят, там баньку выстроят...

Ну, случай малость и забылся будто.

И то сказать, Николай до этого ничего мужик был: грамотей, разговорчивый. Много ходил по плотничному делу, видал много, этакий разбитной...

А у хорошего человека и грехи недолго держатся...

Об этом случае как-то забывать стали и только об одном помнили мужики: лугов мало.

Этак перед весной стали поговаривать о земле, о лугах. Николай успел вернуться с работ и опять:

— Давайте, братцы, разделим попов луг?

Старики опять загадели:

— Что ты, нечестивец, опомнись!..

— Чего же опоминаться-то? Раз лугов нет, тут и опоминаться нечего. Скоро нам хоть петлю на шею. Земли мало — ни тебе сена, ни тебе соломы. А поп по десяти стогов сена собирает, барышникам продаёт...

— Да ты нешто забыл, что это луг батюшки-водяного?

— Э, чего там... Намедни мы у землемера работали. Ну, вот я ему и говорю: у нас в Бел-озере водяной живет. Так землемер прямо загрохотал: „Эх вы, — говорит, — недотепы! Никаких водяных нет“.

Тут мужики уж не выдержали:

— Ну, ты про это нам не говори. Пусть твой землемер, что хочет, врет

— Он, может, и в бога-то не верит... Землемер нам не указ. Мы знаем, кто у нас в Бел-озере живет...

И, правда, как же можно говорить, что нет водяного, раз его многие видели.

— Старик он... седой...

Дедушка Вавила вышел вперед и зашамкал:

— Сам я видал, православные. И не раз видал. Когда я помоложе был, пойдешь, бывало, вечером по берегу, а он бродит по камышам. Шумит... А то раз удил я ночью рыбу, а он мимо и катит верхом на соме. Перепугался я тогда, страсть.

Ну, вот видите, сам же свидетель человек. Да и какой свидетель-то: дед Вавила — постник, благочестивый такой, первый молельщик, хозяин не из последних...

Знамо, с Николаем и разговаривать не стали. Набрался там, наговорился с землемером-то.

Отец Григорий проведал, — опять речь.

— Послушаете ли вы безумца, православные? Или пойдете путями благочестия, коими ходит почтенный старец Вавила? Бог все видит и накажет вас. Ой, накажет...

Ясное дело, что народ Вавилиной дорогой шел, а уж никак не за Николаем. Наказания боялся. Отец-то Григорий словно знал, что бог накажет Николая.

Раз пошел Николаев брат Михайла на озеро купаться. Только к берегу, а навстречу ему девки гурьбой бегут, как безумные:

— Батюшки!.. Карапул!.. На озере человек тонет!

Михайлу будто кто подбросил. Раз-два — сорвался он — и на берег. Глядит, а этак саженях в трех, в самой крутизне человек в воде барахтается: то покажется, то спрячется... Михайла как был в рубахе, в штанах — за ним. Враз достиг. С берега видно было, как утопающий схватил Михайлу за шею. Михайла к берегу. А тот его за руки держит... Минуту барахтались, другую... и оба ко дну пошли.

А народ на берегу стоит и не знает, что делать. В селе шум, мужики гурьбой к берегу бегут. Собрались, а уж на озере и пузырьков не видно — все кончено.

— Эй, лодку! Неси сети!.. Неси багры!..

Принесли багры, сети, вскочили в лодки, стали искать, воду буравить... Ничего...

Всем понятно стало, что тут водяной вмешался, держит у себя утопленников... Бабушка Талиша прибежала на берег с деревянной чашкой в руках, со свечками...

— Мужики, пущайте скорей чашку со свечками на воду. Враз найдете...

Прикрепили мужики три зажженные свечи к чашке, пустили чашку на воду. Где чашка проплынет, там баграми дно прощупывают.

А на берегу говор:

- Кто утоп-то?
- Михайло Плотников.
- Ну, это за братнин грех его водяной наказал.
- Знамо, за братнин.
- Николай согрешил, а Михайло попался.
- А другой-то кто?
- Да не разобрать, кто...

Часа два искали, все за чашкой ездили... Потом уж под ряд шарить начали.. выволокли обоих утоплых. Так обнявшись и утонули они.

- Кто другой-то? Другой-то кто?

Глянули и ахнули: другой-то — Вавилин сын, Никита...

— Господи Сусь Христе... Как же это? Ну, Михайлу-то понятно за братнин грех, а Никиту как же?..

Стали осматривать утоплых, а на них по телу и синяки и царапины.

- Глядите, глядите, как их водяной-то бил!

* * *

Хоронили утонувших всем селом в хороший летний день. Церковь была полна народа.

Отец Григорий рад был слушаю и такую речь закатил, что...

— Вот, православные, пример вам: один грешит, а другой отвечает. Здесь наказание за неверие...

Для всех было ясно, куда гнет батюшка. Только вот одно непонятно: за что же погиб Никита, ежели он из такой благочестивой семьи происходит? Никто никогда в Вавилиной семье против батюшки водяного и разговора не держал. А здесь мало, что водяной потопил людей, да еще избил-то как их там у себя на дне. Чудеса!

И неделю и другую все село жило под гнетом этого загадочного случая. Гадали и терялись в догадках.

- Не иначе, как батюшка-водяной рассердился на что-то. Но на что?

И не могли понять.

На озеро перестали ходить купаться, рыбаки бросили рыбачить, пастухи гоняли стадо на водопой к дальнему ерику... Все были напуганы.

Только Николай хоть бы в одном глазе. Он, знамо, печалился. Как-никак, брат погиб. Этак потемнел весь. Не пел, не смеялся. Но только один он из села ходил купаться, ездили с сетками на ночь... И раз, и два съездил. Народ думал:

- Погибнет малый...

А он ничего.

А за ним уже и другие потянули. Любят люди по прогоренной дорожке ходить...

* * *

Вот уже и настоящее лето загорелось. Прошли уж и Петр-капустник, и Акулина-гречишница, и Елисей-гречко-сей; мученик Федул на двор заглянул — пора серпы зубрить... Там спрели торжественно Ивана-Купалу, а за ним на золотых конях в голубой колеснице проехал над колосящимися нивами святой Петр.

С Петрова дня в нашем селе сенокос начинается — дело к макушке лета подходит — к июлю-страднику, собирая мужик все силы...

На Петра, после обеда разговельного, все село вышло на луг делить траву. Так уж с испокон веков повелось.

Собрались, размерили луг по душам, навязали узлов на траве и на кустах, чтобы лучше брод отметить, ходили по лугам, все крестились. А трава-то сочная — возьмешь в руку, прямо брызнет...

Размерили, сошлись на дороге жребий метать, кому какая полоска достанется, и хмурятся мужики: всем мало травы.

И все этак с завистью смотрят вдаль на попов луг — этакий волнистый да изумрудный... А молчат.

Николай Плотников подошел, тоже ходил размерял, и опять:

— Что ж, мужики, надо бы ближе к делу. Сами видите, травы совсем мало.

— Знамо, мало, — откликнулись в толпе, — да ты это насчет чего?

Мужики и сами знают, насчет чего говорит Николай, этак притаились, хитрый народ, а вроде бы и не знают.

— Да будет вам... — нахмурился Николай. — Сами знаете, насчет чего. Надо попов луг делить...

— А, ты вот о чем. Ведь сказано, нельзя луг трогать, так чего же ты?

— Поп трогает, почему же нам нельзя?

— Испокон веков мы его не косили...

— Не косили ~~в~~ому, травы вдосталь было. А теперь вот без луга никак не обойтись.

Мужики переглянулись. Оно бы, конечно, хорошо, да... Но тут бабий голос из толпы крикнул:

— Мало тебя водяной-то проучил за твои речи, еще хочешь?..

— А чем проучил?

— А брата-то утопил?

— Ну, это несчастный случай. Вот дед Вавила не говорил ничего против водяного, а он тоже пострадал... Это судьба, а не водяной...

— Как же не водяной? А кто же утопленников избил да исцарапал? Разве не водяной?

— Это их багром избили, когда ловили. А водяной здесь не при чем. Э, да что там... Вот я перед всем честным миром говорю: ежели вы попу отадите луг, так я обязательно увезу к себе то сено, которое вы водяному оставляете...

Мужики закричали, как ошпаренные:

- Что ты, погубить нас хочешь?
- Ничего не будет, вот увидите...
- У тебя и коровы-то все подохнут.
- Не подохнут...
- Что ж ты, значит, супротив мира идешь?
- Нет, я супротив мира не иду, а супротив мирской глупости.

Николай этак один-одинешенек стоял в толпе — все на-против него, — шумят, ругаются. А он высокий, здоровый, грудь широкая.

— Пусть поп нас не морочит...

Вдруг кто-то схватил Николая за руку. Глядь, дед Вавила... Говорит, захлебывается от волнения.

— Ты... ты это брось... Ты сгубишь все село... Слышишь? Брось...

Тут уж и все:

— Не можи, Николай...

Николай оглянул всю толпу — видит, все против него, тряхнул головой, усмехнулся и говорит:

— А ну, ладно, давайте метать жребий...

* * *

Откосились мужики на своих лугах, скосили луг для батюшки, свезли ему сено на двор, а три копны оставили для водяного. Николай тоже косил: против мира не пойдешь. Только косит и подзуживает:

— А, мужики, глядите-ка, трава-то какая... Не трава, а шелк с медом...

— Трава, лучше быть не надо, — соглашаются мужики... — Только не наша.

— Почему же не наша?

— Э, ты опять, непутевой человек, про то же...

Поп после косьбы весь мир водкой угощал. Напились косари влоск... А утром глядь — на поповом лугу ни клока сена...

Ахнул народ:

— Как же теперь водяной свое стадо будет пасти?..

Глядит один на другого с испугом... вдруг, понизив голос, зачали спрашивать:

— Кто же это? Неужели Николай?

— Он. Кому же больше?

— Он вчера-то и у попа-то не был...

- Покуда мы пировали он, значит, и увез сено-то...
- Ах, отчаянный какой...
- Погадели и притаились: что будет дальше.
- А поп узнал, прямо на стену полез.
- Православные! Надо обыск сделать. Надо обнаружить вора. Давайте обыск сделаем.
- Ну, тут мужики уже уперлись:
- Не-ет, на обыск мы не согласны. Отродясь обысков у нас не было. Это бесчестье для села, ежели обыск. Пусть водяной сам накажет, кто его обокрал.
- Ну, так вот, помяните мое слово, у вора коровы сдохнут с того сена! — погрозил батюшка.
- Вот-вот, — согласились мужики. — Пусть водяной сам за себя заступится...

* * *

Стали ждать, что будет. Все село притаилось. Глаз не спускали с Плотниковой семьи.. Будто что диковинное творилось. Бабы меж собой шушукались, мужики косились, а кто постарше, так прямо говорили:

— Посто-ойте, погодите... Вот ужо достанется разбойнику. Слыхали, что батюшка-то сказал?.. Посто-ойте...

А Плотникovy хоть бы что...

Кончилось житво, кончилась молотьба, прошло бабье лето, Покров... А Плотникovy живут, как жили. Через неделю после Покрова Николай с отцом ящики с инструментами за спину, топоры за пояса, пилы в руки, и айда по селам и деревням плотничать. Здесь избу поставят, там сарай починят, там баньку выстроят.

Только, когда уходил Николай, строго своим бабам наказывал:

— Смотрите, как бы лихой человек к нам на двор не забрался, не положил какую отраву коровам в колоду. Я строго следил за этим, а теперь вы последите. Да не болтайте об этом.

И бабы строго следили за двором... Этак недельки через две после их ухода раз поздно вечером услыхала Настасья, Николаева жена — будто ворота скрипнули. Она к окошку...

А уже снежок выпал, хоть и ночь на дворе, а видать все хорошо. Стоит будто человек у ворот.

Заметалась Настасья, накинула шубу, топор взяла и шасть на двор.

— Кто там?

Молчок. Видать, стоит у ворот человек, а молчит..

— Кто там?

— Эт-то я... — откликнулся смущенный голос.

— Кто ты?

— Я.

И заскрипел воротами, уходит. Настасья заметалась:

— Нет, ты постой. Ты скажи, зачем приходил?..

Куда тебе дело годно: ушел незнамый человек по улице, будто растаял...

Кто был? — И не угадать. Зачем приходил? — Неизвестно.

Об этом случае все село узнало... Господи боже, сколько говорили-то... Уж и так судили и этак...

И посмеивались хитренъко:

— Мы, мол, понимае-ем... Тоже не лыком шиты...

* * *

Опять на Петров день делили луга. Разделили свои... Смущенно толпятся.

— Ну, а теперь за попов луг примемся! — бодро сказал Николай. — Давайте ваши жребии.

Мнутся мужики, молчат, в землю смотрят...

А Николай бросил свой жребий — пятак медный — в шапку и смеется-покрикивает:

— Ну, ну, скорее давайте.

Подошел один мужик, бросил свой пятак, зубами отмеченный, в шапку... Заплясали, зазвенели пятаки..

— Ну, ну, еще кто?

Еще один... еще... Затолкались...

Подошел дед Вавила, стащил со своей седой головы малахай, перекрестился и бросил свой пятак в Николаеву шапку...

— А ну-ка, давай, и я...

А. Яковлев.

1. Изложите содержание „старой сказки“.

2. Какие суеверия, поверья и суеверные обычай седой и темной старины вскрыты в рассказе?

Нет ли остатков этих суеверий, поверий и обычаев в знакомой вам деревне и теперь?

3. Что характерного для крестьянских взглядов и интересов заключается в их представлениях о жизни и хозяйстве водяного?

1. Выделите главных действующих лиц рассказа и отметьте характерные для каждого особенности.

2. Противопоставьте кучку молодых мужиков старикам, Николая Плотникова деду Вавиле.

3. Какую роль играет в рассказе о Григорий?

В чем оправдывает он молву про него, что он „хитренъкий“?

4. Разрушал ли поп Григорий веру мужиков в водяного?

5. Изложите ход борьбы Николая Плотникова с суевериями мужиков и с хитросплетениями попа.

6. Изложите, как пришел конец старой сказке.

Язык рассказа.

1. Каким языком написан рассказ: где встречали вы такой склад речи?
 2. Выберите в повести характерные для крестьянских воззрений образы, сравнения, а также отдельные выражения.
 3. Выберите отдельные слова и выражения, характерные для народного языка.
- Выписав эти слова и обороты, замените их литературными словами и оборотами. Сопоставьте потом те и другие обороты.
4. Не можете ли сопоставить по языку эту повесть с знакомыми вам народными произведениями — в употреблении образов, эпитетов, в общем складе речи?

Прочтите рассказ того же автора „Смерть Николина Камня“.

1. Сопоставьте кряжинцев и бел-озерцев („Конец старой сказки“) в их отношении к „заповедным“ уголкам и предметам (каким?).
2. Сопоставьте деда Бавилу („Конец стар. сказки“) и деда Василия Бирюкова („Смерть Ник. Камня“), Николая Плотникова и Ильку, молодежь в той и другой повести.
3. Какие моменты обоих рассказов особенно напрашиваются на сопоставление?
4. Сопоставьте концы обоих рассказов.
5. Отметьте роль Николая Плотникова и Ильки Бирюкова в крушении суеверий.
6. Отметьте вообще роль молодежи в современной деревне: какие изменения вносит она в уклад жизни старой деревни, в ее мировоззрение и обычай?

Молодежь!

Твердой поступью чеканной
ты идешь — и ты дойдешь
к той „земле обетованной“,
за которую в бою
щедро льем мы кровью свою!
Старость часто нам помеха.
Лиши в тебе — залог успеха,
и способна, только ты,
бросив цепи темноты,

подложив огонь и порох
в суеверий старый ворох,
выти плотною стеной
на простор, на свет дневной.
Враг силен, — но ты задорна!
Путь тяжел, но ты — упорна!
Кто укажет, где предел
для твоих геройских дел?

Д. Бедный.

Новая жизнь.

У Дарьи Селезневой полна изба баб.

Дело праздничное. Щелкают семячки. Ишутся огромными кленовыми гребнями, что лен расчесывают.

— Ай, и правда, бабоньки, по новому жизнь пошла? Как будто и мужики лучше стали. И дерутся-то будто меньше.

— А то. Гляди, вон, мой-то так, бывало, и наскакивает, так и наскакивает, а теперь нет. Да и наскочит когда, я сама скалку в руки: „смотри, так вот и тресну“!

— Да и бабы-то другие стали.

— Конешно, милые, другие, совсем другие.

— Их, и дуры мы, бабоньки, были.

— А то. Знамо, дуры...

— Смехота, бабоньки, да и только. Вон, у Петрухи Дерюжкина ушла баба, туда-сюда, туда-сюда, ничем бабу не возьмешь! Живет себе у отца с матерью, и горюшка мало. Разлетится Петруха — косы выдеру! — „Тронь-ка только, сейчас в женотдел пойду“. Бился, бился мужик, хоть лоб расшиби. — Не будешь, говорит, драться, пойду. Да и то еще подумаю.

— Присмирили мужики наши, присмирили.

— Их, бабоньки, да как же не присмиреть? Это, вить, прежде нашу сестру за человека не считали. Курица не птица, баба не человек. А чем баба хуже? Мужик работает; баба работает. Да еще что, милые, мужик с поля придет, отдохнать пойдет, а бабе коров подоить, по дому прибрать, за детьми приглядеть, обшить, обмыть, накормить всех. Он уж, пес лохматый, выдрыхнется, а ты еще не ложилась. А чуть свет, опять на ногах. Да пра, ей-бо!

— Дуры мы бабы, пра, дуры.

— Теперь и мы поумнели. В других местах, вон, бабы-то в исполкомах сидят да делами верховодят.

— Ну?

— Да, пра. Вон, надысь, в женотделе Наталья секретарша про Марью-большевичку читала¹⁾. Посадили ее председателем в исполком, она и давай орудовать. Такие штуки выковыривает, что мужики только в затылках чешут. Вот-те и баба!

— А не брешут в книжках-то?

— Вот-те на — брешут! А наша Наталья чем хуже Марии этой самой? Наталью тоже хошь в председательши...

Вечером в женотделе баб как на девишинке, — полным-полнехонько.

¹⁾ Разговор А. Неверова, напечатан в сборниках „Я хочу жить“ и „Лицо жизни“. 1823.

За столом Наталья-секретарша. Чистый лист бумаги перед Натальей, чернильница, ручка с пером. Все честь-честью. Рядом стопка книжек, газетки лежат.

Сидят бабы по скамейкам, шушукаются вполголоса. Наталья газетку перед собой положила, расправила корявыми пальцами. Ручкой по чернильнице постукала.

— Товарищи женщины! — По иному Наталья и не говорит.

Разом смолкли, на Наталью уставились.

— Сегодня нам предстоит обсудить очень серьезный вопрос. Вот бумажка из уездного женотдела и вот газета с объявлением. В городе курсы для повивальных бабок устраиваются, так вот женотдел предлагает нам послать на курсы одну из женщин. Платы за обучение нет никакой, содержание тоже будет. Обучаться три месяца.

• Замолчала. Обвела всех глазами.

— Ну, кто желает высказаться по этому вопросу?

Зашушукались бабы.

— Это как понимать — курсы? На акушерку, что ли?

— Зачем на акушерку. На бабку повивальную. Вот, как наши бабки повитухи, только все делать по другому научат, так и называется — ученая повивальная бабка.

Дарья Селезнева — бойкая баба, за словом в карман не полезет.

— Да что, бабоньки, рассуждать. Все вы знаете наших повитух. От одной Шерстнихи, чай, сколько нашей сестры на тот свет отправилось. Родим, как коровы, в грязи да на вазе, оттого и болеем после, спины которая не разогнет после родов, а иная весь век мается. Бабку ученую нам надо.

— Тут нечего и разговаривать. Послать на курсы. — Вот вам мой сказ!

— Послать, знамо, послать.

— Да и срок-то, три месяца, короче воробышного носа.

— А уж наши повитухи известно...

— Уж чего там. Посчитай-ка, сколько баб родами умирают.

— И не пересчитаешь, бабоньки.

Наталья опять ручкой по чернильнице — тук, тук, тук.

— Так, значит, все согласны, чтобы послать?

— Все! Все согласны! Послать!

— Кого же пошлем?

— Ехала б ты, Наталья, опричь тебя будто и некому.

— Поезжай, Наталья, ты!

Наталья покачала головой.

— Поехала б я, а кто в женотделе останется?

— Нет, нельзя Наталье, пропавшее дело без нее.

— Товарищи, есть и без меня грамотные женщины. Вот хошь бы и Дарья, вон Агафья, вон Екатерина Кожевникова.

— Послать Дарью!

— Поезжай, Дарья, ты!

Встала Дарья.

— Вот что, бабоньки, я думаю. Поехать в город я согласна. Без ученой повитухи нам зарез. Да, вот, мужик дома как? Да Васька в училишшу бегает. Напоить-накормить надо? А там по домашности работа.

Стоит Дарья, рукой щеку подперла, думает. Задумались и бабы.

Н-да, задача, на кого дом бросить. Без хозяйки и дом сирота. Вот-те баба-баба, а гляди, без бабы никак нельзя, весь дом бабой держится.

— А мы так, товарищи, сделаем. Установим черед. Будем по очереди за Дарьиным хозяйством присматривать. Нынче я, завтра Агафья, послезавтра Катерина, так и пойдет черед. И мужика Дарьиного напоим-накормим, и за Васяткой присмотрим. Поезжай, Дарья, не сумлевайся!

Ловко узел распутала Наталья, мужик не распутает лучше.

— А вить, и правда, бабы, чего проще, черед установить. Верно, Наталья, верно. Поезжай, Дарья, не бросим

— Пошто бросим. Не для себя стараешься, для всех.

Пришла Дарья домой.

— Ну, вот што, мужик, в город хочу ехать, на бабку повивальную учиться.

У Митрия, Дарьиного мужа, глаза на лоб.

— Што ты, баба, окстись!

— Сам окстись. Што, смотреть будем, как бабы наши дохнут? Сколько нашей сестры повитуха на тот свет отправила.

— Ай, в женотделе была?

— Была. Так и порешили — ехать мне в город.

Мужик только по коленам себя хлопает.

— Сбесились бабы, совсем сбесились!

— Пошто сбесились. По новому жить хотим.

— По новому? По старому-то еще не научились. Смутила вас всех Наталья. Вот чертова баба! Ну, неужли и вправду поедешь?

Крутится мужик по избе. Не то онучки сушить, не то валенки подшивать, что думал сделать, и сам забыл. С чертовой бабой и память сразу отшибло.

— Поеду.

— Да куды тебя чорт понесет?

— В город, на курсы, на повивальную бабку учиться, вот куды.

— Ну, а я как здесь? Ваське в училишшу ходить, — напоить-накормить надо? А по хозяйству кто?

— Бабы черед сговорились вести.

— Черед, выдумщицы, черти! Я те такой черед дам!
Плюнул, хлопнул дверью, ушел.
Свинья на дворе под ноги подвернулась. Ткнул в бок
сапогом валеным.
— Чорт! Лазишь тут!
Все будто по иному на дворе стало, обвел глазами двор.
И то не так, и это не так.
— Каянны, выдумщицы, пра каянны!..
Целую неделю шла у Дарьи война с мужем. Заладил
одно мужик:
— Не пущу и не пущу, нет мово согласия на то!
— Плевать мне на твое согласие, коли так.
Потянулся было к косам, проучить жену непослушную.
Потемнели глаза у Дарьи.
— Тронь только. По тех пор ты меня и видел. Возьму
Ваську за руку да уйду, пра, ей-бо, уйду!
Так и отступился мужик.
— Поезжай, чортова перечница!
Уехала Дарья.
Смеются мужики над Дарьиным мужем.
— Эй, Митрий, которой бабе нынче черед?
Дарьин муж только рукой машет.
— И не говори. Выдумщицы каянны!..
Бабка Шерстниха на всех перекрестках слюной брызжет.
— Паскуды, учеными захотели быть, умней старых хотят
сделаться.
А бабы только смеются.
— Бреши, ведьма, бреши!

Холодно в школе. Дыхнешь, пар струей. Окна снежным
ковром на вершок запорошило.

Дует.
Настасья Петровна в нагольном полуушубке, в валенках,
шалью закуталась. Ходит по классу ряженой медведицей,
губами посинелыми книжку читает. Руки у ребятишек, как
лапки гусиные.
— Холодно, Настасья Петровна.

— Вижу, что холодно. Да что-ж я поделаю, ребятки?
Председателю надоела, заведующему на образом надоела,
всем надоела. Хоть сама поезжай в лес дрова рубить. Схожу
еще раз.

Вечером пошла в совет.
— Товарищ председатель, я закрою школу. Нельзя зани-
маться, все ребятишки переболеют.

Председатель швырнул лежавшую перед ним бумажку.
— Что-ж я вам дрова рубить поеду? Мало у меня без
вас работы!

— Дайте наряд на подводы.

— Сто раз давал. Виши, у всех ноне лошади-то — скелеты. Поговорю с мужиками.

Вышла из исполкома.

— Куда теперь? Все равно ничего не выйдет. Сколько раз обещал. Ему что, только-б отдалаться.

Вспомнила Настасья Петровна про Наталью. Пошла в женотдел. Авось, что бабы придумают, коли с мужиками ничего не выходит.

— Выручай, Наталья.

— В чем дело, Петровна?

— Хочу школу закрывать. Терпенья никакого нет. В нетопленой школе занимаемся. Все пороги обила, никакого толку не добилась. Председатель к заведующему, заведующий к председателю. Так и хожу взад вперед. А в школе погрежнему только волков морозить.

Подумала Наталья.

— Трудно с мужиками ладить, знаю Петровна. Толку от них, как от козла молока. Ну, да погоди. Училишшу закрывать зачем? Нельзя без ученья. Приходи, Петровна, вечером, собранье созову. Своим бабьим умом будем придумывать.

Вечером в женотделе будто ярмарка: бабы, бабы.

— Товарищи женщины! На повестке дня вопрос о школе. Докладывает товарищ Зимина. Петровна, докладывай!

Настасья Петровна стала рассказывать о занятиях в холдной школе, о том, как она вот уже целый месяц ходит от председателя к заведующему и от заведующего к председателю, и как ее кормят завтраками.

— Завтра наряд дадим.

— Завтра мужики поедут в лес.

Бабы зашумели.

— Да чего нам рассказывать! Ребятишки у всех плачут, в училишшу нельзя ходить! Знаем, все знаем!

— Так как же, товарищи, надо училишшу топить, ай закрыть?

— Конешно, топить, зачем закрыть. Сами бельмес бельмесом, да еще ребят не учить. Зимой нельзя — училишша не топлена, летом нельзя — работать надо, когда-ж учиться?

Наталья чисто оратор городской. Ведет свою линию тонко.

— Какие предложения по докладу?

Агафья Скворцова с предложением.

— По моему так, каждый парнишка и каждая девчонка, што в школу ходят, обязательно по полену. Нет полена, не ходи в школу.

Катерина К жевникова по другому думает.

— А у которых у самих ни щепки нет? Не у всех припасено да нарублено. Лошади-то одры, да и то не у каж-

дого, а на себе много не навозишь. И то, которые беднеющие, мусором разным топят. Нет, я так думаю. Собраться завтра бабам с салазками да всей гурьбой по дворам. У кого что есть — давай! Дрова, там, ай, солома, ай, кизяк.

— Много ли наберешь так? У кого ребята не учатся, совсем ничего не дадут.

— Сколько насберем. Выйдет все, опять по дворам.

— Теперь я хочу сказать, товарищи.

— Говори, Наталья, говори! Да тише, вы!

— По моему можно и так и эдак. И как Агафья говорит, и как Катерина хочет. Так и попробуем. Пусть завтра Петровна скажет своим ребятишкам, чтоб тащили дров, кто может. А мы с утра с салазками по дворам. Может, на неделю, а то и на две наберем. Но это только полделя. Училишьши мы этим не натопим. Дров много занадобится. Я так, товарищи, думаю, что нам самим в лес ехать дрова рубить.

— Это как же?

— Да так же. Собраться всем да и поехать в лес. Нюжли у всех мужики бестолковые, лошадей не дадут. А не дадут, на салазках перевозим. Нас, вить, вон сколько. А лесто не за горами, пяти верст не будет.

— Ой, бабоньки, никак и впрямь самим ехать рубить. Наших лежебоков когда дождешься?

Наталья сейчас карандаш в руки, листок бумажки перед собой.

— Ну, товарищи, кто согласен на рубку дров, записывайся.

Передом Катерина Кожевникова с Агафьей Скворцовой. За ними Марья Казачкова, Авдотья Горшкова.

И пошли и пошли!

Без малого все, что были на собранье, записались.

Утром по всему селу бабы с салазками.

Шутя-шутя, а два добрых воза к обеду в школу приволокли.

— Топи, Петровна. А завтра в лес поедем.

На завтра чуть свет у волисполкома пять подвод. Катеринин муж подводу дал, Агафьин свекор, Иван ваяльщик, Пахом Перегудкин, Дарьин муж.

Дарьин муж и сам с бабами поехал.

— Уж, видно, доля моя такая — с бабами возиться. Свою бабу проворонил, вот теперь другие на шею садятся.

К вечеру пять подвод по селу полным полнеоньки. Всей гурьбой — прямо к школе.

— Топи, Петровна!..

Спать ложиться, Катеринин муж на смех.

— Ну, што, Аника воин, взопрела?

А Катерина в ответ:

— Завтра опять поеду.

— С ума ты, Катерина, сошла, седни без обеда, завтра без обеда. Ты что, баба, белены объелась?

Поскреб в затылке, помолчал.

— Ну, вот, что, Катерина, сиди ты дома, завтра сам поеду.

Катерина к мужу бочком:

— Давно бы так, ле-шай!..

Агафьин свекор школьным попечителем сколько лет ходил, школьную нужду понимает.

Свесил с печки кудлатую голову, зовет Агафьина мужа

— Эй, Федор!

— Што, тять?

— Пора-б, чай, и пироги затевать. Агафья-то умаялась.

— А ты не смейся.

— Что смеяться, бабы за мужичье дело взялись, не иначе мужикам за бабье дело браться. Пироги-то, говорю, не пора ставить?

И стыдно Федору, и смех разбирает.

— Пес-те возьми, ну и бабы. Не иначе завтра самому в лес ехать.

Утром опять пять подвод, а на подводах вместе с бабами Дарьин мужик, Катеринин мужик, Агафьин мужик.

Через неделю дров в школе полон двор.

— Топи, Петровна, на всю зиму хватит!

Собрался Дарьин мужик в город.

— Вот язва баба, бросила нас с Васькой и ни слова, ей хоть бы што. Проведать съездить.

Виду Митрий не показывает, а у самого на сердце будто маслом помазали.

— Ну-ка, ученая повивальная бабка. Вот-те и Дарья. Ей-бо, молодец баба!

Пошел Митрий к Наталье.

— Еду в город Дарью проведать. Может, наказ какой будет?

Услыхали бабы, — едет Митрий к Дарье, — всего нанесли: и жареным и пареным.

— Вези Дарье, в городу пригодится, не знаю, как там на счет кормов-то, виши ноне на пайках везде!

Приехал Митрий в город, разыскал при больнице общежитие.

— Мне бы Дарью Селезневу.

— А, Дарью Степановну, должно быть?

Улыбнулся Митрий.

— Должно, она, коли Дарьей Степановной зовут. Только моя-то попроще будто, Дарья Селезнева моя-то, а я сам, значит. Дарьин муж.

Провели Митрия в большую светлую комнату. По стена姆 кровати железные тянутся, серыми солдатскими одеялами покрыты. Между кроватей столики маленькие.

Осмотрелся Митрий кругом, рассмеялся про себя.

— Ах, каянны, как солдаты в казармах живут. Пропади ты пропадом!

Пришла скоро и Дарья. Увидела мужа, обрадовалась. До самого вечера проговорили с Митрием. Вечером собралась уходить.

— Дежурство у меня нынче в родильной палате.

Покачал головой Митрий, улыбнулся.

— Ах, каянна, смотри-ка, дежурство у ней, докторша да и только!

Смотрит на Дарью — и впрямь будто другая стала: и лицо другое, и станом другая.

Присела к столу, написала записку.

— Вот Наталье передай, не потеряй, смотри, важное тут.

Крепко, по-мужичьи, пожала руку Митрию, поцеловала при всех в губы.

— Трудно тебе без меня? Ничего, потерпи, еще месяц остался. Смотри, Ваську не обижай!

Едет Митрий домой, себе под нос мурлычет, про бабу думает. И радостно ему, и досадно. Радостно оттого, что вот жена на курсах учится, ученой бабкой будет.

Митрий вздыхает.

— Смотри и правда, жизнь-то по новому пошла!

Павел Дорохов.

- 1) Какой была жизнь крестьянки до революции?
- 2) Какие изменения отмечают в своей жизни крестьянки — действующие лица рассказа?
- 3) В чем проявляется женская самодеятельность и что мешало ее проявлению до революции?

Тема:

- 1) Наша экскурсия в Женотдел.
- 2) На собрании в Женотделе (опишите обстановку, внешний облик участниц, их речи и т. д.)
- 3) Дарья Селезнева и Марья — большевичка (рассказ Неверова).

Солнце в сермяге

В. И. Ленину.

Опять колдуют эти зори,
Колдуют степи и поля,
Изба и лес на косогоре,—
Иль это выдумка моя?

Но я одно наверно знаю:
От этих зорь мне не уйти.
Нас к земледельческому раю
Ведут все красные пути!

Я часто, часто на досуге
Себя рассматривать привык.
Во мне, ей-богу, как в лачуге,
Еще не выдохся мужик!

Пущай грызут стальные кони
Просторов русских чернозем,
Мы их на утреннем загоне
В зарю мужицкую вплетем!

Мужик — все слово, как из жира,
Какая сила дышит в нем:
Ведь больше, больше, чем полмира,
Степным пропахло армяком!

В источнике — ни дна, ни донца:
Пей, лей, расплескивай, не жаль...
Ведь даже Ленин, это Солнце,—
В другой стране взошло б едва ль!

Нас Солнце всех сжигает зноем,
В сермяге Солнце,— с ним идем!
И с ним, пока он жив, достроим
Ржаной Всесветный Исполком!

П. Орешин.

1923.

КАНДИДАТЫ

В пустом поповском доме нажваривает фисгармонь:

Я гормошку — несчастливку
Заменю дитарою-ю...

Диковатый мальчишеский басок рвется, как гнилая
дерюга, а хор выносит:

Тятьку с мамкой в переливку:
Ни к чему нам старое-я...

Ветер летний вбегает из палисадника, дразнит смородин-
ным духом, мякинною пылью щекочет раздувшиеся ноздри,

молодые, стриженные головы ерошит. Хватает ветер охапкой — треплет по площади пустынной перед волисполкомом лоскутья криков, отребье частушки, роняет их в густой зеленый подорожник.

Гуляка — ветер!

— Ого, народу — как людей! Что за экстренность такая? И Васька здесь. Ты рази в реке-семе еще? Тебя, кажись, вышибли за самогон.

Лисья у Кошкина физия и ухмылочка ехидная.

— Вот те на! Так Васька же наш ответсекретарь.

Кошкин притворно глаза вытаращивает:

— Кто??

— Свиное пыхто!

Взъерошились белесые Васькины брови. Веснушное лицо скуластое кровью налилось. Сверкает в Кошкина белками:

— Смотрий, ты, язва!

— Пошутить нельзя. Чего уставился? Правда, как бык-прыун.

— Язык твой — помело поганое. Вот садану под едала!

— Что вам пьяным-то... Долго ли.

— Не задирай.

— Ай-да секретарь у нас. Мали-ина!

— Тпру-те, на-те, деръмо на лопате. Не тронь меня — заявяну. Нежного воспитания.

— Заткнись! — багровеет Васька.

— Драться? Давай!

Хикает Кошкин ехидно, засучает рукава, закликает, как на кулачках:

— Стой! Стой!

— Стою, хоть дой!

Васька гневный навстречу выходит. В боевую позу становится.

— Будя!

Сяткин, коренастный подросток-мордвин, решительно встает между.

— Кошкин, не скалозубь; и ты не хулигань, секретарь называешься.

Сяткин — авторитет непререкаемый: учится в губсовпартшколе, и комсомол-то он организовал.

Мотнул большою крупнокудрой головою Васька, отошел в сторону, косо уставился в пол.

Здоровяк парень! Говорят, — достается парням сухолинским, да и нагорным парням достается.

— Что вы, всамделе, собачитесь?

— А что он на кулаки надеется, — оправдывается Кошкин.

— Брось бузить, знаю тебя: июда ты хорошая.

— Какой же он секретарь, не видать его никогда, — не унимается Кошкин.

— А ты какой член. Тебя видать?

Оглядывает собравшихся Сяткин, колет раскосыми глазами, головою покачивает:

— Знать, никовошеньки и ничевошеньки у вас не видать?

Петя Тихонов — совестливый паренек, зарделся весь — выхлебнул взволнованно, горячо:

— Что правильно, то верно. Развал. Крах. Деморали...то бишь... демираги...

Споткнулся, спутался, стих внезапно.

Смеются над смущившимся Петькой - тихоней ребята, а острый взгляд Сяткина кошкой по сердцу:

— Хоть раз собирались без нас?

Еще кошке потупился Васька, еще ниже шею наклоняет:

— Ни разу. Ячейка Рыкалы лопнула. Женотдел тоже: одна Марья осталась. Ну и мы... одно к одному.

— А нынче вдруг что за экстренное собрание? В спнопозку-то!

Ленивый голос у Васьки:

— Пришла тут бумажка от укома. На наш район место в рабфак...

— Что?

— Сколько?

— Рабфак?

— Чего же ты молчал?

Стабунились вокруг Васьки, бумажка укома голубкой порхает.

— Вот я и собрал — кого послать нам?

Косится Васька на Сяткина. Улыбается Сяткин:

— Ага!

Свирепеет Васька:

— Чего „ага“! Сам учишься да агакаешь. Каждому хочется.

— Что те вожжа под хвост?

— Кого пошлем, обсуждайте! — кричит сердитый Васька.

— Не тебя ли уж спосылать, — въедается Кошкин.

— Может и меня. С прошлого года в кандидатах состою.

А программу всю на-зубок.

Петя опять:

— Товарищи, знамо, каждому хочется. Я тоже готовлюсь и мечтаю.

Голубые у Пети глаза, мечтательные. Голос звенит тоненько — проникновенный голосок. Подтрунивают над ним ребята, но прислушиваются частенько: бескорыстный парнишка — не выдаст.

— Крой, Петька!

— Да вы опять будете ругаться, — конфузится Петя.

— Крой наотчистую! Кого, по-твоему? Рабфак — не фунт гвоздей. Внимание! — кричит Васька.

Петенька на табуретку: больно маленький Петя ростом, да к тому, признаться, нравится Пете — оратором быть.

— Товарищи, по моему, рабфак — да ведь это нельзя сказать, что за такое для нас, деревенских мальчишек. Туда надо, чтобы достойным был. А мы ничем еще не проявили свое стойкое классовое самосознание передовых активистов.

— Загнул загогулину. Оратур.

— Вы не перебивайте меня, не перебивайте, а то совсем я спутаюсь. Мы же ничего не работаем — числимся. Даже из остальной молодежи никого не привлекаем. На что уж Клавдия — наш элемент, а до сих ...

— О Клавке, браток, помалкивай! — прерывает Кошкин. Вспыхнул полымям Петя.

— Товарищи... она... я не из личных отношений. Клавдя... и я... мы...

— Валяй дальше. Любовные дела нас, пока что, не касаются, — одобряет Васька.

— Да никакой любви и нет же... А так...

Не слушается язык, подбородок прыгает.

— Да ладно, верим — продолжай!

Прилип язык, и пляшет подбородок...

Скорее с табуретки, чтобы не видели слез.

Загалдели ребята — на мужичью сходку похоже:

— Чего там рассусоливать — работать надо!

— Чего работать — труженики!

— Надо знать — с чего начать.

— Послать, кто лучше сработает.

На мужичью сходку похоже, только голоса резвее.

— Тише — мыши. Коли так, я сказану, — покрыл Васька всех: знатный у Васьки басок.

— Тихоня правду сказал. Никого! Факт! Бессомненно. Работать сперва. Чего работать? Под носом работа. Надо с корню все переменить. Страна. К шаху-монаху спектакли, митинги. Надо настоящую работу работать.

Шурится Сяткин:

— Ну, а что бы стал делать конкретно?

— Конкретно? Скажу, чорт вас раздери, коли на то пошло. Слушайте!

II

Горят поля на солнышке. Кипят поля трудом. Все в золоте поля. А люди все в поту.

Скрипят телеги, самодельные лебеди.

Ныряют жнецы во пшеницах.

То и дело взмахивают золотыми веерами колосьев.

А косцы во пшеницах плавают стоймя. Взметывают золотую воду пшеницы.

А солнце — степной председатель.

Или солнце — красный директор полевой?

Глаз его острый да ласковый.

Не забудет, не пропустит солнце никого.

Лучом ленивого жнеца уколет. Опахнет прохладою замаявшегося косца. Бросит тень под телегою, чтоб заснул грудной малыш, насосавшийся мамкиной груди. Вспенит солнышко бока лошадиные, чтобы людям не досадно: вот этим мужикам, купающимся в соленом и пахучем поту.

Только на Марию Козину — волостного организатора женского — сердито солнышко глядит. Лишняя она на большой полевой дороге.

Идет она мимо полей, по деревням сквозь леса дубовые да сосновые — мимо.

В город.

Не любит солнышко степное города: мужичье солнышко в полях.

Да и Марье не до солнышка.

Лучше закрылся бы красный воспаленный глаз на небе седою облачной векою.

Чорт с ним!

На что это солнце, и лес, когда каждый снова норовит сам по себе.

На что оно, когда опять свои шестки, свои горшки, одни горшки печные.

Скажет Мария Козина об этом в городе.

Скажет она:

— Хорошо писать бумажки, а работать, работать-то на местах каково?

— Никак в город? На нас, на баб жалиться?

Ухмыляется недавняя в работе помощница, коновод-баба Гусарова.

Мычит бурешка приветливо, язык свой толстый коровий высунула — рада отдохнуть от хомута лошадиного, от навьюченного снопами ридванчика.

— Не артачься, Марья. Не мучай баб. Фонды мы не желам. Разделим на току — по-божески.

— Ослепла ты, что ли, Гусарова? Нельзя артель ломать: съедят нас.

— Подавятся. Мы костлявые.

Уверенная баба Гусарова.

А бурешка мычит, старается комолым рогом хомут сбросить.

— Ну, прощай, моя коняшка доиться просит. Марья, последний тебе мой сказ: пусть лучше на корню скнист, а на фонду мы не согласны. Тпрука, ты виноходец!

Хлестнула прутиком под вымя. Взбрывнула бурешка всеми четырьмя, шею к земле, туда-сюда метнулась — заскрипел рыданчик под гору.

— На току будем делить, — кричит издали Гусарова.

Кто подменил ее?

Скажет об этом Мария Козина в городу.

Скажет она:

Треплет, издевается ветер степной, бьет снасоку осиротелую рожь. Осыпается рожь женотдельская. Карта в 5 десятин хозяйственных. Что поделает она с одним серпом? Троє суток жала — не больше осьминника.

Некому убирать рожь общественную.

Туманяется Марьины глаза. И в этом знайном и душном тумане — сквозь растопыренные колосья перезрелой ржи — плывет на Марью официальная бумага.

По дошедшем до уженотдела констатированным сведениям работа среди женского пролетариата во вверенном вам районе совершенно замерла. С получением сего предлагается вам еще усиленнее приступить к организации женщин вашего района в кадры сознательных и стойких борцов за переустройство мира на новых коммунистических началах. В виду мелкособственнических тенденций Нэпа и для борьбы с отрицательными явлениями такового ставится вам на вид, что все общественные посыбы должны быть убранны в первую очередь коллективным трудом. Хлеб должен быть забронирован в общий фонд, при чем наемный труд при уборке не допускается. Поведите немедленную агитацию.

Бьют по лицу ровненькие буквы писчемашиночные, мозолью садятся на затуманенный глаз.

Трудно дышать, будто бревно навалилось на грудь. Итти нет мочи.

Солнце за-полдень.

Итти.

На дачную пристань поспеть до заката.

Сказать:

— Помогите. Не двужильная.

Сказать:

— Хорошо писать бумажки, а работать, работать — то на местах каково.

Вон он — город.

Маячит в дальней синеве, мания и пугая.

Знает ли он, строгий город неприветливый, что в селе Большой Каменке осыпается рожь женотдельская.

III

Решили — крышка!

Раз рекесем — знай!

Солнце еще не проснулось как следует: румяное ото сна, косоглазое.

А они уже на выгоне табунятся с косами, серпами, вязью для снопов.

Хохочет озорня.

Мычат коровы. Стреляет ременный кнут подпаска. Пыль густая, несусветная. Бабы заспанные гонят коров, косятся — сердитые — на молодежь. Переговариваются бабы.

— Шайкой, шишиги, выходят.

— И работают-то не по-людски.

— Спортились на нет.

Хикают ехидно бабы, переливая сплетки про молодежь.

У Марешки, молодушка Сеньки Богатова, чирий на языке: не терпится съязвить:

— Медом, што ли, вас накормили, Васьк?

— А тебя беленой? Говорят, в детстве ты беленой объелась и от того всю жизнь язычишься. Правда?

— Ах ты, самарский горчишник, голах, фулиган!

Хохочет озорня.

— Васька, брось, — связался! Стоит с ней слова терять, кулацкий элемент! — презрительно роняет Сяткин.

Ваське неймется, гогочет, лоснится от веселого молодого задора, как весенний жеребенок, пущенный на зеленя.

— Эй, тихоня, катись скорей. Проспал, рак вареный! Клавка приснилась?

Сяткин оглядывает собравшихся ребят, довольный — даже благоволит улыбнуться:

— Ого, съагитнули. Ай да помочь!

А Васька срывающимся басом:

— Взвод, сми-ириэ-э-эп! Полк, слушай мою команду!

С хохотом, бегом карабкается молодежь на Чиханскую гору.

А из-за горы карабкается красное невыспавшееся солнышко. И кажется: атакуют ребята солнышко, поймают солнышко за волосы.

А за Чихан-горою распластались большекаменские ржаные жирные поля.

Деловито хмурится Сяткин, останавливаясь около карты несжатой.

— Фю-тю, пустяк полоска! Потю-ю-каешь, — уныло свистит Кошкин.

— Испугался, злыда.

Глаза горят, раздуваются ноздри у Васьки:

— Эх, раззудись плечо! Заработаю рабфак, как пить дать.

Гогочет, с треском стаскивает лопнувшую на лопатках рубашку. По-пояс голый.

— Кожу сожжешь, чертушка. Физику знаешь? Рази можно...

— Все можно. Не люблю одемши... Привык.
— Дикие у тебя привычки, — подъязвляет Кошкин.
— Вредно, парень, — урезонивает Сяткин.

А солнышко ровно этого дождалось. Больно заинтересовалось молодежью солнышко. Круглый да жаркий глаз свой выкатило сразу, вонзилось в Васькину бронзовую спину — гибкую, молодую.

А девчата под Петъкиным предводительством уже врезались серпами в рожь, с того клина, где сделала зажин Мария Козина.

— Стойте вы там, без разбора. Тут мы косою возьмем. В долки с серпами идите. Куртinkами жните, где наливнее и чаще.

Планирует Сяткин, деловитый по меже шагает.

— А ты, видать, немножко управляющий, — цепляется к Сяткину Кошкин.

— А ты немножко дурак, — спокойно отцепляет Сяткин.
— Показывай, Сяткин. Скоре. Не слушай балаболку.
— А то Ваське рабфак достанется.
— Вон уж куда он прокос-то прогнал.
— Факт! Бессомненно, — гогочет Васька, не отрываясь от косы.

Торопиться надо, некогда: осыпается рожь женотдельская.
— Эй, чего вы там? Вот брошу, что вы без меня? При-суждайте рабфак загодя! — смеется Васька, косу точа.

Жиги-цики-чик.

Чики-цики-жик.

Мызжет смолянка вокруг лезвея косы: остро, смачно с огнем целует раскаленные щеки стальные.

Залихватская музыка.
Раскачивается Васька из стороны в сторону, с ноги на ногу плавно переваливается, поворачивается тело молодое полукругом вдоль гибкого позвоночника. Плынет Васька стоймя прямо в омут — в сердце ржаного моря золотого. Гребет окосево, жужжит коса — широкими валами громоздятся-растекаются прокосы.

Ах... жжи... хрр...

Ах... жжи... хрр...

Хррр...

Взмахивает головами, всхлипывает рожь, с теплым стоном опадая:

Аш-шишо...

А коса все —

хррр...

А рожь косе в ответ —

аш-шишо...

Хррр...
Аш-шшс...
Хррашшо...
Хорошо!

Веснушки черные от солнышка.
Лицо от солнышка малиновое.
Нос начинает лупиться.
В поту.
К шаху-монаху — штаны!
В одних портках Васька.
Спина, распаленная до-нельзя, в потных волдырях.
Не угоняется за Васькой остальные.
Двое вязальщиц не успеют за Васькой снопы вязать.

Ведь когда перезревает рожь наливная, растопырится колос. Вылезают золотые зерна из гнезд. Клоняется долу золотые коленчатые стебельки. А ветер набежит, — шумит, качает головою упористая нива. Дышит нива в лицо духмяно-хлебным духом.

И от этого распирается грудь у косца, ноздри раздуваются, как у дикого степного скакуна. И хочется косцу полыхнуть со всего плеча.

А Васька ли не косец?
Васька — секретарь деревенского рекесема.

Не угоняется за Васькой остальные.
Трое вязальщиц не успеют за Васькой снопы вязать!

Даже Сяткин — за Васькой в прокосе — чуточку отстает.
Не торопится парень, плавно водит косою — расступается рожь под косой, как вода. Смотрит, как Васька ретивится, головой покачивает, улыбается раскосыми глазами с хитрецой.

— Чего ты жилишься? Спину спустишь, смотри!

— Ага, упрел за мной? Загоню!

— Косиши ты по-дуряцки: ровно пойму или отаву. Не полыхай так, плавней косу води.

— Не впервой! Чего придираешься?

— Да не придираюсь, чубук. Смотри — грабельцы с косой наровне. Рази так присаживают. Положе надо.

— Учи ученого!

Огрызается Васька, еще звонче врезается в рожь, еще шире прокос загребает.

— Ух, загнали. Уповод! Ребя!

Отдувается Кошкун — не успевает пот вытирать.

Орет на него Васька:

— Какой те уповод, злыда. Дуй!

Скрипят рыдваны, бескрылые лебеди, бессильные лететь.
О бок с рыдванами вышагивают важно мужики.

Косятся через дорогу мужики на шишиг — комсомолов, молча шествуют мимо шишиг.

Парнишки зато задираются:

— Рано жать вышли. Зеленая еще.

— Не зеленее тебя, — огрызается Васька.

— До заговенья кончите.

Молчат комсомолы. Стоит обращать внимание — кулацкий элемент. Только размашистей вжикают косы. Только яростней вгрызаются и хрыкают серпы.

Сенька Богатов из парней давно вышел, но солидности мужичьей не нажил еще. Хохочет, проезжая мимо:

— Ай, надоели спектакли в Прохоровском народном доме: в поле тиятр устроили. Работнички-и.

— Иди-ка, поиграй с нами, увидишь, что за театр, — охает Кошкин, разминая занывшую поясницу.

— Нашли дурака. На кого работаешь, Васька? На Хап-Ваньку: украдут снопы-то, во всем поле ни скирда не осталась.

— Не бойся, караулить будем.

— Только рази... На это вы годны — караулить чужое добро. Наловчились за революцию-то. Спиздальность ваша.

Молчат комсомолы. Стоит обращать внимание — кулацкий элемент. Только размашистей вжикают косы. Только яростней вгрызаются и хрыкают серпы.

— Бог помочь, келя¹⁾!

Добродушное это приветствие опахнуло жнецов, как ветерок прохладный.

— Иди на помочь, — деловито отвечает Сяткин.

— А-а, келя! Здорово живешь, — хохочет Кошкин, коверкая слова на мордовский лад.

Михаил Дишин — Барба по прозвищу — громадного росту косолапый мордвин, рыжий, что подсолнух. Останавливает кобыленку, шагает по жнивью, гостеприимными глазками молодежи улыбается.

— Васька, дай куряма!

Своего табаку Барба не имеет, на чужбинку больно охотник, а особенно — „докурить“. Не то что по скupости, а так — деды-прадеды не курили.

— Бросил я, Барба. На рабфак хочу!

— Ага, дела хороший. Мою Ваньку беспременно выучу на рабфак, задачки больно гожа складывает. Баял учительница — башка у него крепкая.

— Дубовая, в отца пошел, — подтрунивает Кошкин, вынимая кисет. — Айда, дам куряма. Ублаготворю начальство: ты, ведь, председатель?

1) Келя — мордовская присловка.

— Как жа! — приосанивается Барба. — Очеред мой подошел.

— Рази с мордовского конца очередь?

— Знама, келя. От лесу курмыш. А я от лесу — первый...
Ах, табак твоя сладка-ай. Тантай табак.

Сяткин подходит, здоровается, по-мужичьи сурьезно шутит:

— Какой же ты председатель!

— Не бай, келя. Миром решили: очередь, грит, твой.

— Отдадут вас под суд за эту „очеред“. Достукается.

— Знама. Я тож-ин баял. Мир. Старики.

Развел Барба руками — большие, негнущиеся оглобли.

— На сколько же тебя запичужили?

— Тихай я больно: на целый месяц, келя, Русски хитры:
только по десять ден сидят.

Кричит Васька с загона:

— Эй, ты — власть на местах! Убрал бы рожь женотделу.

Не хуже ветрянки замахал Барба ручищами:

— Што ты, оспод с тобой! Очкнись, келя. Со своим не справлюсь. Целый день на сборне гумаги подписываю. Вороха! А сиклятарь все пишет, все пишет, келя. Вот у нас сиклятарь, ну — келя сиклятарь. Пишет, что косит: с одного маху. В город бы его, келя, на большого комиссара выйти может. Все мне обмозговывают.

— А ты?

— А я знамо, келя, подписываю да шумлю с кем скажет. Колготня работа! За сто рублей не останусь в присяделях.

— Мобилизовал бы кулаков, тюря! — кричит Васька.

— Вот это можно завсегда, — расплывается Барба — луна в полнолуние. — Только воскресенье мой очеред кончается. Пусть другой присядатель, келя.

— Контр-революционеры, чорт вас дери. Притворяетесь христосиками! — напускается Кошкин на Барбу неожиданно.

— Какой я контра? Окстись!

Испугался Барба, — о лошади, о доме, о сиклятаре и гумагах — сразу обо всем вспомнил.

— Прощевайте, келя. Выпросился у сиклятаря только на разочек за снопами съездить. Заругает: что, дескать, долго. Строгай — страсть. Обманул ведь я его: третий уж рыдан.

— Ну, проваливай.

А Васька на Кошкина орет:

— Будя лясы точить: коса ждет. Совесть.

— Ну, келя, эн, дай докурить.

Солнце на самую вершину карабкается: дело к обеду. Осмынника два смахнули с охотки, не хватились, как завтрак прошел.

Запарился Васька, мутится в глазах от усталости, а первый не хочет упоминать — пусть другие. Сяткин, чай, догадается — тоже в ручьях весь.

А по живе напрямки два рыдвана тарахтят во весь дух.

— Тпру ты, стерва!

Снаскуоку останавливается жеребец карий, лоснится, рвется.

— Васька! Отец...

— А мне наплевать.

Косит Васька, — ни в чем не бывало, а рука дрожит, пятнами лицо пошло.

— Долго буду ждать я?

— Не пойду я, тягя...

— Слышишь, што ли: долго буду ждать я?

— Чего пристал, видишь: работаю.

— Убью, сукин сын!

Шагает по живе к Ваське с налившейся шеей. С поднятым ременным кнутом,

Бросили работу комсомолы, на отца с сыном смотрят молча.

А Сяткин громко и серьезно:

— Ребята, вот видите. Вы говорили, — дядя Павел с кулаками заодно. А он первый на помочь за общественными спнопами приехал, да еще на двоем!

Хохот молодой оглушил дядю Павла.

Остолбенел дядя Павел с поднятым высоко кнутом.

— Садись на жеребца — в Подчинный за спнопами, — строго и тихо говорит Ваське, будто не слыша Сяткина.

Васька уставился в землю, косу навстречу кнуту приподнял.

— Тядя, уйди оггреха. Сказал, — не поеду. Решили сначала женотделу убрать.

— Ага, решили? Так! А решили вы, кто кормить вас будет? Жрать не дам, стервоза — домой не являйся, сволота несчастная!

— Ладно. Только уходи.

— Это ты с отцом так? Ай да сыночек! Ты што в батраки подрядился? За сколько, антиресно? Плохо хозяином быть?

Молчит Васька — секретарь деревенского рекесема.

— Значит, плохо хозяином быть? Дураки, значит, мы. Умные-то на женотдел батрачат. Что же ты молчишь, уперся как бык. Поешь? Время-то золотое.

Молчит Васька — секретарь деревенского рекесема. Белки из-под сизых бровей сверкают.

— Шишиги! В тартарары! До белой глинки. Тьфу. Сатаноидолы! Тьфу, тьфу.

Бежит рысцой к лошадям, побагровевший, неистово бьет жеребца кнутовищем по морде.

Несется жеребец в сторону от дороги, по жнивью. Тянутся вторая лошаденка на привязи, без седока: без Васьки. Где ей за жеребцом: повод ременный натянулся, оборвался с хрустом повод.

Остервенилась Васькина коса.

Сломался ровный у Сяткина прокос, сажень косую сплеча загребает потемневший Сяткин.

— Молодец Васька! Давай мириться, — подходит Кошкин, руку Ваське протягивает.

— Ну тятей у тебя, — раздумчиво покачивает головою Сяткин.

— Рвусь поэтому в город. Без людей у нас с ним еще страшнее.

— Наплюй на это дело, — успокаивает Кошкин. — Вот о жратве напомнил, старый чорт, это — зрея: брюхо урчит.

А Васька посмеивается, тащит мешок-пятерик изо ржи:

— Татькина картоха!

Хохочет озорня.

— Ого!

— Сламзил?

— Дела идут, контора пишет.

— Картошку печь, ребя...

У тятеньки на стене
Висит Николашка-царь.
Полюбился Васька мне —
Рекесемской сикрятка-а-арь.

— Уже выдумала? Ну, девка! — любуется Клавкою Кошкин.

— Откуда это у тебя берется, Клавдя? — удивляется Петя-тихоня.

Хохочет Клавка:

— Не знай. А так — с ветру.

— Вступай обязательно в союз, нашей сочинилкой будешь. Всех продернем.

Хохочет Клавка:

— Ишь, агитатор какой! Айда-ка лучше за ягодами.

— И я с вами, — спешит Кошкин.

— Вот, прилипа!

— Кошкин, брось девчонок! Айда в Лещеву яму. Купаемся. Ну? Задунем. Ментом. И о-го-го! — заржал вдруг Васька, подражая жеребцу. Изогнул шею, голову к плечу — и мчится полукругом с загона на дорогу и по дороге вдаль. За ним Кошкин частой мелкой рысцой.

Сяткин долго смотрит им вслед. На солнце взглянул — и наотмашь отбросил котелок с картошкой, нáпористым бегом ринулся вдогонку. Где извивается по степи — куорлесит прихотливая река.

IV

То и дело вглядываются в дорогу.

Не проморгать бы!

Кто первый увидит?

Глазастый Кошкин:

— Робя, идет!

Командует Клавка:

— Прячся в рожь. Скоре. Мы — не мы!

Еле-еле плется Мария Козина.

Ноги разбила, прихрамывает Мария Козина.

И —

Остолбенела.

Смотрит широкими глазами.

Не мигая смотрит на высокие на частые скирды.

— Гулюк!

— Филлип!

— Гу-люк!!

Сусликами кричит молодежь.

Потом сразу все с хохотом окружают Марию.

— Это вы? Ах, чтоб вас розарвало!

Тормошат — кричат прямо в уши:

— Решили — крышка!

— Раз рекесем — знай!

— Комсомольская помочь!

Тормошат — кричат прямо в уши:

— Рабфак подкузьмил.

— Не рабфак, а вообще...

— И в частности!

Кроет всех пронзительный Кошкин голос:

— Решить вопрос!

Васька взматывает башкою, будто пыряться собрался:

— Стойте, черти! Я против: докосить сперва.

Храбрится Кошкин:

— Докосим. Раз плонуть!

А Петя-тихоня уже на скирде.

Вздувают ветер полевой Петину красную рубашку сатинетовую. И от этого Петя на скирде — совсем карапузиком. Кричит Петя тоненько:

— Чего обсуждать. Ваське рабфак. Уступаю!

— Факт — не реклама.

Сяткин шутит серьезно:

— А может быть, Кошкину.

— Нос не дорос.

Кричит Кошкин:

— Не больно нужно. Я и сам не хочу...

— Хохот:

— Знамо дело: „не хочу учиться, хочу жениться“.

— Только я за тебя ни в жисть не пойду!

— А ты как будешь: в церкви или в совете?

Кричит Петя тоненько:

— Внимание. Голосую. Марья, голосуй и ты — твоя рука за два голоса: ты, вроде почетный комсомолец. Кто за то, чтобы за примерную косьбу общественного хлеба принадлежащего большекаменскому детскому дому при женотделе...

— Смотрий, опять запутаешься, Петья.

— ... отправить товарища Василия Яковлевича Большакова... Кто против? Принято. В косы. В серпы. Дожинать!

Кубарем скатывается Петя со скирда.

Кошкин с досады Петью в бок.

— Куда отправить-то и не сказал. Рази так ведут сорбрания.

А Васька орет:

— Марья! Айда за мной вязать. Чорта с корнем сворочу теперь.

Клавка подзадоривает:

Васька ерзал по загону,
Вот и этак, вот и так.
Не пей, паря, самогону —
Провожаем на рабфак.

— Эх, покажу я — почем сотня гребешков. Один все споны на ручной тачанке перевезу.

Язвит разобиженный Кошкин:

— Прислонись к скирду, — упадешь. Хвальбишка!

А Васька облапил Марью:

— Марья, из ребетишек твоих отряд пионеров сботаю.

Отбивается Марья:

— Откачнись. Иш, прыткий!

— Работать так работать. Страда!

Клавка Кошкина поддразнивает:

Не страдай ты, мой милена-ак,
Все равно в напраслину...
Привязался как теленок...

— Смотрите-ка, Клавка-то разливается.

— Ее бы надо, робя, послать.

— Правильно!

А Васька взволнованно:

— Клавка, вступаешь к нам? Рабфак уступлю. Пра! хошь?

Знай, хоочет Клавка:

— Ладно, вступлю.. как только тебя вышибут.

Рада Марья, улыбается, смотря на молодежь — на Клавку.

И —

глубоко,

глубоко почему-то вздыхает.

А. Дорогойченко.

I.

1. На чем сосредоточен интерес рассказа Дорогойченко и какой смысл его заглавия „Кандидаты“?
Что составляет основу тему рассказа?
2. Чем характерна для молодежи картина собрания в пустом поповском доме?
3. Какие недочеты в организации молодежи выясняются на этом собрании?
4. Как вы могли бы распределить представленную здесь молодежь по степени сознательности?
5. В чем интерес картины сбора молодежи на комсомольскую помощь?
6. Как проявляет себя молодежь на общественной работе? Выделите здесь отдельных работников и охарактеризуйте их работу.
7. Что заставляет признать права Васьки на рабфак?

II.

1. Обрисуйте отношение взрослого населения к молодежи. Отметьте отдельные случаи столкновений.
2. Чем особенно характерно столкновение Васьки с отцом?
3. В ком из взрослого населения находит себе поддержку молодежь?
4. Чем интересен в рассказе образ Марии Козиной? Опишите ее душевное состояние по дороге в город.
5. Разберитесь в сцене встречи Марии с Гусаровой: что характерного здесь для основного содержания рассказа?
6. Соберите черты, характеризующие старую деревню, и отметьте зарождающееся новое в ней.
7. Кем в рассказе представлена старая деревня и кем новая?
8. Как просачивается в деревню новое?

III.

1. Как построен рассказ: выделите отдельные части в нем и покажите взаимную связь их?
2. Выделите отдельные картины в рассказе и отметьте приемы, какими они нарисованы (раннее утро рабочей поры, сбор молодежи и т. д.).
3. Как обрисованы отдельные представители молодежи? Дайте ряд характеристик.
4. Как обрисованы отдельные представители взрослого населения?
Дайте ряд характеристик.

IV.

1. Чем интересен язык рассказа?
2. Выпишите слова, характерные для деревенской речи.
3. К каким приемам прибегает автор для передачи таких слов на письме?

4. Выпишите все слова, записанные автором по слуху и дайте параллельно литературные формы этих слов (рази—разве, каждому—каждому и т. д.).

5. Выпишите отдельные слова, яркие своей образностью („скалозубить“, „едала“ и т. д.).

6. Выпишите слова, необычные по их образованию, и разберитесь в способе их образования („ухмылочка“ и т. д.).

7. Отметьте и восстановите искаженные книжные слова (антресно, гумага и т. д.).

8. Разберитесь в оборотах речи Пети, отметив в них свое и чужое, книжное.

9. Разберитесь в слоге официальной бумаги на имя женотдела.

Зимним вечером.

I.

За рекой отгорела кумачная полоска. Лесок в лощинке потемнел и слился в сплошную черноту.

На слободе засветились огоньки.

Андрей затворил сарай и вошел в избу. В потемках где-то шушукали ребятишки, отец кряхтел. Скрипел сверчок.

Спросил в пустоту кухни:

— Больше делать нечего?

Отец издалека промычал:

— Не чаешь отдалаться?

— Што еще-то надо?

— Волочиться опять... Чорт тебя носит!

Неожиданно вынырнула откуда-то мать.

— Да, право, куда ты, Андрюшка, ходишь? На час дома не посидишь?

Темной тучей показался на фоне окна отец.

— Опять в свою чертову ячейку потащится. Не терпится...

— А тебе не все равно, куда я хожу? Свое дело делаю и ладно!

Озлобленно закричал отец. Сорвался:

— Иди! Неси тебя дьявол! Учиться все собираются... Шарлатанничать. Какие ученые, подумаешь, вшивые черти! Крысыми!

Сжал в карманах кулаки, повернулся к двери.

— Я приду скоро!

Звонко пели шаги. Эхо отдавалось и вязло в пухлых заильнях изб. Мороз крепчал.

Путь к почте лежал через сады. — Кудрявые, в белом инее.

Шел по завилистой стежке, задевая тяжелые белые лапы. Иней сыпался на лицо, за воротник колючими иголками. Засыпал глаза.

Перепрыгивая через заносы, Андрей тихо мурлыкал:

Если Троцкий не возьмет,
Пойду за Чичерина..

Мурлыкал машинально, а в голове одна мысль: скоро курсы.

Надо ехать, а как сказать отцу? — Отказаться, — уком будет недоволен, а сказать отцу, — жди скандал, ругань, град оскорблений.

II.

На почте ярко горела „молния“. У покосившегося ящика стояли поседевшие лошади. На крыльце — огонек цыгарки.

— Это почта пришла?

— Почта.

И огонек осветил бороду в сосулях, — ямщик.

В дверях оглушили крик, спор.

Вошел Андрей — стихли. А жуликоватый Лука Никандрыч, начальник, прошамкал в клокатую бороду:

— Вот коммунист молодой... Ему скажем...

И вскинул острый взгляд в лицо Андрея.

— Что, брат, дождались? Бог-то ваш помер!

— Какой бог? Мы богов не признаем.

— Во! Признаешь!

Петр, лохматый почтальон, хлопнул по плечу.

— Хе, брат, Ленин помер!

— Городи!

— Ну, вот, правда!

Андрей замялся. Шутит, — подумал. И сердито отмахнулся.

— Будет смеяться-то! Давай газету в ячейку!

А Лука Никандрыч, ехидно поджимая тонкие губы, цедил:

— Не шутят, а так точно...

И клочья бороды его стали дыбом.

Сунул в руки газету. Андрей торопливо развернул широкие листы и застыл. В глазах поплыли черные с красным буквы:

СМЕРТЬ Т. ЛЕНИНА.

Крупными буквами, не умещавшимися в голове. Не поверилось сразу. Метнул взглядом в начальника, наблюдающего за ним. Опять в развернутый лист:

...СКОНЧАЛСЯ ЛЮБИМЫЙ ВОЖДЬ РАБОЧЕГО КЛАССА...

В уши — скользкий смешок:

— Ну, поверил? То-то!

Потом Андрей не помнил всего. Помнил только, что крикнул на яркий блеск „молнии“, на головы, слившиеся в одну хихикающую физиономию:

— Мерзавцы, лучше-б вы подохли!

Опять — лапы яблонь, иней за шею, на лицо. Крепко прижимал к груди газету.

III.

Андрей читал, а блестящие глаза глотали. Не упускали слова. Сгрудились в кучу к столу. Слиплись жесткими кожухами.

...Осталась вверху последняя страница. Кончили, долго молчали. Потом тесную избу наполнили нестройные звуки. Пели один за одним, ловя тон:

..Вы жертвою пали...

Глаза — в землю. Шестнадцать молодых комсомольцев. Проклятые отцами, бабками. Вычеркнутые из семейных списков.

Потом несмело затолкались по избе. Под живыми стрелками добродушных хитрых глаз на портрете. Вывесили красную тряпку с черным лоскутом. А раму портрета вместо материи бумагой обтянули. Полоса — красными, полоса — черными чернилами.

Траур.

IV.

На селе затих^то. Прошла улица, протискала снег скрипучий и рассосалась парами по крыльцам. За толстые щиты из моченца. В потемочки. До петухов.

За рекой слабо переливала гармонь.

Шли — Андрей, Васька Косыч и Миколка. В ряд, нога в ногу.

— Так как же теперь?

Спрашивал Васька пытливо:

— Без Ленина-то?

И угнетенно вздохнул.

— Неужели сгибнем?

А Миколка, увальнем перепрыгнув занос снежный, вдруг остановился корягой:

— Шутишь! Разве теперь свернешь?

И уверенно замахал руками.

— Умер Ильич — плохо, слов нет! А мало ли еще? Организация... Во, брат!..

У Андрея топтались в голове чудные мысли. Не умелись под шапкой. Прыгали и сливались со скрипом шагов с дальним голосом гармоньи. Сказал вслух:

— Только бы старики не давили... Не понимают они ничего... Мешают...

Миколка поддержал:

— А то бы нашего брата, ай, мало? Миллионы!.. Дорогу теперь знаем... Вот он, Ленин-то!..

V.

В избе курили мужики. Плавали синие волны дыма. Мерцала гасница-коптилка. Видны были полушибки и клокатые бороды. Обернулись.

— Ну, как, коммунист, дела-то?

Отец ворчал:

— Коммунисты, черти сопливые.

Не сдержался Андрей, при входе бросил:

— Ленин умер!

Все стихли. Пыхнули последней затяжкой и замолкли. Потом загадели враз все.

— Ну? Когда?

— Вот дела-то!

А желтый Васильич, сморкнувшись, проникновенно сказал:

— Эка свалилась детина-то...

— Да как и не свалиться? Один думал... на всю Рассею... Это не шуточка.

Тянул Васильич:

— Брат ты мой! Сколько ее ни ломать, голову-то. Стальная и то не вытерпит, треснет...

Иван Зотов вдруг стал среди избы — серый, в дырявой шинели, и замахал руками.

— Шутишь ты! Ведь корыто разбитое взяли в семнадцатом! Был я тогда, знаю!.. Смерть всем была! Во!

Андрей подсказал:

— Владимиру Ильичу мы этим обязаны, только...

Иван, как ошпаренный, затрепался по комнате:

— А кому же? Ему! А то бы — арест был!

Потом Андрея затиснули в средину, к огню. Опять читал знакомые, скорбные строки:

...Горки... склероз... траур рабочих всей страны... всего мира...

Непонятные слова были понятны без объяснений. Бороды дымили, не спуская глаз со рта Андрея. И когда он поднимал глаза, то видел пары глаз, подернутых грустью и чем-то еще большим, им самим непонятным.

Неожиданно встал отец. И скрипучим голосом раздельно сказал:

— Большой человек был... Ценить мы его не умели...

Разошлись за полночь. Газеты разобрали по листам. С собой, прочитать одним, по складам.

Утром Андрей рискнул. Приготовился к брани, ругани
За завтраком сказал отцу:

— На политкурсы меня вызывают от организации..
в губернию... Как?

И думал, что молчанью отца не будет пределов. Потом
расцвел скрытой, брызнувшей из глаз улыбкой. Отец, глядя
на окно, просто сказал:

— Што ж, поезжай. Денег дам, хлеба...

Немного погодя, добавил:

— Взялись, доделывать кому-нибудь надо. Не задаром же
Ленин жил и умер.

И строго закончил:

— Только мотри! Узнаю про балушки, все уши отматаю!..

Раховский.

Мы с Ильичом.

Выходила молодежь из клуба
Выходили.

Камни ныли.
Шумный говор бил ключем...

Кто о чём,

Кто о чём...

Эти вот над Ильичом

Шевелят, сверлят мозгами.

В шуме, шорохе и гаме

Шелест ссылок, град цитат

(И впопад
И невпопад)...

Страсти, страсти — водопад.

Слова горят! Сердца горят!

А все —

„Великий Азиат“,
Зажегший их огнем волнений,
Связавший цепи поколений,
Спаявший мозг и сердце в лад..

Глаза горят! Сердца горят!

Горят, горят и говорят:

— „Вперед без страха и сомнений!“

И грозный ропот баррикад,
Восторг побед, боль поражений,
И солнца свет, и сумрак тени, —

Для нас —

В грядущее ступени.

Оно в едином слове:

Л е н и н .

Мы с Ильичом!

Мы с Ильичом,

Как с факелом,
И как с мечом!..
Шумный говор был ключем.
Кто о чём,
Кто о чём...

А. Жаров.

На смерть Ленина.

Не кипучий смерч землетрясений
Мир хлестнул неудержимым шквалом —
Это весть о том,
Что умер Ленин.
Весть о том,
Что Ленина
Не стало...
Солнце, стой!
Эх, солнце, сделай милость,
Подожди лучом в снегах звучать!
Ты не знаешь, что остановилось
Огненное сердце Ильича?..
Мир, завод, станок мой неустанный!..
Не придет садовник в буйный сад.
Слушай, мир:
Рабочего титана
Нынче потеряли корпуса.
Никогда уж больше не прольются
Искры слов, взметнувшие пожар.
От горящей домны революций
Отошел
Великий кочегар.
И в полях, где голос в песне звонок
И широк ликой, просторный зык,
Видел я:
Заплакал, как ребенок,
Никогда не плакавший мужик.
Видно, все взметенными годами
Глубоко вросли в октябрьский клич.
Видно, крепкими стальными проводами
С простолюдьем
Был скреплен Ильич.
Значит, в толпах новых поколений,
Где незыблем ленинский закал,
Будет жить
Мильоноглавый Ленин!
Значит, наш Ильич не умирал!
И зачем под гром землетрясений
И под всплески океанских шквалов
Мчится весть о том, что умер Ленин.
Весть о том, что Ленина не стало?..

А. Жаров.

V.

И З Д Е Р Е В Н И
В Г О Р О Д

Тюли - люли.

Весна началась сразу, вдруг, как шапкой накрыла.

С крыш, с пригорков, со всех сторон и во все стороны вода потекла. Сначала капельками, ручееками. А потом как зазвенела, зашумела, забуровила, — только держись!

Гараська Пыжик, засучив штаны, прямо на дороге ладит мельницу, да где там: сломало, понесло... Гараська бежит за ней, машет руками, кричит, а из-под ног искрами во все стороны — брызги, брызги!

Не успели оглянуться — кругом зеленя, с них от солнышка даже пар валит, а небо высокое, синее. На пригорках мурава так и прыснула щеточкой. Но в лощинах еще грязь, жиделяга, из грядок на огороде ногу не вытащишь, гумно взбухло пирогом.

Черный, как уголь, скворец на березе свищет и свищет, будто ямщик, и вздрагивает крыльшками, а из скворешной дырочки под ним то и дело скворчиха высовывается.

Мужики с перевернутыми сохами, с мешками и лукошками поехали в широкие и светлые — точно с них крышу сняли — поля пахать и сеять. Время-то в самый раз, зевать нечего. Даже Лыско, задрав хвост и вывернув уши, как угорелый, помчался туда же, а сам лает, лает, лает!

Мужики пашут, а тятка собирается в город.

У соседа Терехи выпросил старого мерина Сивку, а телега своя. Поднялся затемно, вздыхает, копошится, ворчит на мать, — в кладовке-де кринки расставила под ногами, решето не на месте...

Кладет он на телегу мешки с картошкой, с рожью, и еще один мешок, совсем живой, так и ворочается сам собою, — в этом мешке три боровка, тоже на продажу. С одного боку телеги мать приладила плетушку с раскудахтавшимися курами, с другого боку лукошко яиц, пересыпала их куколем, чтобы не бились, а в передок сунула в бураке скоп топленого масла.

Ходит она вокруг телеги и все вздыхает, все учит отца, как надо продавать добро, чтобы не промахнуться, и как

выбрать животину, чтоб опять не купить опоеного, как Чубарка,—тут пахать бы, а он сдох!

— Ладно уж... не каркай! Наворожишь ты мнé!..

Отец сердито глянул в поля, плонул в руку, коленкой уперся в хомут и, ощерясь, так стал его затягивать, точно решил удавить Сивку на-смерть.

Приплелась из Дрыкина бабка Марья. Упираясь на костылек, топчется тут же, и тоже дает советы, как и что лучше, а главное, чтоб отец побывал на мельнице, хозяина повидал, Петра Минеича.

— Обскажи ему... должен способие выдать. Мы люди смирные...

— Выдаст, дожидайтесь... — кряхтя над хомутом, сказал тятька.

Сунув палец в рот, Силашка глядел на сборы и крепился. А как услышал, что можно бы и мельницу увидать,—настоящую, ту самую, на которой смололо деда Никиту,—не вытерпел и взвыл благим матом.

— Ты опять?.. Запри его, мать, в избу!

Отец продел в кольчико дуги ремешок, обмотал его винтом по дуге и завязал у оглобли, а чтоб крепче было, конец ремешка даже зубом потянул. Тряхнул оглоблю, оправил рыжий картуз и сказал:

— Готово!

А сам поглядел на плачущего Силашку и переглянулся с матерью. Та тоже глянула на Силашку и ясным взлядом уставилась в отцовы глаза: уважить, мол, надо. Тут и бабка ввязлась, потыкивая костыльком в землю:

— Возьми парнишку, возьми! Пусть съездит, сроду никуды не бывал. Возьми, говорю!..

— Невелик хахаль... и дома посидит.

Строго сказал, а в бороде заиграла улыбка, не знает, куда ее деть. Общупал поклажу на телеге. Выправил у Сивки под репицей шлею, хлопнул его по заду. И махнул рукой.

— Ну, сбирай, мать, ладно уж... Давай его сюда!

Мамка проворно сготовила Силашку в путь.

Вышел он на крыльцо, сияет, а на глазах еще слезы. Оглядывает на себе пестрядиную сибирку праздничную, новые лапотки,—еще дед Никита их сработал, а в груди будто живая птица трепыхается,—дышать тесно!

Пока там отец с мамкой в избе советовались, как и что, Силашка обежал всю деревню, свой наряд показал и всех оповестил, что едет в город. Перед Гараськой Пыжиком и другими то и дело лез на телегу, забирал в руки вожжи и мужиковским голосом орал на Сивку. А тот будто спит,—без внимания. Голову свесил, ноги клешнями. Нет ему дела до Силашкой радости.

Вышел отец. Постоял, подумал, на утреннее солнце глянул, сбоку на мать поглядел и тряхнул головой.

— Ну, готово... Пора!

Вскинулся на край телеги, засопел и вожжей вытянул Сивку. Тот лишь хвостом махнул, даже и не оглянулся,— стоит и дремлет.

— Охлопочи там! — замигала бабка, хватаясь за телегу.— Ведь тысяшник, а мы люди бедные! Какого старика-то сгубил, стра-асть!.. Хоть бы зерном дал, ежели што... Ни коня, ни семян, так и скажи-и!..

— Слыши, ладно уж... Ну, прощайте!

Над Сивкиной спиной еще и еще раз со свистом взвились вожжи. Тот нехотя замотался в оглоблях, дернул телегу в сторону, потом в другую, оттопырил хвост, зафуркал задом...

Поехали!

С визгучим скрипом и тырырыканьем отворились ворота в поле. Утро синее, веселое, позывчатое, будто сейчас умылось и смеется. Из-за поля, над зубчатыми елками огромным золотым глазом выкатилось солнышко, брыжжет по зеленям и межам, алым цветом кропит суглинистую дорогу и рыжий тятькин картуз.

Силашка глянул назад: окошки изб полным-полно налились золотом,— в каждом окошке по солнцу. Скворцы над скворешнями засвистывают еще пуще, а жаворонки в небе точно дырочки буравчиками высверливают: тир-люр-лю-ю, тир-лю-ю, тир-ли-и...

Как хочешь загибай голову, ни за что эту пичужку не разглядишь,— одна синь. И небо — как чашка.

Еще раз Силашка оглянулся на деревню. Избы сделались маленькие, точно старушечьи головы в темных платках. Только на Терехиной избе платок побелей, а на Зуйковой— зеленый, на четыре стороны, и из трубы дым выюнком. У кособоких ворот на выезде так и стоят два человека,— это мать и бабка, руки козырьками, глядят и глядят в солнечное поле, оторваться не могут...

Около Прокловой кузницы, у перелеска, сосед Тереха в белой, орозовевшей в солнце рубахе, попевая божественное, чинил изгороди. Звенья по сучьям топором, он рубил молодые елки и облаживал их на колья. Как проезжали, он положил ярко взблеснувший топор на плечо, поднял брови и закричал тятьке:

— Вертайся скорей!.. Самому мне пахать надобно! Слыши?!

— Ла-адно!.. — нехотя откликнулся тятька, глядя Сивке под ноги и покачивая концом вожжей.

— Ну то-то... смотри!

Опять молнией взблеснул на солнышке снятый с плеча Терехин топор и зазвенякал по обрубаемым сучьям бабий голос запел божественное.

2.

Ехали молча, шагом.

Тятька ноги с телеги свесил, голову эдак набок, сумрачный, — только и глядит Сивке в хвост. Силашку же распирает неохватная буйная радость. Он то замрет, с ненасытной жадностью глядя в неизвестные дали, то места не найдет, — так и вертится на мешках: и туда глянет, и сюда глянет, чтоб все приметить...

Вот у дороги огромный камень, а на камне зеленый мох растет. Вот синеватая старая осина двойная, — как есть чудище: головой в землю ушло, а ногами взбрькнуло вверх... Вдали по низинам лужицы — будто зеркала кто растерял. Валяется на дороге лиловый старый лапоть, из пятки солома торчит. Под придорожным кустом, измызганным колесами, птичий перья и косточки, — к чему? А в глубоком овраге еще лежит грудка ноздревого снега, ручеек тилиликает...

Да разве успеешь все заприметить!

Развернулась широкая вырубка с черноголовыми пеньками. Откуда ни возьмись, вдруг выскочил на дорогу заяц. Приподнялся на дыбки, но, завида Сивке, оторопел, прижал уши и понесся, махая через пеньки. Тятька вдогонку гикнул, свистнул, взвил вожжами, с головы чуть картуз не слетел... Долго глядел на мелкающего вдали зайца, поправил картуз и сказал:

— А, косая шельма!.. Из ружья бы тебе в зад-то!..

Телегу заворочало по корневищам с боку на бок, точно с ней боролся кто-то, легший на дороге. Пеньки обросли прямыми, как брызги, дымчатыми лозинами. Тятька соскочил с телеги и выломил одну большую себе, и поменьше — для Силашки.

— На!.. Ежли лешуга лесная выскочит, лупи ее, не щадя живота!

Въехали в большой лес. Запахло корнями, смолевиной, сыростью. Проселок заколесил туда и сюда, закривуляя, как пьяный. Со всех сторон обступили телегу косматые седые елки и медностволые сосны.

Прорезав лесную гущу и зеленые сутемки, по мешкам, по тятькину картузу и спине живыми золотыми блинками заскользило солнце. В чащуге тенькают птицы, точно серебряные денежки на блюдечко сыплют. Выраженный по-праздничному дятел винтом увиивается вокруг лысой сухостоини, звонко цефкает и долбит-долбит, упираясь на хвостик. А сосны да ели, будто за руки взявшись, идут и идут мимо телеги зеленым хороводом без конца и краю!

А птицы в чащуге: тюнь тинь, тюнь, тинь...

Силашка косит глазами по обе стороны, — вот тут-то и живут всякие чудища... Покажутся или нет? Сивко мотает головой и в полную ноздрю звонко фыркает, и в лесу ему кто-то откликается, подфыркивает. Колеса гулко стукают по корням, под колесами хрустят сучья, шишки... Нет, не покажутся чудища — Сивку побоятся. Большой он, Сивко-то, и сильный, ему даже телега нипочем. Да и тятька тоже тут, — попробуй, покажись: хватит вожжей, как Сивку!

Бока у Сивки худые, ребристые и раздуваются, как мехи у кузнеца Прокла. Об эти бока хворостина у тятьки сразу сломались. До того, как ударить, тятька долго крутит над головой вожжами и, чтобы хлестнуть как следует, чуть не ложится вдоль телеги и придавливает боровков в мешке, те начинают визжать, а куры в плетушке им откликаются: куда? куд-куд... куда?..

Прислушиваясь к курам, Силашка вспомнил, куда он едет, — в город, в город!.. Забыл и о чудищах. Стал думать о городе. Сначала молча, а потом вслух, — похож ли город на много колоколен, или иначе как, вроде лесу, а может, и повыше лесу...

Уперся голубыми глазами в отцов затылок.

— Тять!

— Ну?

— Какой он?

— Кто?

— Город-то.

— Уездной, знамо дело...

— А ты скажи: како-ой он?

— Так, не ахти...

— Большущий?

— Город как город. Голодранцев много...

— Это какие... голодранцы-то?

— А которы без порток.

— Маленькие?

— Маленькие... борода по пуп...

Ничего не понять у тятьки. Силашка повернулся на-бок, улегся полнее на мешках и стал думать молча. Тятька нокает, Сивко фыркает, телега кряк да кряк, а тут еще колесо начало попискивать: пить, пить...

Силашка закрыл глаза, чтобы хорошенько подумать о городе. Но зеленый лесной хоровод, и фырканье, и кряк, и писк совсем закружили и спутали мысли в одно играющее розовое марево, видимое сквозь закрытые веки...

Силашка уснул. А под щекою у него возился теплый боровок и сытно уркал.

3.

Проехали не мало деревень.

В одной ночевали. Бабы щупали боровков и мешки, пригорюнивались на кулачек и советовали разное. Тятька так и спал на телеге. Силашку же ввели в избу и с таганка накормили шипучим овсяным киселем с маслом. Он ел, обжигаясь, а веснушчатая молодуха в упор глядела на него ласковыми синими глазами.

Она же постлала на лавку шубняк и уложила его. Сама села рядом. Теплой рукой давай гладить его и расспрашивать про мамку: какая да какая она.

У Силашки даже затосковало сердце о мамке, — не сдержался, заплакал, тихонько чуфыркая носом. Молодуха прильнула к нему, ласковая и мягкая, как мамка, даже пахло от нее мамкой, — и давай нашептывать ему в ухо всякие слова...

Потом начала сказку про попова работника. Но Силашка сразу же уснул, — так и не узнал, довелось ли этому работнику выловить мережами бесенят из омутища?

Тятька разбудил его затемно, вывел за руку и посадил на телегу. Силашку валил сон. Он ткнулся, было, на мешки, но придавил боровка, тот взвизгнул, — и Силашка опомнился, высверлил кулаками глаза, зевнул и глядит вокруг: тятькина голова, Сивкин зад, мешки...

Заглушая собачий лай и петухов на деревне, заверещали колеса и занукал тятька, дергаясь локтями и спиной. Протырыкали ворота на околице. Собаки замолкли и побежали в ту сторону, где огонек в окошке остался.

Выехали в поле. Половина неба малиновая, половина — темная, посередке же, над головой, синь бездонная, и в ней, как засыпающие глаза, две слабые звездочки. Впереди по земле белесый туман пологом, но его никак не догонишь — телега будто на одном месте ворочается или кругами кружит, нехотя покрякивая.

Тятька вздел армяк, картуз нахохлил вперед, козырем чуть нос не покрыл. Нагорбился с телеги и тихо помахивает хворостиной, точно рыбу удит. Весь он в светлой утренней темноте — какой-то новый и далекий, но в то же время и близкий, всегдашний, родной. Сивкина спина мотается вот тут, рядом, а голова фыркает где-то далеко-далеко, — там, за туманами...

Малиновая половина неба разжигалась ярче и ярче. Те два глаза — две звездочки — уснули, растаяли... Светлая синь пролилась и в темную половину неба. Зажурчали жаворонки, просверливая вышину золотыми буравчиками: тюр-ли-и... тир-люр-лю... тир-лю-ю...

А как выкатился зыбучий шар солнца, вдали, за дымно-синими перелесками Силашка увидел белые колокольни, одна, самая высокая, с золотой головой, как свеча, горит на солнышке. Силантий завертелся на мешках, глаз не спуская с золотой маковицы.

— Тять... гляди!..

— Вижу...

— Што это?

— Черквы...

— Город?

— Он самый. Во-он где!...

Тятька указал туда хворостиной.

Замерещились синие, зеленые и всякие крыши. У Силашки дух заперло. Привстал на коленки и глядит... Играющей радостью налились и грудь, и руки, и пальцы, — хоть лети!

Спустились под гору. Загрохотал длинный мост. А под мостом — вода, широкая, с поле.

Силашка еще издали приметил: прямо на воде стоит чудной дом без окошек и весь стучит, шумит, дрожит... Крыша, стены, лужайка около — белые, будто в снегу. Кругом распряженные возы, лошади хвостами помахивают, уткнувшись морды в сено.

Согнувшись над мешками, лезут и лезут на тот чудной дом человечки и вверху проваливаются в черную дыру.

Подъехали ближе. Тятька задергал вожжами, ни к чему вытянул Сивку хворостиной, соскочил, пошагал, опять сел, поправил картуз и свирепо сморкнулся.

— Вот она, Силантий, мельница...

— Которая?

— Да вот... гляди!

— Эта?

— Она самая. Вот тут дедушку... Никиту-то...

Не дыща, Силашка вытаращил глаза на мельницу. Побелевшие от муки бревенчатые стены гудят, дрожат, внутри что-то скрипит, скрежещет и грунто топочет... Человечки — оказались, простые мужики — лезут и лезут с мешками в верхнюю дыру и проваливаются в страшное грохало. Неужто и их на муку?.. Нет, кой-которые вылезают из нижней двери, и тоже с мешками, и все белые...

Сбоку мельницы вертится колесо, до самой крыши. Оно вертится неторопливо, скрипит, шумит и во все стороны брызжет и плачет водою. Вода голочет, ревет, вскипает пеной, веселой пылью взлетает ввысь — и, сверкая в утреннем солнце, в этой играющей пыли стоймя стоит над колесом настоящая радуга-дуга. Силашка даже рот открыл, — как она попала сюда с неба?

Около мельницы тятька затпрукал. Остановились.

Как раз в это время из особой избушки вышел человек в синей поддевке, в лаковых сапогах и с таким большим козырьком у картуза, что из-под него виднелась только красная луковица носа да рыжая, будто огненная, борода веником.

У крыльца, помахивая головой, выплясывал нетерпеливыми ногами крупный караковый мерин в дрожках. Рыжий в козыре уже занес ногу на эти дрожки, как подошел тятька и низко-низко поклонился, держа обеими руками картуз под животом.

Отвел тятька рукой со лба волосы и степенно начал толковать с рыжим. Долго чего-то обсказывал. И опять поклонился. Рыжий одернул козырь еще ниже, совсем закрыл нос и стал говорить свое — загибал на руке пальцы и совал их под тятькин нос. Тятька сгорбился, слушал и уныло глядел в нутро своего картуза.

Вдруг он выпрямил спину, хлопнул картузом о ладонь и нахлобучил его на голову — глубже некуда. Да как взмахнет рукой, точно топором секанул, и давай кричать на рыжего так громко, что бежавшие гусем мужики с мешками сразу остановились и стали слушать. Рыжий удивился, его даже шатнуло... Но он тотчас открыл из-под козыря нос и медным, похожим на его бороду голосом, заорал куда громче татьки, — так заорал, что мужики с мешками испугались и побежали куда надо.

Наоравшись, рыжий прошелся около татьки кособоким петухом, дернул козырь так, что нос опять спрятался, и сел на дрожки.

Караковый мерин, звонко гулькая селезenkами, унес рыжего из видов.

Татька потряс в ту сторону кулаком.

— Кровопивец! Погоди-и!..

Вскочил на телегу и давай высыпывать Сивку хворостиной. Тот пустился, было, в рысь, но сразу же одумался и замотался в оглоблях, как невареный.

Силашка поглядывает вперед, — сейчас покажется город, город! Его пока не видно, лишь слышен оттуда чудной шум. — Вот так шумело, когда загорелась изба у Лаврухи, потом рядом у Сизанá, потом у Жмычкова Игнахи, — да как пошло, пошло!

Вот начинается и город...

Силашка не успевает повертывать голову. Вот он какой, город! Избы с окошками в два, а то и в три ряда, одна другой лучше. Прикидывает: сколь высоко в таких избах от полу до потолка? И еще запала мысль: в таких избах и люди живут, должно быть, ростом повыше высокой елки... Чего они едят? На чем спят? Начал, было, думать о лоша-

дях, — сколь велики у таких людей лошади, — да увидел нарядную барыню. Едко ухмыльнулся и ткнул тятьку в бок.

— Глянь, тетка-то — в шапке... и с перо-ом!

— Не замай ее! — махнул рукой тятька.

Барыня ведет за цепочку крохотную поджарую собачку. Собачка боком скачет на трех ножках и останавливается у каждого столбика. Рядом с барыней идет мальчик в голубой курточке. Волосы у него до плеч, светлые, как чесаный лен, на ногах желтые сапожки, а поверх картузика большая малиновая пуговица. Такой нарядный и во сне сроду не приснится. Не это ли и есть самый Иван-Царевич? Тятьку бы спросить. Уж и чистяк! Вишь, как глядит...

А мальчик смотрел-смотрел на Силашку — и вдруг высыпал ему длинный язык и погрозился кулаком. Будто ни в чем не бывало, сунул руки в карманчики и идет с барыней дальше, а сам на Силашку поглядывает. Вдруг вынул руку и показал кукиш. Вынул другую руку и тоже показал кукиш. Погодя вынул сразу два кукиша...

Силашка живо добыл из мешка крупную картошину и запустил ее в мальчика. Не попал. Лишь собачка на трех ножках подскочила, взвизгнув. Потянулся за другой картошкой. Тятька ударил его по руке.

— Баловаешь! Я-те покидаю... Она денег стдит!..

Присмирел, отодвинулся к боровкам, а руки так и зудят...

Барыня, собачка и мальчик повернули за угол, скрылись. Не успел Силашка подумать о желтых сапожках — вот бы и ему такие! — как нарядный мальчик вдруг еще раз выскочил из-за угла и, вертаясь на одной ножке, сделал ему из пальцев нос и показал длиннущий язык. Собачка тоже выскочила и подняла над столбиком ногу, но ничего не успела сделать, — ее из-за угла потянули за цепочку.

5.

Вот он откуда — шум, будто на пожарище!

Большая, как есть поле, площадь. Телег и людей тут с'ехалось со всех деревень. Мужики, бабы, бабушки, девки, лошади, — все смешалось в одну кучу и шумит, галдит, лопочет, гогочет, ржет!..

Тятька выпряг Сивку и ткнул его мордой в сено, а оглобли подвязал стойком, как у других. Составил на землю мешки и засучил их, чтобы видели, что в этих мешках есть. Открыл плетушку с курами, а они с устатку так и закатывают глаза под плёночку. Только рябка, трепыхнувшись, ясно глянула в один глаз на тятьку и закекала: ке-ке, ке-ке-е... трепыхнулась еще раз и вскрикнула: куд-куда?..

Связанных за ноги боровков тятька разложил прямо на землю. Они обрадовались солнышку и, похрюкав, тут же задремали, подрагивая розовой кожицей на животах и ушками. Приоткрытый бурак со скопом топленого масла встал рядом с боровками.

Тятька уладил все дела, одернул латаную на локтях рубаху, рыжий картуз избоченил на ухо и молодецки оперся спиной о телегу, — мол, подходи!

Силашка будто в жимки попал, — вертится так и сяк, плялится туда и сюда, не успевая всего примечать. В глазах у него пестрит от мелькающих лиц, а в ушах звон стоит от разных выкриков и ржанья коней, от писку и визгу, от хлопанья по рукам и зазываний.

Как раз рядом безбрювый мужик с желтым бабьим лицом вызванивал кнутовищем по глиняной посуде и тонкоголосо, без передыху вопил:

— Ай-яй-яй, горшки-плошки! Ай-яй-яй, корчаги, кринки, рукомойнички-и!

А рядом разбойного вида чернобородый мясник огромным топором хрясал на толстом обрубке тушу. Взлетая над головой, топор молнией взлескивал на солнце. Белые мужиковы зубы в черноте бороды скалились на весь базар.. При каждом ударе страшного топора из мужикова рта свистел звук: хессы!.. Взмахнет, яро ощерясь, и—изо всего нутра хессы?.. а топор — в тушу: хряк!..

Вокруг обрубка, поджимая хвост меж ног и вздрагивая мелкой дрожью, вертелся облезлый худой кобель с плачущими глазами. Пока мужик там мешкал, перевертывая тушу, кобель быстро схватывал языком крошки и лизал землю. При ударе топора он с визгом отскакивал в сторону, и снова, дрожа и горбясь, крался к обрубку и пугливо взметывал глазом в разбойное мужиково лицо..

Но пуще всего Силашка дивился на полный воз настоящих белых кренделей и на старика, сидящего на этих кренделях. Поджаристые, румяные, крендели так и поманивали вгрызаться в них всеми зубами. Но старик даже и глядеть не хотел на них, — шевеля скулами и пепельной бородой, он спокойно уминал краюшку оржаного хлеба. На то место, где откусить, онсыпал щепотью соль, точно благословляя эту краюшку. А пока жевал, оглядывал ее со всех сторон и ногтем выщербливал припекшиеся к исподу угольки.

Как раз в это время на колокольне с золотой маковицей вдруг забухало, загудело и затренькало в большие и малые. Старик на кренделях широко и истово закрестился, бережно держа краюшку на ладони, и промолвил:

— Только што отошла... А я-то, окаянный, не утерпел, напёрся загодя... Ой, господи-и! — и принялся доедать, на-тужисто и звонко икая.

Разинути рот, Силашка загляделся на гудящую колокольню. Там, на страшной высоте, руками и ногами держался маленький человечек, вздыгивал и так и этак — будто сбирался взлететь на небо... А колокола и впрямь, как Гараська Пыжик сказывал, так и выговаривали: пол-блин-пол-блин!.. четверть-блина, четверть-блина!.. блин-блин-блин!..

— Закрой рот, эй!.. галка влетит! — окликнул Силашку курносый рябой парень в новой красной рубахе, которая на спине вспухнула так, будто туда подушку ему запихали.

Скоро тятька распродал все вчистую.

Краснощекий поп с гривой во всю лиловую спину уносил за задние ноги последнего боровка. Долго было слышно, как боровок на весь базар верещал: уви-и!.. уви-и!.. а связанная на соседнем возу свинья, свесивши с телеги рыло, тяжко договаривала: жусь... жусь... И выходило: уви-жусь.

Тятька долго топтался около воза с кренделями, щупал да выпытывал цену у старика с пепельной бородой, который все еще икал, — прицелился и купил самый большой крендель с маком.

— На-ко, жуй, — подал он Силашке крендель, — да гляди тут. Я пойду коня высматривать. Конягу, может, купим.. слышь? Не отходи, поглядывай тут!

Взворотил под мордой у Сивки сено, боком оглядел его почесал у себя в затылке и ушел.

Силашка хрусткает вкусный крендель и глазеет на народ. С телеги ему кругом видны все люди и лошади, все палатки, возы и поднятые вверх оглобли.

А солнце уже к закату покатилось. Большие окошки нарядных домов так и горят, налитые красным солнцем.

Вокруг белой колокольни с золотой маковицей крикливы летучим облаком кружат вечерние галки. Вот они черным-черно обсели на карнизах, а одна взлетела на самый крест и помахивает крылом, чтоб усесться как следует, — да не усидела, схизнула косым лётом книзу..

Доел Силашка крендель и поглядел на икающего старика, — еще бы такой кренделек, в самый раз наелся бы. А так сидеть скучно... Его манят холщевые палатки, — там пестрота, шум, крик, писк, свист, давка!.. Народ так и напирает туда огулом, а торгаши разноголосо блазнят:

— Во-от нитки, иголки, гребешки, петушки... эй, эй, эй! навались сюда!

— Топоры, топоры, топоры... завьяловские топоры!

— Ух, остатки, ух, остаточки, наскакивай!

— Здесь сита, здесь решета, тетки, тетки, гляди сюда-а!

— Пряники, ой да прянички, ах да медовые, эх да печатные!

— Молодка, здравствуй!.. Вот они, ленты-то, вот они! Куда полетела?..

Не утерпел Силашка, соскочил с телеги и давай толкаться туда-сюда около палаток. Сразу попал в самую затищуху, — ему то сшибали картуз, то наступали на ногу, то сплющивали его так, что он уж ничего не видел и чертил носом по чужим задам и животам.

Но где он ни ходил, все возвращался к муравчатым глиняным свистулькам и глядел на них завидущими глазами, и вздыхал, а потрогать не смел.

Вдруг в этой сутолоке он увидел знакомого деда, что похаживал около разложенных картин и книжек. Усы у деда зеленые, один глаз с бельмом. Вот он вынул берестяную табакерку и стукнул по ней, собираясь нюхнуть табаку...

Как раз тот самый дедко, что зимой забирал в деревне тряпье и кошачьи шкуры. Он самый подарил тогда Силашке пряник-сусленик.

Силашка живо признал старика и обрадовался, — в оба глаза глядит-глядит ему прямо в бельмо... А тот Силашку не признает, — сощурясь, прижал одну ноздрю, в другую неторопливо заносит с кривого пальца здоровую понюшку табаку, чтобы заворотить ее туда со свистом, честь-честью, а потом лютко крякнуть и обмахнуть платочком лишки...

Помешкав у оловянных петушков, Силашка стал, было, опять проталкиваться к глиняным свистушкам, — как вдруг над городом что-то загудело таким страшным гудом, что лошади шарахнулись, а тот дед и нюхнуть не успел, — удивленно выворотил бельмо, да так и остался с занесенной понюшкой табаку на кривом пальце...

— Пароход, ребята! — отчаянно выкрикнул мужик в горошчатых штанах, замерев с вороненой косой над ухом, которую он перед тем постукивал ногтем и слушал. — Он и есть!.. Разрази господь!

Бросил косу и понесся, мелькая горошчатыми штанами, — коса жалобно звянькнула, а мужика и след простыл.

Тут и пошла кутерьма. Вся площадь сорвалась с места и повалила за торговые ряды. Силашка тоже бежит за людьми, глаза выпучил, лапотками заплется. И неизвестно — в чем дело?

А за торгошими рядами оказалась такая большая река, против которой Крутица — курий ручей. Такую реку и с ручками на сажонках не переплыешь, ежели не умеешь кверху брюхом отдыхать, как Оська Лодыжкин, — ляжет и хоть бы ему что!

Набережная покрылась народом, как черникой, Силашка вынырнул вперед — и ахнул... Прямо по воде двигался длинный белый дом с высокой трубой, а из трубы непривычно прет на всю реку черный дым. С боков белого дома во всю мочь вертятся и лопочут большие красные колеса, бузят воду в пенистые бугры, и эти бугры по реке — точно грядки на огороде. А свисток так и ревет, так и гудит, так и гогочет, выпуская, как из ружья, прямую струю пара.

Народ на берегу жужгом-жужжит, ахает и толмачит на все лады, с удивлением глазеючи на невиданное чудо — первый в лесном крае пароход.

— Ой-ой-ой, ребята-а...
— Ай, Петр Минеич...
— Штуку сверзил... а?
— Ах, рыжий дьявол!..
— Затейник!
— Башка, и толковать нечего...
— А ведь наш брат, мужик!
— Я, паря, слыхал: на ту весну он еще пароходец пустит.

— Денежка-то, ребята, што делает... а?
— Мельницу, водянку-то, слышь, на-слом... Паровую затыкает.
— Ай-яй! Вот и гляди на него!
— Што-ж, подавай бог всякому.
— Подаст, держись... Крепи гашник!
— Вона, едет, сам едет!.. Дорогу, ребята, дай!..

В это время караковый мерин, хрюя и теряя с губ пену, врезался прямо в живую гущу, — натянув синие вожжи, рыжая борода под большим козырем спешила на дрожках к берегу.

6.

Силашка бегает по базарной площади и никак не может найти ни телегу, ни тятьку, — телег и мужиков так много, и все они одинаковы...

А солнце давно за крыши ушло. Вот и темнеть стало. Многие разъехались, иные укладывались и запрягали, переговариваясь тихими вечерними голосами. Каждого Силашка оглядывал и в спину, и в бок, и прямо, — нет, не тятька...

Тоска напала. Бегал-бегал и присел у темного амбара на приступки. Поднял голову и завыл, глядя сквозь слезы в густую темноту вешнего неба, на молодой озолоченный рожок месяца, от которого — ежели глядеть через слезы — вертятся прямые золотые усики, то в одну сторону, то в другую...

Поревет и смолкнет, сглатывая горькую слону и в жгучей тоске вспоминая деревню, избу, помело в подпечке, солоницу с желтой пичугой и синими виноградами, и мамку, ласковую, теплую, мягкую, улыбчивую мамку, — придется ли когда увидеть?.. И зальется еще пуще.

— Чево, женишило, ревешь? — тронул его за плечи маленький старишок в такой большой шапке, что она сразу закрыла и рожок месяца, и длинные золотые усики вокруг его.

— Где тять-ка-а?..

— Тятька, говоришь?.. — задумался старишок. — Вот дела-то какие... Как же это он?.. Экой он, право...

Старишок как-то поайкал и незаметно растаял в темноте, опростав от шапки сияющий усиками месяц.

Чуть ли не все телеги разъехались. Площадь пустела. Тоска все горячей. Силашка вскочил с приступков и, как надрезанная курочка, вкривь и вкось забегал по площади, закидывая голову и плача навзрыд.

На минутку останавливался и вопил:

— Тять-ка-а!..

И вдруг из темноты, нос к носу, вынырнул тятька. Его даже не узнать, — глаза выкатил страшные, сопит... Глазами прямо к Силашкому лицу наклонился, схватил за плечи, что есть мочи трясет и удавленно хрипит:

— Силантий, где Сивко?.. Слыши?.. Силань, где Сивко?.. Ах ты стерръвенок?..

Не дождался Силашкных слов, изо всей силы опрокинул его за плечи навзничь... Но тотчас же больно схватил за руку, дернул — и понесся с Силашкой по площади...

И вот в темноте знакомая телега, оглобли к золотому месяцу подняты как руки, а Сивки нет. Тятька тоже поднял руки кверху и ревучим голосом завыл:

— Што теперь делать?.. Тереха ведь шкуру сдерет! Ай-яй-яй!..

Опять схватил Силашку за руку и понесся в другую сторону. На-бегу цакал языком, ахал, охал, хлопал себя по ляжке, сдирая с головы картуз и, размахивая им по звездам и месяцу, ругался.

Тут и там приглядывался к лошадям, тыкался прямо в них, как слепой. И снова несся в темноту так, что Силашка не успевал ступать и падал, перевертываясь боком, но тятька тотчас вздымал его, дергая за онемевшую руку, и бежал, бежал...

Исколесили всю площадь и все закоулки меж амбарами, — нет Сивки, пропал Сивко!

7.

Утром ходили в желтый каменный дом.

Над крыльцом намалевана двуголовая птица, как на деньгах, а внутри дома непроносно пахло кислой квашней и луком. Сумрачный человек с багровым длинным носом в синих жилах, шумно сопя, вынул и разгладил перед собою бумагу, мрачно глядя на тятьку.

Одной рукой он прижал к столу тятькину полтину, в другую взял перо, омокнул в пузырек, почистил о стриженную щетину на голове, опять омокнул в пузырек,—и давай со скрипом и свистом пером и носом ездить по бумаге...

Но ничего не вышло, — так и пропал Сивко.

Ходили и за город.

Там Силашка видел цыган и цыганяток. Все они копченые, галгакают все зараз, и не поймешь о чем. Глаза у всех точно дегтем помазаны, а пуговицы серебряные, по яйцу. Живут прямо в поле, на телегах, кругом костры горят, вьется дым...

Тятьку повели в табун, а тятька хитрый: будто лошадь купить хочет, а сам во все глаза Сивку высматривает,— не тут ли?

Бегали туда и сюда дня три, прохарчились на-тло, хоть плюнь.

Махнули на все рукой — и ранним утром, еще солнце не всходило, пошли с тятькой из города вон.

Подальше от таких мест!

Вышли в поле. Вдали, в голубом дыму, пашет мужик, изгибаясь с сохой и лошадью вперед,— и взмахнутый кнутик и оттопыренный лошадий хвост будто вырезаны на голубом мареве. Тятька взглянул на мужика и звонко по птичьи защелкал языком.

— Пахать, пахать, пахать бы... Ай-яй-яй!..

По кочкам, зеленям и кустарнику косым махом брызнуло выкатившееся солнышко и заполыхало над синеватыми зубцами переселка. На бухлой пахоте крикливо громозятся и взблескивают вороненым отливом грачи. Пролетела мелькающим летом желтая бабочка, и Силашка,— ни к тому, ни к сему — вдруг вспомнил Никиту, гогочущего Никанорку в собачьих рукавицах и ту желтую страшную свечечку над Никитовой колодой...

Порхая ступеньками, на дорогу вылетела пестрая трясо-гузка и быстро-быстро побежала на тонких длинных ножках. Увидев Силашку, остановилась, качнула хвостиком, наскоро опорожнилась известковой капелькой, чивикнула и пырхнула по ветерку в переливчатые зелены.

Дорога в солнышке — розовая, так и вьется лентой, так и поманивает все дальше и дальше, к тем синим лесам дальним...

Силашку распирает неуемная радость. Зеленя, солнышко, грачий крик, — все это в нем, а не где-нибудь. И совсем не в бездонной небесной чашке, а у него в груди журчит, поет, звенит, переливается та нескончаемая жаворонья песня: тюр-ли-и... тир-люр-ли-и, тир-лю-ю...

Радость от того, что земля и небо никаким глазом неохватны, что каждый день приходит по-новому, как праздник, и что где-то там, далеко за лесом, есть скрипучие ворота, а за воротами избы, как старушки в платках, и сверх их высокий журавль в небо.

Там раздольные огороды, гумна, темные амбары. В банной заструхе там есть воробьине гнездо, а под самым коньком избы — ласточье. На полатях в плетушке с бабками там лежит налиток-свинчатка, куда потяжелей, чем у Гараськи Пыжика. И мочальный кнут там же, если Моська не украл его, и зеленое стеклышко спрятано на божнице там же...

Еще из окошка увидит и выбежит навстречу мамка. Обрадуется, ахнет, посадит за стол и накормит чем ни-то вкусным. Сбегутся ребята. И начнет он хвастать про все, что видел, только бы не забыть чего, — про цыган, про воз кренделей, про деда с бельмом...

Жаль, свистушку не купил! Глиняную, муравчатую. Так в глазах и стоит: голова птичья, с боков две дырочки, с гузна одна дырочка. Возьмешь вот так в руки — и дуй: тюли-люли, тюли-люли...

Не доходя до леса, Силашка уже приустал. Тятка снял с него лапотки, привесил их себе за пояс, и сразу стало легко и привычно, — можно тихо, с тяткой в ряд, можно и бегом...

А как пустились в лес, парня охватила такая радость — хоть колесом катись! То и дело во всю мочь несся по дороге вперед, изображая либо лошадь, либо птицу. Вдруг останавливался и косился в лесную гущу, где чудища и медведи. Казалось, где-нибудь тут, рядом, сидит под седой елью лесное чудище и помахивает обомшелями лапами, — волосы у чудища до пят, глаза зеленые, а в рот хоть карарай хлеба запихивай...

Ужаснувшись, срывался и с перекошенным от страха лицом стрелой несся назад, к тятке. Но скоро забывал про чудище и снова засвистывал вперед, только пятки шлепотали, а дымчатые стволы елей, будто чьи ноги, бежали

навстречу: мельк-мельк-мельк... и жужжал ветер в ушах: вжжж...

Забежал раз подальше и удумал напугать татьку. Присел за лопух, сердце колотится... Сидит и ждет, — чтобы выскочить, да как ухнуть!

И видит: показывается татька из-за поворота. Идет и громко ругается, кулаки кому-то сучит, а кому — не видно. Лицо у него, — точно кислого квасу хватил... Чесанет в затылке, двинет картуз на ухо — и снова костит того пуще, а в промежутки айкает:

— Аа-яй-яй!..

Присмирел Силашка за лопухом, не стал пугать татьку, пропустим мимо. Пошел сзади и стал разглядывать его со спины, стал думать о татьке разное. Долго думал, и жаль его спину под большим мешком и ноги в узких портках, и эти завитушки волос из-под рыжего картуза — всего жаль!

Петушком зашел сбоку и поднял на татьку робкие глаза.

— Тать, у тебя ноги устали? Сыми лапти, а я их понесу. И мешок сымы, я понесу...

Словами и голубостью глаз просил: сымы-де, и тогда будет легко, — можно хоть тихо, хоть бегом...

Думая о другом, татька покосился на него. Шагал-шагал, — и еще раз уперся долгим взглядом в светлые Силашкины глаза. Шагал-шагал, — мелькнул еще раз глазком по Силашке, поддернул мешок на спине, крякнул и согнал с лица кислое, даже улыбнулся.

Шел-шел, — да как схватит Силашку на руки, да как подбросит его выше головы, да еще раз... Прижал, дыхнуть некуда, и давай целовать в нос, в шею, во что попало. Как есть с ума спятил! Борода у него щекотучая, душная, Силашка увертывается, дрыгает ногами, хохочет...

У татьки уж и картуз слетел, а он, знай, свое:

— Ах ты, наследыш мой, сопатка, гнездыш желтоносый, курья кость!... Ах ты, ягнячья шерсть! Ах ты, поросатина несоленая, чилим сморчковый, почечуй с горшком!... Ведь вот ты какой... Да виши ты какой!... Да откель ты такой взялся?

Спустил наземь, наклонился к самому Силашкину лицу, опершись ладонями в коленки, — и глядит, глядит через свисшие на лоб волосы... Да как растирашит глаза, да как рявкнет во весь голос:

— Ты, чей?

И далеко в лесу тотчас же кто-то звонко крикнул:

— Чей?

— Мамин, — твердо сказал Силашка, и перед ним живьем встали материны серые глаза и как бы пронесся сладко-горьковатый запах ее тела...

Но, глянув на тятку, на любовно кипящие в бороде губы и зубы, на раскоряченные ноги в узких портках и на упертые в колени руки с голубыми жилами, — изо-всей груди выдохнул:

— И твой...

— То-о-то!

И в лесу, совсем рядом, кто то спокойно сказал:

— То-о-то.

— А тятку тебе жаль?

— Знамо, жаль...

— А сивку?

— Не жаль... он не наш, он Терехин.

Так они шли рядом и без передыху говорили про всячину. Никогда тятка не говоривал с Силашкой ладом, а тут его прорвало.

— Што-ж теперь делать будем, Силантий, а?

— К мамке придем.

— Да она живьем нас съест!

— Не-е...

Силашка светло и весело глянул на тятку, — сколь-де мало ты мамку знаешь, — и уверенно сказал:

— Она картошки нажарит нам, либо лепешек... а то и пирог сварит...

— А пахать-то на чем будем?

— Тереха Буланку даст... Попроси Буланку, она прытчей Сивки бегает, только лягается, ты не подходи к ней сзади...

— Сереха теперь с нас штаны сдерет и по-миру пустит...

— Как Никанорку? С мешком?

— Вот-вот! И будешь ходить в город за кусочками.

Силашка даже подпрыгнул, засиял глазами.

— Я тогда в городе свистушку куплю! А то дзе. Одну тебе дам, либо спрячем... Она зелененькая, а свистит вот так: тюли-люли, тюли-люли...

Тут тятка распалился и давай нахвастывать Силашке, что никакая-де свинья его не съест, и ежели уж так, то и плотничное дело у него из рук не выскочит.

Ежели что, можно-де и в город перемахнуться. А в лесу, а на реке?... барки, например, строить, беляны, в низа их гонять... Да мало ли там работы — хоть задавись работой!

— Избу и какую всякую мурью — продадим! Денежки, значит, за голенище, да и айда в белый свет! — кричал он на весь лес и размахивал руками, попутно закобенивая картуз с оборванным козырем на самое ухо. — Вынырнем, нас не уто-о-пиши...

Силашка глядел в отцову бороду и живо соглашался. Леса, барки, беляны, белый свет... А как услышал, что и у него будет маленький топорик, даже взвизгнул и дрыгнулся ногами.

Тут они заговорили наперебой, всяк свое. Силашка тоже кобенил свой картузишко, как тятъка, и взмахивал рукой, и говорил, что ехать, так надо скорей, только бы мамку не забыть... Кнут мочальный и зеленое стеклышко на божнице он возьмет с собой. Через это стеклышко, ежели на солнце глядеть, — солнце желтое, а небо черное. А бабки, что в плетушке на полатях, он продаст. И свинчатку-налиток продасть, только олово из гузышка выковыряет, — пригодится!

Лесное эхо встревало в их разговор и поддакивало. А впереди увязалась вороватая сорока, дорогу показывала, — так и стрекочет, подлая, так и стрижет, так и хорчит, поскакивая боком и взлетая по сажонкам.

Празднично выряженный дятел на посинелой гиблой сухостоине вдруг звонко зацефкал, будто его ущемили. Вот он проворно взвинтился еще повыше, глянул по сторонам, уперся на хвостик и часто-часто застукал носом в полое место...

И. Касаткин.

1. Силашка на пути из деревни в город (сборы; как относился к новым впечатлениям — природа и люди; укажите характерные черты).

2. Чем поразил город Силашку?

3. Как Силашка прокараулил Сивко?

4. Сравните отношение к пропаже коня у отца Силашки и у Антона Горемыки.

5. Что заставляет отца Силашки покинуть деревню?

1. Отметьте звукоподражательные глаголы и другие части речи (тиликает, тюнь-тинь и др.); необычные, свежие, новые слова, картические обороты речи.

Темы: 1) Первый раз в городе.

2) На базаре.

3) Наш город.

В город.

Дальше, дальше от равнин,
От убогих деревушек,
Пощатнувшихся избушек,
От кручин
Путь один:
Только в город-исполин.

Только в городе возможны
И движенье, и борьба,
А равнинны безнадежны —
Такова равнин судьба.

Дальше, дальше от равнин,
В царство фабрик и машин,
В город шумный и суровый,
Где зачатки жизни новой!

Ив. Логинов.

Задания к пов. Шмелева „В новую жизнь“ (Госиздат).

1. Дайте заглавие каждой главе рассказа.
2. Как расстроилось хозяйство Николая?
3. Почему дед и внук простились с „холмиком“ (какой смысл имело их прощание)?
4. Каковы первые впечатления Сени от большого города (Москвы)?
5. Какова была жизнь мальчиков (Васи и Сени) у медника? (Ср. „Ванька Жуков“ Чехова, „Колька - сподручник“ Владимира Катаева, „Как Саша стал красноармейцем“ Кравченко, „Демка Лобан“ Рязанцева Всёв.).
6. Чем особенно горька была жизнь Васьки?
7. Охарактеризуйте Кирилла Семеновича (его отношение к мальчикам, к хозяину, Сократу Ивановичу, к науке и книгам, студентам и профессору; какую роль он сыграл в жизни Васи и других лиц?)
8. Представьте себе жизнь медника Ивана Максимовича (его прошлое, настоящее, возможное будущее).
9. Какие новые стороны жизни большого города постепенно открылись Сени?
10. Какие „тайны“ постиг Сеня в лаборатории, на лекции и в имении проф. Фрязина?
11. Забыл ли Сеня родную Хворовку?
12. Как он думал послужить ей своей наукой?
13. Узнайте от ваших преподавателей о жизни и работе на пользу деревни проф. К. А. Тимирязева, выведенного в повести в лице проф. Фрязина.

Тема: Жизнь Сени, его удачи и неудачи в работе на пользу деревни.

В о р ж и.

Тропой проторенной идешь.
А где — и сам не знаешь.
Ты это что-ж, товарищ рожь,—
Меня перерастаешь?
Сквозь строй стеблей не раз-
глядишь:
Туда шагаю, что-ли?
Безветренно.
Ложится тиши
На сердце и на поле.
Ведь заплутался. А средь нив
Вот здесь когда-то рос я...

С приветом головы склонив,
Задумались колосья,
Глазенки зерен на меня
Таращат изумленно,
И васильковая родня
В тиши застыла сонно.
Глядите шире! Ничего!..
Я послан ком'ячейкой...
Не узнаете своего?
Я — шеф.
Везу вам жнейку...
Ведь серп не скоро вас возьмет.

Погнешь порядком спину.
Вот и послал меня завод
Вам передать машину.
Растите, нивы! В городах
Так, как и вы, бурливо
Растут и ширят свой размах
Другие наши нивы.
И мы растем — к плечу плечо!
Кругом —
Так много воли!...

Ложится радость горячо
На сердце и на поле.
Вспотело солнце. Будет дождь.
Вон, — туча виснет краем...
Так, значит, что-ж, товарищ
рожь, —
Мы нынче
С урожаем?!

Ал. Жаров.

На заводе.

С тех пор, как Ваньке крикнули в первый раз: „берегись“, и он отскочил от колеса, с тех пор, как грохот завода в первый раз охватил его со всех сторон и покатился над его головой, ощущение страха и какой-то „жуткости“ уже не прекращалось. Гигантская телега все катилась, ворочая тяжелыми колесами, громыхая и угрожая со всех сторон.

— Берегись! — кричали Ваньке в мастерских, где ремни грозили захватить его своим вращением, — берегись, берегись, берегись!.. — Тачки с железом мчались мимо, катились стопудовые валы, громадные цилинды, препровождаемые в сборную, перекатывались сердитым и гулким громом. — Берегись!

Яркая, жгучая окалина сыпалась из-под молотов в кузнице, в кричной на железных шестах носили раскаленные докрасна „крицы“, переливавшие пламенем и трещавшие, будто от ярости, от страшного жара. Из-под прокатных валов тянулась горячая сталь, и всюду Ваньке кричали: „берегись“, и всюду он чувствовал себя на дюйм от опасности и гибели; в лучшем случае ему приходилось жмуриться от предстоящих подзатыльников.

Даже ночью, в сторожевской, он всхлипывал по временам и нервно вздрогивал, а чуть брезжило утро, резкий свисток опять кричал ему: „берегись“, и мальчик быстро вскакивал на ноги, предупреждая неласковое прикосновение суроюй руки шорника.

Оба мальчика поступили к шорнику в науку. Наука была нехитрая: нужно было заготовлять тонкие ремешки и сшивать ременные полосы. Каждые полчаса откуда-нибудь кричали „шорни-и-к!“, и старик кидался по лестнице вниз, чтобы связать разорванный привод. В свободные промежутки он чинил старые сапоги, бродни и бабы „чирки“, что давало ему сторонние доходы. Этой премудрости он начал обучать и своих новых учеников.

Впрочем, у мальчишек, кроме шорника, было немало непосредственного начальства: в сущности, весь завод заявлял на них права, и, как шорник ни ворчал и ни ругался, — все же их то и дело посыпали в разные концы завода с самыми разнообразными поручениями.

Сенька быстрее ориентировался в суетливой обстановке. Он сначала присмотрелся к наиболее опасным местам, изучил характер машин, запомнил, где выдвигаются поршни, где можно получить удар какого-нибудь рычага, каких-нибудь железных пальцев, шнырял незаметно и быстро под руками особенно сердитых рабочих. В несколько недель он усвоил уже и общий ход всего грохочущего и вечно подвижного чудовища — завода и сделал попытку приладиться к нему с наибольшим удобством.

В большой комнате, где работал шорник, в углу лежали кучи железной ломи и всякого мусора. У окна, освещавшего эту комнату, шорник приладил свою незатейливую мастерскую. Дальняя половина тонула в вечном сумраке, падавшем от потемневших и закоптелых стен. Когда дверь была заперта, в комнате становилось сравнительно тихо. Гул и грохот завода скрадывали сумрачные стены, и только окна вздрагивали по временам и жалобно звенели от тяжелых ударов парового молота.

Однажды, когда шорник вышел, Сенька прокользнул за мусорную кучу и прилег там в уютном углу. Заслышав шаги по лестнице, мальчишка тотчас же выскочил оттуда, но угол ему понравился. Он натаскал туда сена и устроил гнездо. Понемногу он стал смелее, и когда шорник возвращался на место, он продолжал лежать еще некоторое время. Затем, тихо прокравшись к двери, вбегал в комнату, будто возвращаясь откуда-нибудь с „посылки“. Ванька только дивился смелости своего друга.

Однажды шорника позвали к главному приводу. Он собрал целую вязанку тонких ремешков, взял нож, широкую полосу ремня и удалился. Сенька тотчас же юркнул в гнездо.

— Ванько, а Ваны!.. — окликнул он выглядывая оттуда, как заяц из своей ямки. — Подь сюда, а-ты!.. Право.

Ванька испуганно оглянулся. Предложение было заманчиво и страшно. По случаю большого заказа завод работал усиленно, и на мальчишках это обстоятельство отражалось тем, что их глаза подвелись синими кругами и потускнели, ноги ныли от постоянной беготни, а подзатыльники сыпались на них еще чаще.

Ванька робко подошел к мусорной куче. Сенька лежал там, будто на перине. Его совсем не было видно, места было более чем достаточно на обоих. Ванька поддался соблазну. Через несколько минут в ушах Ваньки грохот завода стал будто стихать, стущевываться и, наконец, совсем

смолк, только ноющее чувство страха и грозящей беды не перестало носиться над головой уснувшего ребенка.

Характер у шорника был суровый. Сидя в своей мрачной комнате на „седухе“, он не знал никогда „спокою“, ежеминутно ожидая призывы к приводам. Такая собачья должность естественно располагала к некоторой ожесточенности нрава, и поэтому шорник вечно ворчал что-то про себя, ругая и людей, и завод, и ремни, и даже скотину, из которой ремни были приготовлены. Этой же строгостью были отмечены и отношения шорника к ученикам. Он понимал, что мальчишки отданы ему в „науку“, и имел довольно высокое представление о своем долге по отношению к ним, но осуществлял этот долг по своему; задавал ворча работу, ворчанием же выражал свое удовольствие, если работа исполнялась хорошо, — неудовольствие же и наставление преподавал в форме трепки и подзатыльников.

Вернувшись от главного привода он заворчал, что мальчишек опять услали. „Не собаки тоже... и опять же надо к делу обучать, а заместо того, все на побегушках. Сказать Дормидону... Ей-богу баловство!“ Он сердито поправил ногой седуху, сердито приладил широкую полосу ремня и ожесточенно воткнул в нее трехгренное шило. Вдруг его серое лицо вытянулось, брови приподнялись от удивления. Из угла послышался долгий вздох сладкого сна.

Прислушавшись еще, шорник подошел к мусорной куче взглянул на нее и остановился, пораженный изумлением: мальчики спали обнявшись. Ванька свернулся при этом калачиком и спрятал голову на груди Сеньки. Последний одной рукой охватил приятеля, другую широко откинул и весь развалился. Эта возмутительная поза, казалось, была рассчитана нарочно, чтобы возбудить в шорнике сильнейшее негодование, так эта мирная беспечность противоречила сердитой озабоченности гремящего и пыхтящего завода.

Завод имел свои неписанные, но непреложные законы. Как за свистком следовало начало работы, с такой же неизменностью за проступком мальчишкой должна была последовать трепка. Данный проступок выходил из ряда; он поразил шорника своей неожиданностью и громадностью вины. Вечно гремящий завод не знал, пожалуй, ничего, что больше нарушало бы его уставы, чем этот мирный сон в тихом углу двух забывшихся мальчишек. Если бы они сами не спали в эту минуту, они бы слышали укоризненный рев старого завода, призывающий на них примерную кару.

Шорник был человек систематический. Очнувшись от удивления, он приотворил дверь и, перешагнув через перила лестницы, поманил к себе рабочего из кочегарной. Тот вошел в комнату, взглянул по молчаливому указанию шорника на мальчишку и осклабился с довольным видом. Среди надоев-

ших будней ему предстояло некоторое развлечение. То, в чем суровый шорник видел свой долг, для рабочего являлось своего рода удовольствием.

Шорник выбрал средней длины круглый ремень, протянул его в руке и взмахнул в воздухе. Ремень оказался подходящим — размашистым и хлестким. Рабочий, сверкая белыми зубами, подошел к мирно спавшим мальчишкам. План шорника состоял в том, чтобы поднять обоих за уши, а затем, поочередно, наказать ремнем, для чего и нужен был помощник.

Первая часть плана была исполнена с успехом. Оба преступника в одно мгновение почувствовали странное ощущение и наполовину повисли в воздухе. Шорник поднял их за уши в известной симметрии, повернул к себе и взглянул в лица мальчишек своим суровым, бесстрастным взглядом. На детских лицах виднелось недоумелое выражение испуга и боли. Несколько раз хлопнув сонными глазами, они, казалось, стали приходить к пониманию действительности. Завод ревел и бесновался, шорник глядел неумолимым судьей, белые зубы кочегара сверкали равнодушным весельем.

— Дяинька, дяинька-а-а... — пискнул Ванька, тяжело повиснувший в левой руке шорника, между тем как Сенька барабанялся с молчаливым ожесточением. Он не просил пощады. Он знал характер старого завода, знал, что спать не полагается, знал, что вечно чинить ремни и бегать по приводам невесело, — и сумма этих знаний сложилась в представление о неизбежности жестокой трепки. И только его шустрое тельце инстинктивно барабанялось, протестуя против неестественного и неудобного положения.

Шорник развел головы мальчишек и стукнул их одну об другую раз, другой... Каждый раз мальчишки щурились, и потом на их лицах появлялось выражение надежды, что это последний удар. Радостное значение этой надежды умаялось, впрочем, видом упругого ремня, который болтался под мышкой у шорника. В третий раз мальчишки закрыли глаза в ожидании удара, и сердчишки их замерли. Но удар не последовал.

В комнате произошло что-то странное. Несколько секунд тревожного ожидания, заминка, какие-то голоса. Мальчишки открыли глаза и сначала не могли понять, что перед ними происходит. Какая-то незнакомая барышня стояла рядом с шорником, тряслась его за плечо и что-то говорила быстро, взволнованно, прерывающимся и захлебывающимся голосом. Шорник оглядывался на нее с недоумением и даже испугом. Кочегар отошел к стенке с виноватым и сконфуженным видом, как будто стыдясь за свою темную и задымяленную особу, в дверях, раскрывая свою неизменную табакерку, стоял Дормидон, искоса поглядывающий на всю сцену.

Шорник отпустил уши мальчишке, но тотчас же, все оглядываясь на незнакомую барышню, прихватил их за шиворот. Сенька быстрым взглядом окинул всю обстановку и сразу сообразил некоторую выгодность нового положения. Ему бросилась также в глаза необычайная наружность барышни: ее волосы были острижены и вились кудрями, как у мальчишки. Глаза горели, лицо было искажено женским гневом, который вот-вот разразится слезами.

— Отпусти, отпусти совсем! — вскрикивала она, злобно тормошила шорника за плечо. — Слышишь, отпусти...

Шорник отвел плечо и поглядел на Дормидона, как бы спрашивая у него, что ему делать. Дормидон малодушно опустил глаза в табакерку. Повидимому, он сам не сообразил еще, как быть в этих обстоятельствах. Он взял дочь, приехавшую из Петербурга, по ее настоянию, на завод, не предвидя последствий, и теперь предоставлял шорнику его собственной находчивости.

— Нельзя мне, барышня, чтобы отпустить... Потому я их учу, — сказал шорник вразумительно.

— Учит, он учит! — с негодованием воскликнула барышня, в свою очередь поворачиваясь к отцу.

Дормидон еще пристальнее уставился в табакерку.

— Так точно, — отвечал шорник: — потому они сиротки.

— Что он говорит, что он говорит, этот ужасный человек, — спрашивала барышня, странно мигая широко раскрытыми глазами. Видимо, она не могла понять причинную связь между сиротством и трепкой.

— Сиротки-с, — наставительно пояснил барышне шорник: — то-есть без отца-матери, вот что...

— Он с ума сошел! Папа, папка, да что ж это ты? Да как же ты допускаешь сумашедшего тиранить ребят?

— Кажись, в своем разуме еще... — осветил шорник том угрюмой обиды.

— Как же ты не понимаешь, что сирот надо жалеть.

— То-то жалеть, и я говорю. Кто ж их теперича без отца-матери выучит. Вы, барышня, вот что: вы не мешайте.

— Папа! Да что он говорит! Господи! Какой невозможный человек!

Губы у барышни дрогнули; она взглянула на отца, и по ее лицу протянулась складка, как у ребенка, готового заплакать. Шорник в свою очередь был глубоко уязвлен названием „невозможного человека“, — названием, значения которого он не мог понять, и потому считал его особенно обидным. Он тоже взглянул на Дормидона и выпустил мальчишке, как бы умывая руки.

Ба „шия тотчас же закрыла мальчишке собою и нервным голосом опять накинулась на шорника:

— За уши... подымать... Ты не знаешь: ведь у них могли разойтись позвонки... шейный нерв... мгновенная смерть... Понимаешь ты?.. Ведь это убийство...

Шорник понял из этой речи только то, что теперь его обвиняют в убийстве.

— Слава тебе господи! Никогда душегубом не бывал, а теперь вот на старости лет в убивцы пожалован. Славно! Да вы знаете ли, барышня, что они, паскудники, сделали?

— Что, ну, что, говори: что они сделали такое?

— Спали они, вот что!

Барышня всплеснула руками.

— Спали! Бедные дети! И в этом вся их вина! В детском возрасте это естественно!.. Они устали. Смотрите, какие у них глаза. Папа, да что же это у тебя делается? Ты добрый, добрый, я знаю... Пойми же: все это надо изменить, все до основания...

— Успокойся, Миля! — сказал Дормидон.

Теперь он закрыл уж свою табакерку и смотрел на дочь и на шорника каким-то особенным вдумчивым и умным взглядом.

— Шорни-и-ик! — раздался вдруг снизу призывной окрик. Шорник угрюмо потупился, как человек, претерпевший напрасную обиду, и, собрав свои ремни, двинулся к дверям.

— Пойдем, Миля! — позвал Дормидон.

— Не смей бить их, не смей, не смей!.. — крикнула барышня в догонку шорнику и затем погладила головы ребят. — Не бойтесь, детки. Он не будет. Хорошо, хорошо, иду... А все же этого не должно быть. Я придумаю.

Мальчики остались одни. Последним вышел, отделившись от стены, кочегар. Уходя, он на секунду остановился, посмотрел на мальчишеч и покачал головой. „И что только теперь с вами будет, я уж и не знаю“, — казалось, хотел он сказать.

— А что слыши... — заговорил первый Сенька...

— Чего? — откликнулся Ванька механически.

— Как же теперича! Будет нас шорник драть, ай уж нет?

— Не знаю... — произнес Ванька задумчиво... — Какая она!.. добавил он, помолчав.

— Ты про барышню-то. Дочка она Дормидону приходится... Я чай, не станет драть-то. Потому барышня не велела...

И Сенька просиял. Однако, тотчас же оба мальчика притихли: по лестнице опять тяжело подымался шорник.

— Слыши, пострелята — заговорил он обычным несколько суровым голосом, но без сердца — Ступай на господский двор, барышня требует... Ну, чего смотрите, — продолжал он, усаживаясь на свою седуху. — Не бойтесь,

чай не съедят там... Виши, и учить не дает... Ступай, ребята, ступай!. Может, еще через это свое счастье получите.

И затем шорник стал прорыгать ремень шилом и вдевать подошву. Мальчишки замялись и смотрели на шорника с чувством, близким к угрызению совести. Он не только не намерен был доканчивать экзекцию, но сам принялся за ту работу, которую они не докончили.

Было что-то жалко-угрюмое в этой серой фигуре. Шорник знал, что на него вечно, до конца жизни, все так же будут глядеть эти мрачные стены, эти тусклые окна. Поэтому, передав мальчишкам приказ, он перестал обращать на них внимание, относясь к их дальнейшей судьбе с задумчивым и угрюмым равнодушием.

— Видишь вот... Больно горяча... — ворчал он сквозь зубы, в которых держал конец ремня.— А мне все одно, мальчишки нужны. Других взять, только и всего. Скажу вот Дормидону, потому без мальчишек мне невозможно. Учить уж не смей... Нас, небось, не учили?.. Ну-с...

Он качал головой и улыбался, при чем его жидкые усы шевелились, а губы как-то странно-искривлялись. И долго в темной комнате слышалось одинокое ворчание серого, угрюмого шорника.

В. Короленко.

- 1) О чём говорил и как настраивал заводских подростков крик „берегись“?
- 2) Куда и почему прятались они от „чудовища — завода“?
- 3) Как относился шорник к мальчикам?
- 4) Почему шорник считал „громадной виной“ поступок мальчиков?
- 5) В чём выражалась „наука“ шорника в отношении Вани и Сени?
- 6) Изменит ли шорник свою „науку“?
- 7) Как он смотрел на свое будущее?
- 8) Как вы представляете себе будущее „счастье“ мальчиков?

Тема:

Жизнь фабричного подростка прежде и теперь

ТРИНАДЦАТЬ.

І.

Ваньке тринадцать, и сказываются тринадцать во всем. Словно тринадцать крохотных бесов прыгают они на Ванькиных радостях и тихо жмутся при его грусти. И сам Ванька, маленький, щуплый, похожий на облезлого котенка, кажется жертвой своих тринадцати. Это не он радостно шмыгает по

отделениям, визжит и пожимает руку каждому встречному когда от их фабрики в Московский Совет проходит коммунист, и не он в исступлении свистит и тоненьким голосом кричит „долой“, когда какой-нибудь меньшевик пытается „околпачить“ его товарищей.

Это — тринадцать.

Сам же Ванька тих и скромен, скромен и робок.

И когда, случается, сгущается над фабрикой гроза закрытия, всем нутришком своим чует Ванька, как тревожатся его тринадцать и от этого выступают серые ложбинки на покатом детском лобике, и уж не звенят в коридорах бубенчики его гортани. Тихой тенью бродит синяя промасленная блуза и не знает, куда податься.

К директору трусит Ванька, хоть и знает, что директор красный, свой директор рабочий и коммунист.

Угнетает этой-то обстановка в кабинете. Веет от нее великой строгостью и кажется, что вот-вот раздавят Ваньку, маленького, надвигающиеся стены, а на стенах: „говорите кратко“, „время деньги“ и еще много картонок понаклеено, и сам старый Ленин, Владимир Ильич, дорогой и близкий, промеж них, улыбаясь, опрашивает:

— Ванька, зачем пришел? Такой, сякой, не мешай директору.

И надо, значит, по коридору во двор, и через двор в ремонтную, рядом во флигель, где на маленькой двери прописью скромно:

ЗДЕСЬ ПОМЕЩАЕТСЯ
ЯЧЕЙКА РКСМ.

Ваньке тринадцать, а в уставе четырнадцать. Так и сказано: членом союза может быть каждый рабочий подросток в возрасте от четырнадцати.

А покамест можно с совещательным. Ах, как не хочется быть совещательным, больно обидно: Гришка-то ведь член решающий, в одном классе и в одной мастерской... Федька, Сенька, Васька, Стенька, Ванька Длинный, тоже, — чем они?..

Вся беда в тринадцати.

И когда, бывает, на собрании выносят резолюцию и целый лес рук вырастает над белокурым мхом голов, так и хочется поднять руку заодно со всеми, а боязно — вон кажется, каждый смотрит и говорит: „Ванька, не забудь устав“.

Вечером в большущем клубе собирается вечеровать фабрика. Взрослые в читальне за газетой, молодежь — кто во что.

Первым делом девки к Маслову в библиотеку.

— Дайте романчик.

— Это что еще за новость?

Стихнут, спрячутся за Маньку Шуструю. А Манька Шустрая дерзко и кокетливо.

— Романчик, ну, чтоб интереснее, где про любовь пишут...

— Что ты, дура, знаешь, ведь это не для нас — для гимназисток пишут...

— А чем наш брат хуже гимназистки?

— Ну, отчаливай.

Манька резко руку за пазуху, и в руке у Маньки книжка, на книжке:

„КЛЮЧИ СЧАСТЬЯ“

Роман Вербицкой.

— А это видели?

И шмыг в залу, а за ней хвостиком остальные.

В зале полутемь. Из вереницы карточек, возваний и плакатов выделяется только „Свод законов о труде“, а под „Сводом“ группа ребят слушают Митрия — первого члена „Бюра“. Митрий говорит о боже. И похоже, будто в голове у Митрия динамо, из динамо — тонкие невидимые ремешки в пятнадцать головенок. Ворочаются мозговые механизмы.

Манька взвизгнула:

— Ах, Ванька, Ванька тут...

И запела:

Ванька-Ванюшка
Ростом с понюшку.
Все комсомольцы,
Все народовольцы,
Один беспартийник,
Один безбилетник,
Скажи, шпингалет,
Где твой билет?

Ванька вздрогнул, и ремешок порвался.

Митрий мягко:

— Ну, чего мешаешь? Слушай лучше, о чем говорят.

— А чего говорят-то? Ерунду разводите... А брата ты не защищай, он сам-за себя постоит.

Федька шепнул:

— Ванька, дай-ка ей раза...

Ну ее...

И злоба шевельнулась в Ваньке.

Манька с девками подались к парням, обложили плотным кольцом.

— Расскажи, Митрий, из „Огней революции“.

Белым облачком рассеивалась злоба. Черный ком расшевелился, полыхнул язык из-под нагретых губ:

— Верно! даешь „Огни революции“

Ночью, в темной затхлой комнате спит Ванька с братом Митрием в одной кровати. Спит Митрий сладко, крепко; широко ноздрит горячим носом, обдает вокруг дыханьем потным и горьким.

Смотрит Ванька долго на решающее лицо брата; жадно ловит перебои сердца, дышит спретым воздухом и потихоньку:

— Митрий, а Митрий...

— Чего?

— Я... обсчет ячейки...

— Ну, чего? Опять со школой, верно? Завтра, завтра...

— Нет, я не об этом...

— Все равно завтра, спать надо...

— Почему это так — с четырнадцати?

— Что, с четырнадцати?

— В уставе...

— В каком уставе?

— В рекесемовском...

— В рекесемовском потому, чтоб шпингалеты, как ты, в союз не лезли. Понял?

— Понял. Только, Митрий... чем я хуже других?

Голос у Митрия злой и брюзгливый:

— Нельзя... Знаешь, ведь, что нельзя, а тоже лезет... Заправил и никаких... Спи вот лучше, нечего арапа заливать...

Корчатся мысли, дерзкие, злые. Тяжело башке и даже грудь сдавило...

— Ладно, Митрий, ладно, а еще активист.

Поздней ночью воет по округе ветер; пляшет словно бесшабашный комсомолец. И похоже, будто собирает ветер на собрание звезды. Эх, а, звезды, звезды-то комсомолочкими из-за туч по небу сыплют:

— Что скажешь, товарищ ветер?

Ходит ветер взад и вперед ходит, машет руками блузы, и треплется, треплется активистом.

Долго, бурно говорит ветер, и мигают звезды разными оттенками, кто согласен, кто несогласен, и кончается собрание под утром.

И когда уже нет ветра и нет звезд, и густой туман заволакивает аудиторию неба, черный кожаный Петро держает тоненький нерв фабрики, и орет фабрика во всю фабричную глотку!

— У... у-у-у...

Медленно подымается в доме мать. Слышно, как возится она за перегородкой, сводится рот от сладкой зевоты:

— Ох, ох, ох... грехи наши тяжкие...

Белые ползут по стенкам тени. Светлыми барабанами карабкаются по карнизам. Путаются в бороде у Маркса

И уже знает Ванька, что сейчас проснется отец и скажет мягко: „Мать, а мать, самоварчик бы“, а потом громче: „Эй, Комсомол, слыши, старуха-то по нас убивается“. И кажется Ваньке, будто нарочно это отец про Комсомол: знает, ведь, что безбилетный Ванька.

Утром урчит самовар, как старый резец по железу, утром на стеклах окон соки ушедшей ночи. Отец и Митрий пьют и смотрят в сизую муть. Толкуют о работе. Мать приглядывает за Ванькой: руки жилистые в подбородок, глаза умильные, ласковые.

— Пей, пей, Ванюшка, с хлебцем, сынок. Исходил ты совсем в Рекесеме вашем..

В сердце у Ваньки кипятком обида. Ах... как противна мать с ласками, заботами, как хочется вести разговор с отцом и братом.

II

Время — большущий ливерс¹⁾ — ткет нескончаемое кружево дней. Белым и красным полем тянутся, наматываясь на вселенский вал. А тысячи живых людей катушками выматывают силы, тонкими нитями тянутся, вплетаясь в движущееся кружево жизни. Кто измотался, — вон из машины. Новые свежие катушки с щелковой розовой пряжей ждут в сырьевом отделе.

Феодор Иваныч, товарищ Родин, говорит, что движется жизнь к коммунизму. И обслуживают ливерс жизни лучшие люди рабочего класса, коммунисты. Крепкой стальной гребенкой, спаянные друг к другу, чешут они миллионы нитей, направляют их в сложнейшие узоры. А над всеми первый ткач — Владимир Ильич. Троцкий с Калининым — первые подручные.

Трудно бывает подчас катушкам, трудно стальной гребенке, трудно дельным подручным, но труднее всех главному ткачу. Движутся, ворчат колеса, в пне чавкают маховики, мерно вздрагивают провода, шелестят ремневые дороги. Носится нитяная пыль, обседает на лице и блузе, отравляет тело. Вот, вот — взвизгнет, лопнет что либо, и остановится гигантская машина. Только не дрогнет крепкая пружина лба; верно щурится прожектор-глаз; стойко держатся подручные.

Ночью в черной затхлой комнате спит Ванька вместе с братом Митрием в одной кровати.

Снится ему, будто причалил к ливерсному отделению паровоз огромной мощности. „Ух“ — рявкнул, дернул и пошел, пошел к Москва-реке, а Москва-река и не река, все — море, море социальной революции. Паровоз не

¹⁾ Главная машина на кружевной фабрике.

думая — на волны. Плещут волны через крышу, заливают нутро паровоза. Поляхает пламя топки, обжигает жадные языки моря и шипят, шипят тяжелые поленья.

А у топки кочегаром Ванька.

Пузырями, пузырями кожа, набегают белыми буграми, ложут их и разрывают волны.

„Ах... уйтить бы от собачьей топки, прыгнуть бы в седые волны, освежить бы тело“.

Только слышит Ванька.

— Что, устал, товарищ Назаренко?

Глянул — Ленин.

Пена в сердце. Бесы в пене. Эх... и пляшут...

— Нет... не устал, товарищ Ленин...

— А как думаешь, довезем до коммунизма?

— Довезем, товарищ Ленин...

— Ну, тогда валий, братец, отселе недалече...

— Есть, товарищ Ленин.

Пузырями, пузырями кожа; набегают белыми буграми, ложут их и разрывают волны.

Вдруг — стоп... остроб...

На острове лето. Струится солнце. Ластится ветерок. Цветут дома, Выходят люди.

— Здравствуйте, товарищ Ленин, а это кто с вами?

— Это комсомолец Назаренко.

— Нет, не комсомолец я, товарищ Ленин... по уставу не хватает года.

— Ах, вот как.

И вдруг вынимает Ленин новенкий комсомольский билет и подает Ваньке. Видит Ванька в нем свою фамилию, имя... Ах!..

Ванька, а Ванька...

— Что, товарищ Ленин?

Продирает сонные глаза и видит Митрия.

— Что, где... билет, билет?...

— Какой билет?

— Союзный билет...

— Чей?

— Мой...

— Откуда?

— Товарищ Ленин дал...

И вдруг понял Ванька, что снился Ленин и больше нет ничего.

С горечью рассказал Митрию.

Тронуло Митрия.

— Вижу, Ванька, будешь ты комсомольцем, что надо. Голько мы с тобой в одном положении — тебе в Комсомол, а мне в партию... Так же, как и ты, страдаю, молод — говорят...

Тихим звоном отзывались в сердце слова брата.

— Верно, верно, Митрий, нам как раз по году не хватает, давай уговор: в будущем году сразу вступать.

— Есть такое дело.

Шелестели языками до рассвета.

Снова урчит самовар, как старый резец по железу. Снова на стеклах окон соки ушедшей ночи. Отец и Митрий молча слушают Ванькин сон.

— Ох, ох, ох... — крестится мать, — ну и сны же у тебя, сынок...

Робко подкладывает Ваньке хлеба.

Ванька совсем не видит матери, не замечает отца и брата:

— И вот, стоит это он самый и говорит: «как думаешь, тов. Назаренко, довезем до куммунизма?». Довезем, говорю, товарищ Ленин.

И чего не случалось ни разу, — чувствует Ванька, вытянулась сильная рука отца, вот прикоснулись шершавые волосы, словно метелка, черная борода. Цок-цок — жгучие губы в маленький лобик.

Бурым резиновым варом набухают облака в обвернутом котле небес. Виснут над серой лоханью окраин. Вот-вот оторвутся, шлепнутся в стынущую гущу снега. Липкие — залепят здания, плотным пологом покроют землю. Потекут по дворам ручьи мутные в Москва-реку. Струйками проложат проволочные нити по шершавому нетвердому льду. Брызнет огненным басоном¹⁾ солнце. Будет в воздухе удушье, и на завтра тронется Москва-река, тронется безо всяких льдин, чистая, как плавленный металл, а куда — неизвестно. И потом зацветет дворик — маленький, спускающийся подбородком долу. Прорастет на щеках трава, и колючие бородавки-кустарники будут топорщиться из-под наваленного лома. И в саду, что за полверсты от фабрики, закружатся опавшие лепестки деревьев, белые и от цветочков желтые, мягкие, пухом, как у токаря по дереву в ремонтном отделении. А там лето молодой ткачихой в пестрой юбке с грудой пряжи. Эх... экскурсии пойдут!.. А старый сад взлохматится, как Карл Маркс будет кудрями и бородой потряхивать. Тронется молодежь в Совхоз к подшефу. Отдохнут шершавые руки, отойдет мозговая гуща, будут ребята в чурки, в орлянку, в кегли, в футбол и в городки играть... А там осень, осень и четырнадцать.

У фабкома на крылечке ежиком Ванька. В сердце у Ваньки ежиком радость. Мартовский воздух холодком по телу. И уже предвкушает тринадцать приход четырнадцатого. То-то праздник будет Ваньке с Митрием, придут к отцу и скажут: «Поздравляй, товарищ Алексей, себя и сыновей». Так именно и скажут. И будут в доме три

¹⁾ Басон — небольшая машина, вырабатывающая узкое кружево и тесьму.

билета, нет четыре — Митрий еще комсомольцем до двадцати трех останется.

И если будет фронт, Ванька скажет, как говорил Митрий: — „По постановлению общего собрания отправляюсь на защиту революции“.

И отец скажет „иди“, потому что он член партии, потому что у него на руках багровые мозоли. Только будет, верно, плакать и причитать мать: „Ты ведь еще совсем махонький“, и это обидит его; но нет, она не скажет этого, потому что будет он уже большой и ему будет четырнадцать лет.

На крылечке рядом две девчушки, маленькие восьмилетки, раскачиваясь, заунывно тянут неокрепшими голосами:

Любила я, страдала я...
А он, подлец, забыл меня...

Звуки льются, заливают уши, подмывают Ванькину глотку. Петушком заправил голосишко:

Вперед, заре навстречу,
Товарищи в борьбе,
Навстречу, навстречу,
Проложим путь себе.

Ветер тихо стлал на землю сумерки, а сумерки не хотели итти, и ветра обуял гнев. Сумерки шли, гонимые ветром. А с фабрики возвращались рабочие, и ветер подгонял рабочих с фабрики домой.

В холодном воздухе все еще боролись два напева: один — битый, скорбный, стелющийся низом и молящий о пощаде; другой — бьющий, рвущийся и не желающий щадить. И похоже было, будто оба звали они мартовский день, один назад к осени, другой вперед к весне.

Из ремонтной токарь Володин медленной походкой к воротам. Увидал Ваньку, подмигнул и гикнул:

— Вань-коу...

Ванька к токарю вприпрыжку, взялся об руку и заласкался.

— Дядя Вань, вступаю...

У токаря хитрая улыбка, белые зубы плитками.

— Уж больно долго...

— Нет, теперь с Митрием вместе...

— Как же с Митрием, ежели он активный член?

— Нет, мы уговаривались в будущем где: он в партию, а я в Комсомол — обоим нам по году не хватает.

— Вот как, уговор, значит?

— Да, и в один день даже, а главное, дядя Вань, не так обидно иное: не один я, значит, такой...

— Ах ты, сосунок, разве от этого легче?

Замутился, закраснелся Ванька, а потом:

— Известно легче...

Жесткие, большие пальцы, теплые-претеплые, чешут
Ваньки за ухом, забираются дальше, в шею, щиплют
щеки.

— Эх, Ванька... и чёго тебя в Комсомол тянет, разве
только с того, что все комсомольцы?

Мысли у Ваньки тонкими стружками и на лбу собрались
проводами даже.

— Нет, дядя Вань, не с того... а может быть, и не знаю,
не могу до точности сказать, а главное оратор сказывал:
Комсомол, грит, — мозг молодёжный... Хочется, дядя Вань,
в мозгах быть...

Барабанным боем бьется у Ваньки сердце, дух захваты-
вает, а большие теплые пальцы забираются все дальше
и дальше, и большой мохнатой кошкой лежится, ласкится
к Ваньке вечер.

III.

Воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг, пят-
ница, суббота и опять воскресенье, опять понедельник —
тянется, тянется кружево дней.

Вот закружили яркие, пестрые — это праздник комсомоль-
ского рождества. Вышли встречать карнавалом: Ванька —
чортом, маленьkim, черненьkim, Федька — дьяконом, Мишка —
ксендзом, Митрий — ведьмой, кто — во что.

Прыгали в визге, пыркали звоном, пели, плясали.

Утром пошли в район. Встретились. Слились. Ливнем
по улицам, по тротуарам. А вечером — вечер. Девки и парни,
взрослые, старые, — ни в бога, ни в чорта.

Укатили праздники, подкатила кампания. Называлась
кампания флотской, приходил товарищ с портфелем, собирая
на общем собрании ячейку, собирала ячейка фабричную
молодежь. Говорил товарищ о шефстве. Приходил потом
моряк с золотым зубом, говорил о текущем моменте во флоте.
Вырешили оказать помощь людьми и средствами.

Из людей помогли Сенькой. Качали Сеньку в ячейке,
качали в районе, качали на Красной площади. И от этого
ходил Сенька ровно приводной ремень. Приставали к нему
дивчата, разглядывали матросскую одежду, распевали флот-
ские частушки:

Эх, яблочко, куда котишся?
Эх, мамочка, замуж хочется...
Ни за Ленина, да ни за Троцкого,
За матросика, за Балтфлотского.

Поглядывали на него старые рабочие, ухмылялись.

— „Во где спасение флоту“.

Провожали Сеньку до вокзала: наставляли его: „не будь
клоуном“, обещали подарков, просили писем. Волновался

Сенька, и не было в нем прежней гордости. Обещал не „проментировать“ ячейку.

Прощай, Москва, с комсомольцами,
Пошли во флот добровольцами.

И когда проходила пьянка радости, снова думал Ванька, скоро ли приchalит осень и его билет.

В ремонтной на видном месте выклеил старый Петро.

Правительственное сообщение.

В связи с значительным ухудшением болезни, с сего числа выпускается бюллетень о здоровье В. И. Ленина.

У видного места с раннего утра толпятся люди. Читают и расходятся молча. Морщатся лбы, ежатся плечи, стынут глаза в подземельях век.

— Плохо с Владимиром Ильичем...

— Плохо...

А ячейке РКСМ читает секретарь

Циркулярное письмо.

О 25-летнем юбилее РКП (большевиков)

Лучшим подарком для партии от Комсомола безусловно будет передача в партию отборных ребят из рабочих ячеек.

Секретарь М. К.

В этот день не клеилась на фабрике работа. У работниц рвались нитки на басонах, и проворные руки неумело боролись с цепкими стальными пауками. У ткачей неправильно шел узор, останавливались машины, и прозорливые опытные очи не могли сразу нашупать причину порчи.

В ремонтной, в пуговичной, в барабанной—тоже, и даже старый кузнец, весь лохматый и заросший, никогда ни с кем не говоривший, кроме своих инструментов, обжег длинную седую бороду, после чего сказал Ваньке (заменил Ванька дедова подручного):

— Эх, нейдет чтой-то...

И потом, насупив брови и прикрыв огонь:

— Слушай, юнец, хоть ты и комсомолец, и во всем, как и в работе, ни черта не смыслишь, однache, спрошу тебя, потому негоже мне, старому, взрослых коммунистов об этом спрашивать. Не люблю я их—не настоящие они коммунисты, только смотрят свой карман, а хозяйствского глаза ни-ни...

Ванька Щуплый пот рукой и нос рукой. Выпрямился и заерзал глазами по старику.

— Я, Антипыч, охотно...

— Охотно, это я и так знаю, что охотно — побалакать, лишь бы не работать; знаю вас... А вот ты скажи мне...

Голос его задрожал.

— Что, это верно, что Ильич того... плохо...

— Верно, Антипыч...

Старик тихо на железный пень, три больших креста на грудь, и шопотом:

— Не приведи, господы!..

Ванька неуверенно:

— Что, никак за Ильича, старик?..

Губы старика шамкнули:

— А то за кого же?..

Радость полыхнула Ваньке в мозг. Звончально, задорно крикнул:

— Ведь, коммунист он!..

Дед встал, выпрямился в богатырский рост и пробурчал:

— Давай работать, неча трепатню...

И поперхнулся. И когда снова пылал огонь, пыхтели меха и шипело железо, дед медленно и некотя под тон железу:

— Што-ж с того, что коммунист, всякие бывают коммунисты. Были бы вот все как он, и коммунизма не надо бы, а то только что название одно...

А в басонной и ремонтной собирались группами и толковали. И никто не просил расходиться. Молодежь даже во двор вышла. Манька Шустрая глаза в землю, смирина, как курица.

— Ребятки, где бы нам секретаря сыскать?

— В Райком ушел...

— А Митрий?..

— Тоже.

Съежились в комочек и сердца в комочек; членоками мечутся предчувствия.

А в окне Ванька. Хочется Ваньке к своим. С дрожью в хитрость:

— Я, Антипыч, сбегаю раз-раз... Все доподлинно узнаю...

— Што ж, иди...

Зазвенел, забрызгался звоночек в фабзавуче. Высыпали фабзайчата. Длинный Петька впереди крикнул:

— Што ж это вы, ребята, носы опустимши?

Манька злобно:

— Не знаешь разве?

Длинный Петька в вид ораторский:

— Знаю, ну и что же... польза-то какая в отчайванье этом?.. Тут помошь нужна, врачи нужны, потому никакой бог над нами не сжалится; а врачей и без нас дадут. Наше же дело, ребятки, вот в чем: получился ноне циркуляр в ячейке об юбилее партии. Надо в партию подарочек получше флотского заправить — вот вам, чорт вас ешь, и помошь Ильичу... Потому работничков в партии мало — заработался Ильич...

Отлегло немного у ребят — будто Длинный Петька длинным дулом дунул в сердце и прочистил и раздвинул сжавшиеся стенки. Заискарились, зацвели глаза из-под открытых век.

Ванька Шуплый бойко:

— Братцы, кого ж передать-то?
— Ясное дело, не тебя, шпингалета...

Ой, как укололо Ваньку в грудь, как вдарило в мозг, в глотке чай-то пересохло, посвежели белки в глазах. Замешался и прошептал:

— Нет... Я не про себя, конечно...
— А не про себя, так и не суйся...

Стушевался Ванька, а хотелось ему первым делом въехать в морду кулачишком Маньке и потом сказать всем громко: „знаете ли вы все, ежели хотите знать, что вот Митрий, которого вы наверно выберете, до самых тех пор не пойдет в партию, покуда меня в Комсомол не примете, потому такой у нас уговор был, обоим нам по году не хватает“. Но не сказал — пусть лучше сам заявит Митрий на собрании.

А Манька Шустрая сосредоточенно:

— Кого ж нам в самом деле выставить?..

Степка задумчиво:

— Думаю, ребятки, что это дело „Бюра“: кого предложит, того и выставим, потому...

Длинный Петька оборвал, кривляясь:

— Потому, потому — балда ты... Во что, коли хочешь знать. Кой к чорту комсомолец, ежли все у него Бюро, а самодеятельности ни на грош...

— А Бюро на что ж, по твоему, в курьерах бегать?

Манька примиряюще:

— Бросьте, ребятки, из-за пустяков... Конечно, обсудить надо...

Степка, чуя поражение, вздыбился и руки в кулаки.

— Ну, и пусть обсудить, а вот теперь, какая я балда, скажи... Какая я балда?

Жжжак Длинного под правый бок.

— Вот, какая я балда... Видал балду?.. — кричал и пенился.

Петьку Длинного перекосило:

— Постой же, я те вылушу суконную харю... Вот, вот, вот тебе, фашицкое отродье...

Завязалась драка. Помаленьку в драку — все. Ванька с радостью на Маньку: норовил фонарь под глаз, да мимо — не достать Ваньке проклятого глаза; в ярости под грудь начал.

Из ремонтной беспартийные рабочие, из басонного работницы:

Ай, ай, поглядите-ка, что делается. Чем Комсомол занимается...

По двору мастер. Увидел и крикнул:

— А ну, расходись! После шаломыжить будете...

И когда расходились, радовался Ванька: чуял, близится заветное желанье, близко, близко. Вот так штука будет на порогу Маньке.

А на завтра собирались комсомольцы в клубе. Секретарь партийный Пал Мироныч — о партии, о Ленине, о комсомольцах. Мол, нужны сейчас помощники Владимиру Ильичу — умаялся больно. А помощников готовит Комсомол — вот и вышло время на помощников.

Все ясно, все понятно Ваньке, только что ежели вдруг да согласится Митрий... как подденут Ваньку ребята, что скажет токарь Володин?.. Нет, не может этого быть, ведь уговаривались, и потом Мироныч скажет, что нельзя — по уставу не хватает году.

Председатель, — бойкая шальная голова, — сразу двумя звонками звякает, — одним медным, другим глоточным — свое дело знает.

— Товарищи, бюро ячейки выдвигает Солодкову Анну, 19 лет, и Назаренко Митрия, 17. Ребятки, кажется, всем известные, а свое согласие изъявили.

Голоса в ответ пчелиным гудом.

— Есть... знаем... поддерживаем... об их и думали...

Смотрит Ванька в сторону брата; видит, горят глаза по необычному.

Что ж это, Мироныч?

Ничего, Мироныч.

— Итак, считаются принятыми.

И уже не слышит Ванька, что говорят дальше, чует только — мутно, мутно в голове; кругом, кругом ребята, кругом, кругом столы и стулья...

— Ах... Что это никак дурно Ваньке?

— Ну, конечно...

Зазвенели, завизжали голоса, загудели, закричали, загордлили.

— С чего это он?

— Никак с радости, брат-то его Митрий в партию передан...

— Нет, не с радости, вишь, они сговаривались вместе поддаваться, один в партию, другой в Комсомол. Ну, с обиды, значит...

— Ах, вот как... Он еще не комсомолец разве?

— Именно, что тринадцать ему, и главное один у нас такой всего навсего, а то организовали бы пионеров...

Ночь была теплая полувесенняя. В обернутом кotle небес полоскались синие растворы краски. Колыхаясь, плавали в растворах белые светлячки пуговиц, точь в точь как в пуговичном отделении.

У ворот домишек собирались шаломыжить молодежь, а в домишке на кровати Ванька комом маленьkim, невзрачным. Молниями, молниями стружки мыслей. Вспыхивают синие дымки вопросов. И горит, горит, перегорая, масло в мозговых станочках. „Что же это... что-ж это такое... прав или неправ Митрий?“

Извивались, отрывались стружки, дерзкие, цеплялись друг за друга, огненным кольцом обкладывали голову, и сводились мысли к тому:

„Кто важнее: Ванька или Ленин?“

IV.

В ночь на двенадцатое марта в Москве, в Хамовниках зацвела большая аудитория второго университета. Зацвела старая сиренью глаз. И от этого сиреневели выцветшие глаза Начпура тов. Антонова, и был сиреневым его надтреснутый голос — говорил Антонов об юбилее партии.

И после Антонова говорила Труба, вспоминала о царском подполье. Говорили и вспоминали другие с выцветшими глазами. Воскрешали речи их сирень поблекшую в далеких тюрьмах. Гроздьями бросали ее в зале, увивали молодые головы.

И со всех концов обширной залы текли по головам, просачиваясь через мох волос, белые ручейки записок.

Были в записках приветствия Ленину, пожелания скорого выздоровления; и от написанных хорошо и плохо, складно и нескладно, одинаково пахло неистертыми мозолями, не-растраченным потом, нераспаханным мозгом.

И когда передавали в партию выделенных комсомольцев и каждый из передаваемых под напльвом чувств, душился спазмами, пробирался к столику, получал кандидатскую карточку, книжку Бухарина и юбилейный значок — в бешеной пляске рук, в гомоне криков, в звоне здравиц задыхалась аудитория, и тонул оркестр в толи ребяческих глоток.

Вихрями винтил над залой буревой восторг. Бешеным буруном бился в стены. И не было в аудитории Ванька, как не было других Ванек, Колек, Петек, Дунек и Манёк — было одно многоглазое, многоголовое чудовище, одна радость играла в груди его, одна любовь полыхала.

И когда подходил к трибуне Митрий, крикнул Ванька, что есть мочи, закрыв глаза от бешеного напряжения.

— Митрий, не осрами Комсомол... Будь честным помощником Ильичу... И кругом оглянулись на Ваньку, увидели его невзрачную фигурку, тонущую в водопаде радости. Ванька выхватил из кармана книжку, вырвал листок и начал лихорадочно марать на нем нервным почерком, потом передал соседке и прошептал:

— Пишите...

— Пишу...

— Еще раз... очень прошу передать привет... дорогому вождю плоритариата В. И. Ленину. В. Н. с фабрики Кумач имени тов. Свердлова.

И, как утлыи членок, поплыла одинокая записочка к председателю, вот-вот получил, взял, раскрыл, улыбнулся:

— Товарищи, поступило еще одно предложение послать приветствие Владимиру Ильичу. Нет возражений?..

Не было.

М. Колосов.

1. Что вы знаете о комсомольском движении?

2. Когда Р.К.С.М. присвоил себе название Ленинского и какие задачи Комсомола это название подчеркивает?

Обращаясь к 3-му съезду Р.К.С.М. (4 Октября 1920 г.), Ленин так определял значение союза и его задачи:

«Вы должны быть первыми строителями коммунистического общества, среди миллионов строителей, которыми должны быть всякий молодой человек, всякая молодая девушка... Только смотря на каждый свой шаг с точки зрения успеха этого строительства, только спрашивая себя, все ли мы сделали, чтобы быть объединенными сознательными трудящимися, Коммунистический Союз Молодежи сделает то, что он полмиллиона своих членов объединит в одну армию и возбудит общее уважение к себе».

3. Проследите все переживания Ваньки, связанные с мечтой о вступлении в комсомол.

В какие формы выливаются эти переживания у Ваньки?

4. Как могла зародиться мечта у Ваньки и что способствовало ее развитию?

5. Обрисуйте обстановку фабричной жизни, где вращался и работал Ванька.

6. Обрисуйте семейную обстановку, в которой рос Ванька.

7. Что такое фабзавуч, где учился Ванька?

8. Обрисуйте отношение к Ваньке рабочих и ребят.

9. Охарактеризуйте различные группы молодежи — девушек и мальчиков.

10. Охарактеризуйте революционное настроение молодежи и взрослых: в каких формах оно проявляется?

11. Как могли бы вы охарактеризовать общий тон всего рассказа?

В каком соответствии с общим тоном рассказа находится язык автора:

1. Как пользуется автор революционным словарем? Выпишите все революционные слова и обороты, встречающиеся в рассказе.

2. Обратите внимание на особенности образов и сравнений, к каким прибегает автор: из мира каких представлений он их заимствует?

3. Выпишите образы и сравнения, заимствованные из области партийных и комсомольских представлений.

4. Выпишите образы и сравнения, заимствованные из области фабрично-заводских представлений.

5. Как иногда переплетаются те и другие образы и сравнения? Подберите примеры из рассказа.

6. Все ли сравнения и образы кажутся вам естественными?

7. Чем интересны частушки, встречающиеся в рассказе? Не слышали ли вы или не сочиняли ли сами импровизированных частушек?

8. Для чего автор сопоставляет два напева: „Любила я, страдала я“ и „Вперед заре навстречу“?

1. Разберитесь в построении следующих предложений (словосочетаний):

„У фабкома на крылечке ежиком Ванька. В сердце у Ваньки ежиком радость. Мартовский воздух холодком по телу“...

Чем необычны эти предложения?

Попробуйте переделать эти словосочетания в обычные предложения — и сопоставьте их с авторскими: какая будет разница во впечатлении, производимом теми и другими формами словосочетаний?

Поиските в рассказе еще такие формы словосочетаний и продолжайте ту же работу.

2. Какие заглавия могли бы вы сами придумать к рассказу Колосова?

3. Сопоставьте придуманные вами заголовки с авторскими. Что интересного в заглавии „Тринадцать“?

Темы:

1. Составьте по техническому словарю рассказа описание ткацкой фабрики (внешний вид, машины, люди, продукты производства).

2. Посетите фабрику или завод и опишите жизнь и работу там.

3. Запишите рассказы рабочих об их жизни до революции.

4. Комсомол в деревне и в городе (привлечь рассказ А. Дорогойченко).

Прочтите следующие стихотворения — Жарова „Ледоход“ и „Весенний вечер“ Герасимова и сопоставьте их с рассказом Колосова в отношении использования образов из области революционных представлений.

Ледоход.

Я — делегат небесной рати
И от весеннего Цека!
Я — солнце — нынче предс-
датель
И на земле, и в облаках!
Вчера работали на поле,
Теперь с апрелем мы вдвоем
Пришел освободить на волю
Ручьево-реченский район!
Осеребренные руины
Лучами всюду запалил!
Неситесь, бронзовые льдины,

Стремясь в расплавленный
залив!
Умойтесь волнами разлива,
Пускаясь в быстрый ледоход;
Промчитесь стройно и игриво
Под флагом песен и свобод!
Дворцы зимы живей громите,
С голобя отряхивайте снег!
Товарищи! На митинг!
Первый вопрос — о весне!!!

А. Жаров.

Весенний вечер.

Вешний вечер дышет
Вишеньем с полей,
На вечерней крыше
Митинг голубей.
Воркотня и крики
У трибуны труб,
Свежей земляникой

Веет старый дуб.
С музыкой и песней,
Сбросив снежный сон
Льет река чудесней
Ледоходный звон.

М. Герасимов.

З а в я з ь.

Святое царство правды строится
В родимой стороне.
Незримой много силы кроется
В народной глубине!
Вставайте-ж, новые работники,
Рожденные в борьбе!
Поэты, пахари и плотники,
Мы вас зовем к себе!
Встань, рать подвижников суровая,
Грядущего оплот!
Расти и крепни, завязь новая,
И дай нам зрелый плод!

Демьян Бедный.

25 11

О Г Л А В Л Е Н И Е

Под властью земли.

	СТР.
1. Некрасов. — Крестьянские дети	7
2. Тургенев. — Бежин луг	12
3. Задания к пов. Неверова „Ташкент — город хлебный“ и „Поездка в Ташкент“ (рассказ Н. Степного из сборника „А. С. Неверов“, 1924)	29
4. Орешин. — На полях	37
Стихотворения П. Орешина из сборника „Ржаное солнце“.	
5. Кольцов. — Песня пахаря	37
6. Орешин. — Квасок	38
7. Кольцов. — Косарь	38
8. Толстой, Л. — Косьба	40
9. Некрасов. — Вот по распаханной черной поляне	42
10. Народная песня. — Под дубравою лен, лен	42
11. Орешин. — Урожай	44
12. Бахметьев. — Машина (рассказ)	44
Отд. изд. „Недра“ М. 1925 г.	
13. Частушки	59
14. Радимов. — Молотилка	59
Из сборника „Деревня“. М. 1924. 2 изд.	
15. Некрасов. — Несжатая полоса	59
16. Кольцов. — Крестьянская пирушка	61
17. Есенин. — Топи да болота	62
Из сборника „Радуница“. 1918.	
18. Народная сказка. — Мороз - Красный нос	62
19. Некрасов. — Мороз - Красный нос	64
20. Яковлев. — Мужик	70
Из сборника „Повольники“. 1925.	
21. Ионов. — Рядовой	78
Из сборника „Под знаменем правды“, изд. „Прибой“, М. 1925.	
22. Былина о Вольге и Микуле	79
23. Пословицы	83
24. Демьян Бедный. — Цушки и соха	84
Басни Д. Бедного в „Собрании сочинений“ в одном томе.	

10245.

Крепостная деревня.

	СТР
1. Народные песни и рассказы о Разине	87
2. Народные сказания о Тришке-Сибиряке	89
3. Народная песня о Сироте	92
4. Задания к „Дубровскому“ Пушкина	93
5. Задания к „Капитанской дочке“ Пушкина	94
6. Пушкин.— Деревня.	96
7. Задания к главе из „Мертвых душ“ Гоголя — Плюшкин .	97
8. Задания к „Антону Горемыке“ Григоровича	99
9. Тургенев.— Бурмистр	100
10. Задания к „Муму“ Тургенева	111
11. Тургенев.— Сучок (из рассказа „Льгов“)	112
12. Некрасов.— Эй! Иван!	115
13. Гончаров.— Сон Обломова	116
14. Задания к очерку Салтыкова „День в помещичьей усадьбе“	135
15. Крылов.— Пруд и река	135
16. Крепостные песни (устные народные)	136
17. Некрасов.— Дедушка	138
18. Майков.— Цоя	143

Деревня под властью капитала.

1. Некрасов. — Помещик	147
2. " В минуту уныния	154
3. Эртель. — В пореформенной деревне. („Гарденины“. 1898) .	154
4. Некрасов. — Что ни год уменьшаются силы	181
5. " Свобода	181
6. Вольнов. — „В работниках“	182
Отд. издание извлечено из „Повести о днях моей жизни“ 1921.	
7. Гусев-Оренбургский. — Под властью капитала. („Страна отцов“). 1905)	207
8. Демьян Бедный. — Касьян.	

Деревня и Октябрь.

1. Неверов. — Федякин	221
Из романа „Гуси-Лебеди“, изд. „Земля и Фабрика“. 1925.	
2. Задания к „Партизанам“ Вс. Иванова	232
3. Сейфуллина. — Софонова коммуна	233
Из поэстри „Перегной“ изд. „Современные проблемы“ 1925 г.	
4. Демьян Бедный. — Коммунары	242
5. Орешин. — На гумне	243
6. Яковлев. — Конец старой сказки	244
Из сборника рассказов „Без берегов“, 1925.	

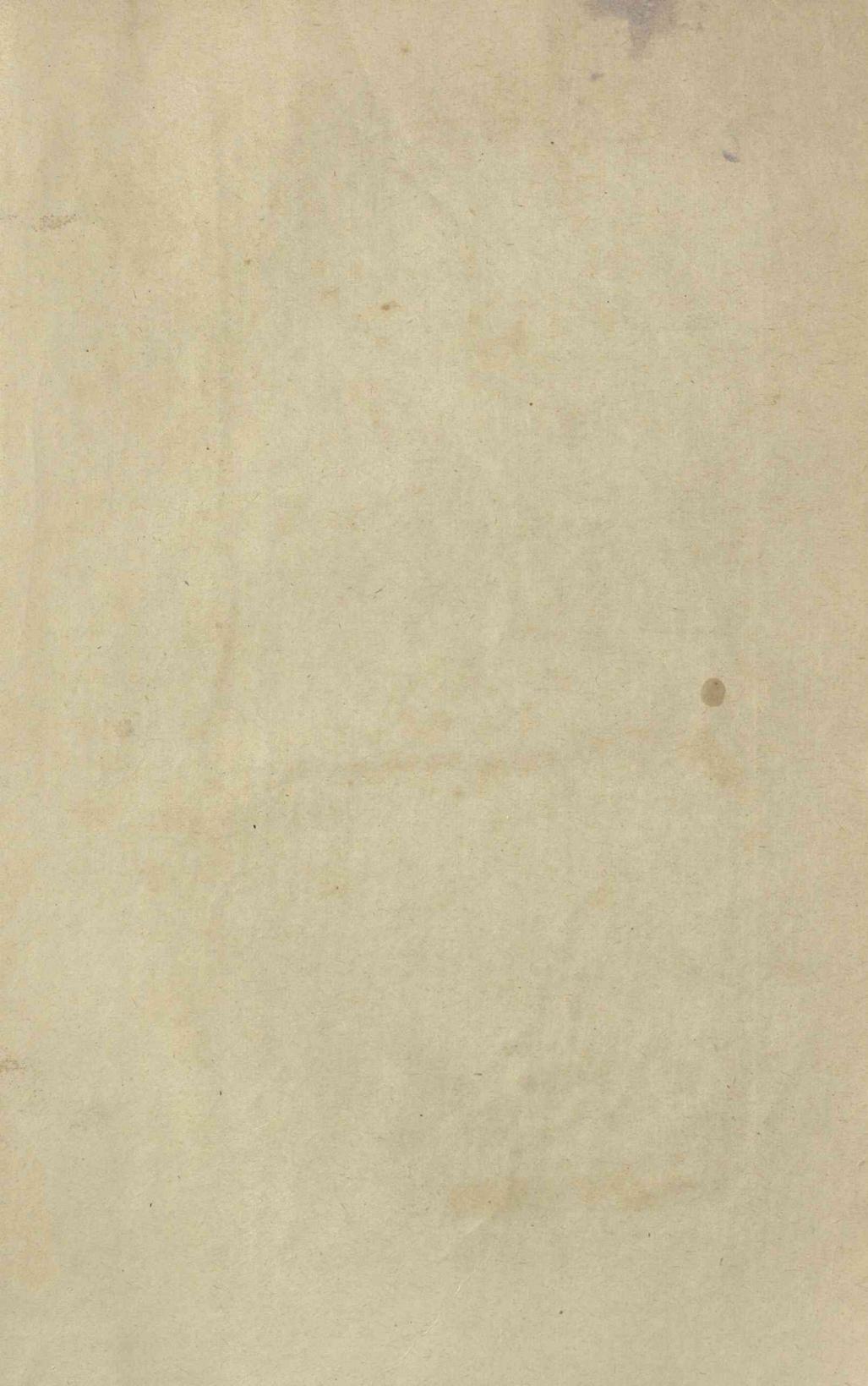
	СТР.
7. Задания к рассказу Яковлева „Смерть Николина камня“	256
8. Демьян Бедный. — Молодежь	256
9. Дорохов. — Новая жизнь	257
„Деревенский быт“ Лит.-худож. сборник. 1923.	
10. Орешин. — Солнце в сермяге	265
11. Дорогойченко. — Кандидаты	265
Отд. изд. „Молодой Гвардии“. 1924.	
12. Ряховский. — Зимним вечером	281
„Зарево“. Рассказы. 1924.	
13. Жаров. — Мы с Ильичом	285
Из сборника „Ледокол“. 1925.	
14. Жаров. — На смерть Ленина	286
Ал. Жаров. Избранные стихи. М. 1926.	

Из деревни в город.

1. Касаткин. — Тюли-люли	289
Отд. изд. „Прожектора“. 1925.	
2. Логинов. — В город. Из сборника „Под знаменем Правды“ .	307
М. 1925.	
3. Задания к повести Шмелева „В новую жизнь“	308
4. Жаров. — Во ржи	308
Из сборника „Строй“. 1926. Изд. „Молодая Гвардия“.	
5. Короленко. — На заводе	309
6. Колесов. — Тринадцать	315
„Молодая Гвардия“. 1923. № 4 — 5.	
7. Жаров. — Ледоход	331
8. Герасимов. — Весенний вечер	331
Из сборника В. Кириллова „Пролетарские поэты“. М. 1925.	
9. Демьян Бедный. — Завязь	331

Исправить:

Стран.	Строка.	Напечатано.	Нужно.
60	12 снизу	той	этой
97	13 сверху	довольства труда	довольства и труда
134	12 снизу	132	122
154	8 сверху	которой	которого
257	1 снизу	1823	1923
308	6 сверху	дайте заглавие	дайте свое заглавие
100	14—15 снизу	русский перевод:	дорогой, это нужно принять во внимание.
101	26—27 "	"	это бесподобно! но как же
102	17 сверху	"	извините, дорогой!
"	26 "	"	бот, мой дорогой, неприят- ности деревни.
"	12 снизу	"	это будет прелестно!
103	3 сверху	"	это их дело.
"	4 "	"	умница
105	22 снизу	"	разве не трогательно?
106	17—18 снизу	"	какой ловкач, а!
109	16—17 "	"	я очень извиняюсь, мой до- рогой.
"	15 "	"	бот оборотная сторона медали



1 p. 60
30

